ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[7] 2010

№: "ВПЕРВЫЕ В БИБЛИИ" МЕИРА ШАЛЕВА

АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ТИЦИАНО СКАРПЫ

"ВЕНЕЦИЯ — ЭТО РЫБА"

Основан в 1955 году

Поздравляем
нашего постоянного автора
Евгения Михайловича Солоновича
с получением
премии имени Н. В. Гоголя в Италии
и
международной литературной премии *Монделло*

До конца 2010 года в "ИЛ" будет напечатано:

Фрагменты культового "черного" романа начала 50-х годов "Невидимка" американского писателя РАЛЬФА ЭЛЛИСОНА.

"Падает тропическая ночь" — последний роман известного аргентинского писателя МАНУЭЛЯ ПУИГА, в котором автор в присущем ему оригинальном творческом ключе показывает скрытые за привычной канвой повседневности важные стороны человеческого бытия.

Рассказы крупнейших аргентинских писателей XX века АНДРЕСА РИВЕРЫ, ЛЕОПОЛЬДО БРИСУЭЛЫ, ГУСТАВО НЬЕЛЬСЕНА, АНДРЕСА НЕУМАНА.

Поднаготная китайского бума: фрагменты книги английского журналиста РОБА ГИФФОРДА **"Дороги Китая: путешествие в одиночку вглубь страны"**.

Литературный гид, посвященный рассказам ХУЛИО КОРТАСАРА, вышедшим недавно в книге **"Неизданные материалы"** и никогда не публиковавшимся ранее.

Специальный тематический номер **"Между войнами: прозрения и поиски"**:

в рубрике "Свидетельства времени" — неизвестная мемуарная проза знаменитых писателей первой половины XX века СЕЛЬМЫ ЛАГЕРЛЁФ, ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ, АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ;

в рубрике "В поисках новой эстетики" – фрагменты из романа-антиутопии **"Горы моря и гиганты"** крупнейшего немецкого писателя XX века АЛЬФРЕДА ДЁБЛИНА;

в рубрике "№" — из переписки СИМОНЫ ВЕЙЛЬ;

эномический кризис — уроки 30-х годов: отрывки из книги ВЛАДИМИРА ПОЗНЕРА **“Разъединенные Штаты”**.

Специальный номер, посвященный каталонской литературе:

необычный по форме, необыкновенно поэтичный, исторический роман современного каталонского писателя ЖУАНА ПОНСА **“Барбаросса”**, повествующий о трагических событиях на острове Менорка в XVI веке — об осаде Мао, о страшных пиратах, — и всепобеждающей любви;

рассказы каталонских писателей XXI века КИМА МУНЗО, АЛЬБЕРТА САНЧЕСА ПИНЬОЛЯ, ТЕРЕЗЫ СОЛАНА, АЛЬБЕРТА МАС-ГРЬЕРЫ, МАРИИ БАРБАЛЬ.

Специальный номер **“Переводчик как культурный герой”**.

[7]
2010

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

Антология современного рассказа

5 Уэллс Тауэр. Переводы с английского Марины Майоровой, З. Гульдиной и Е. Колябиной, В. Голышева. Вступление А. Ливерганта

44 Иехудит Кацир *Шлаф штунде.* Перевод с иврита Светланы Шенбрунн

70 Найя Марие Аидт. Перевод с датского Яны Палеховой. Вступление Ольги Дробот

90 Миленко Ергович *Из книги "Мама Леоне".* Перевод с хорватского и вступление Е. Солодовниковой

101 Мирча Кэртэреску. Перевод с румынского и вступление А. Старостиной

№

123 Меир Шалев *Впервые в Библии.* Главы из книги. Перевод с иврита Р. Нудельмана и А. Фурман

Дебют

195 Мередит Уолтерс *Стихи из книги "Спроси, не бойся".* Перевод с английского и вступление Григория Стариковского

Из классики XX века

201 Отокар Бржезина *"С посланьем от истины вечной..."* Стихи. Перевод с чешского и вступление Оксаны Лихачевой

Документальная проза

208 Тициано Скарпа *Венеция – это рыба.* Путеводитель. Перевод с итальянского и вступление Г. Киселева

Возвращаясь к напечатанному

256 Ольга Панова *Между раем и адом: американская пастораль Тони Моррисон*

БиблиофИЛ

266 *Среди книг* с Марком Соколянским. *Приближение к Теккерею*

269 *У книжной витрины* с Михаилом Визелем

272 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

275 *По материалам зарубежной прессы.* Подготовили Е. Лакеева и Н. Бажанова

Авторы номера

279

© "Иностранная литература", 2010

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

О. Д. Дробот
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

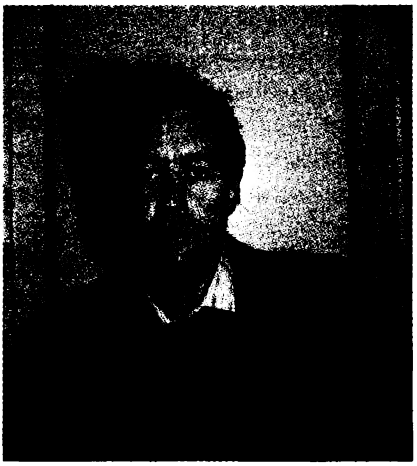
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина"

Уэллс Тауэр



Рассказы

Переводы с английского

Рассказы молодого американца из Северной Каролины Уэллса Тауэра, совершенно еще не известного нашему читателю, запоминаются сочетанием несочетаемого (в сегодняшней постмодернистской литературе, правда, несочетаемого почти не бывает). Причудливой смесью веры — и не в материальные блага, а в тепло, сочувствие, сопереживание — и тревоги, не покидающей героев, будь то инфантильный, с комплексами мальчик-подросток ("Леопард") или восьмидесятилетний молодящийся инвалид ("Дверь в глазу"). "В мире столько безысходности, — заметил Тауэр в мартовском интервью этого года, — что в моих рассказах не может не быть теплоты". Эта теплота, надежда, то и дело возникающие комические ситуации, равно как и безотчетная тревога, ощущение чего-то ужасного, скрытого до поры от героев, то возникают на страницах его рассказов, то вновь исчезают — не зря свои учителем Тауэр называет, как и многие сегодняшние зарубежные писатели, нашего Чехова. Это Чехов научил Тауэра — только ли его? — писать рассказы как бы ни о чем. "Как бы" здесь не дань навязчивой языковой просторечной моде: рассказы Тауэра содержательны и при этом, как он однажды выразился, "ниочемны" ("non-aboutness").

© 2009 by Wells Tower
© Марина Майорова. Перевод, 2010
© З. Гульдина и Е. Колябина. Перевод, 2010
© В. Голышев. Перевод, 2010
Сборник рассказов Уэллса Тауэра будет опубликован в "Издательстве Ольги Морозовой".

"Чтобы писать художественную прозу, — замечает Тауэр, — достаточно крошечного, но очень глубокого пространства жизни. Рассказу нужно позволить быть таким, каким он сам хочет быть". Присутствие автора в странноватых, разворачивающихся на крошечном пространстве жизни рассказах "ни о чем" и впрямь почти незаметно, хотя это, конечно же, иллюзия: как и классик американской литературы прошлого века Джон Чивер, на которого Тауэр любит ссылаться, молодой писатель стремится вложить в свою художественную прозу надежду, пусть и зыбкую, быстротечную, но которой так не хватает в жизни, и одновременно с этим понять, что́ побуждает людей творить зло, скрывать свои чувства, лицемерить...

И той, и другой цели Тауэр достигает — верный знак того, что в современной американской литературе появился серьезный, по-настоящему одаренный писатель.

А. Ливергант

Леопард

ДОБРОЕ утро.

Ты плохо спал сегодня. Не открывай глаза. Высунь язык и проведи им по верхней губе. Молишься, чтобы язвочка зажила. Надеешься, что за ночь все прошло.

Никаких изменений. Она все там же. Бугристая и шершавая, она кажется тебе огромной, хотя на самом деле не больше ластика на кончике карандаша. Твоя мама говорит, что это всего лишь грибковая инфекция, и не жалеет тебя так, как следовало бы.

На вкус она приятней, чем на вид. Потрескавшийся коричневый бугорок расположился прямо под носом, во впадинке над верхней губой, и с виду напоминает маленький гамбургер. Вчера в столовой Джош Мохорн обнаружил это сходство при твоих друзьях. Это было мучительно неприятно, особенно если учесть, как сильно ты хочешь быть Джошем Мохорном. Он повернулся к тебе и сказал:

— Эй, Янси, сделай одолжение.

— Какое? — спросил ты, воодушевленный этим редким проявлением внимания со стороны Джоша.

— Можешь пересесть вон туда? — спросил он, показывая на дальний конец стола. — Я не могу спокойно обедать, когда у меня перед глазами маячит твой поганый бургер.

Даже ты не мог не оценить столь удачной метафоры, незамедлительно повлекшей за собой взрыв насмешек и выкриков: Бургер Кинг, Чизбургер, БигМак — клички, которые бу-

дут преследовать тебя весь остаток дня и которыми тебя непременно встретят сегодня утром в школе. Тебе одиннадцать лет — возраст, когда нам и всему миру неотвратимо открывается наша истинная сущность. И так же как Мохорн неотвратимо становится футболистом и модником с волосами до плеч и в шикарных белых ботинках, ты неотвратимо становишься человеком-грибком.

Не ходи сегодня в школу. Притворись больным.

Твоя мама заглядывает в комнату, чтобы разбудить тебя. По дому она ходит в джинсах, заляпанных краской, и старых футболках с растянутыми рукавами, отчего иногда видны волосы у нее под мышками. Но сегодня утром она собирается на работу, на ней голубая сатиновая блузка и обтягивающие белые слаксы — одежда, намекающая на другую жизнь.

— Я плохо себя чувствую, — говоришь ты.

— Живот болит?

— Да.

— О боже, — говорит она, — надеюсь, это не та зараза, которая сейчас гуляет.

— Не знаю, что это, — отвечаешь ты, тяжело дыша, — но болит сильно.

Она кладет руку тебе на лоб. Ладонь у нее прохладная и сухая. Ты всегда восхищался ее руками — длинные тонкие пальцы и чистые остроконечные ногти, не нуждающиеся в полировке. На правом указательном пальце идеально ровное красное пятнышко, как знак качества производителя. Ее рука перемещается со лба на грудь. Кожа у тебя скользкая от пота. Как обычно, ты спал в школьной одежде, в джинсах и ветровке, среди шуршащей кучи книг и журналов, разбросанных по кровати. В следующем году тебе исполнится двенадцать, но ты еще не разучился спать по восемь часов кряду здоровым беспробудным сном маленького ребенка. Ты бы и в деревянном ящике отлично выспался.

Мама проводит рукой по твоей груди, и тебе это неприятно. В последнее время на этом месте расплодились большие болезненные прыщи. Когда твоя мама прикасается к ним, они униженно пульсируют. Это место на теле вызывает у тебя тревогу, частично из-за истории, которую ты услышал в детстве от своего бэбиситтера. Он сказал тебе, что у подростков на груди появляется что-то вроде родничка и ударом в эту точку можно убить. Теперь ты понимаешь, что твой бэбиситтер любил приврать, в этом смысле он был почище тебя самого. Он рассказывал, что во Флориде живут клоуны-убийцы, которые всегда носят с собой кухонные ножи и гоняются с ними за грешниками. А еще про то, как делаются аборты —

врачи якобы принимают роды, кладут ребенка в люльку и просто оставляют его там плакать, пока он не умрет. И все же ты до сих пор не уверен, что насчет родничка он соврал. Мысль об этом беспокоит тебя и заставляет увернуться от маминой руки.

— Так ты хочешь остаться сегодня дома?

Сглотни еще раз. Закрой глаза.

— Не знаю. Наверно.

— Ну хорошо.

Она целует тебя и встает пригнувшись, чтобы не стукнуться головой о второй ярус кровати, заваленный старыми одеялами и коробками с маминими вещами. И правильно делает, что осторожничает: недавно ты сам ударился так сильно, что в глазах блеснула яркая белая вспышка. Разъяренный, ты бросился на кровать со складным ножиком и нанес ей несколько крошечных, жалких порезов. Вон они, эти маленькие рубцы и царапинки — удручающее напоминание о бессмысленной, не принесшей никакого удовлетворения мести.

На полке за изголовьем стоит магнитофон, который ты получил от отца, когда тебе исполнилось десять лет. У тебя много кассет с любимыми песнями, которые ты записывал с радио, так что все они начинаются не с самого начала, но тебя это ничуть не огорчает. Ты бы послушал их сейчас, но с кухни доносятся шаги твоего отчима. Он поднимает такой шум, гремя кастрюлями и неуклюже топая, что тебе кажется, будто он делает это нарочно. Ты не трогаешь магнитофон: пусть лучше он думает, что ты спишь.

Твоя мама живет с ним на участке в двадцать акров посреди густого леса. Отчим воображает себя кем-то вроде социалиста-первопроходца, и у него нет нормальной работы. Он слишком занят уходом за тремя большими садами и колкой дров для дровяной печи, которую мама купила, поддавшись его уговорам. Тяжелый физический труд он ценит превыше всего, и стоит тебе очутиться рядом, как он тут же сует в твои руки метлу или охапку мокрой стираной одежды, или просит тебя развести огонь, или отмыть раковину, или вырыть яму. "У меня есть для тебя работенка" — его коронная фраза, и иногда ты ее повторяешь его голосом, вызывая у мамы улыбку.

Ты трешь большим пальцем мягкое бледное пятно на предплечье, еще не успевшее восстановить свой естественный цвет после того, что случилось прошлым летом. Отчим велел тебе очистить от жимолости, кустарника и дикого плюща примерно акр земли, где он хотел построить сарай. Ты принялся за дело, а когда они с мамой ушли, облил эти джунг-

ли растворителем для краски и поджег. Ты действовал очень аккуратно, держа шланг под рукой, и пламя не вырвалось из-под контроля. Один час пожара сэкономил тебе не меньше трех дней работы. Но через два дня из-за ядовитого дыма у тебя выскочила целая уйма волдырей на руках, шее и на веках. Потом волдыри полопались и покрылись корочкой, превратившись в россыпь блестящих коричневых камушков. Врач сказал, что если бы ты надышался этим дымом, то мог бы и умереть. Услышав это, ты пожалел, что не сделал парочку глубоких вдохов: это не убило бы тебя, но ты с удовольствием полежал бы в кислородной палатке из-за работы, которую заставил тебя делать твой отчим.

Если ты отказываешься бросить все свои дела и выполнить очередное поручение отчима, это называется наглостью. "Меня достала твоя наглость", — говорит он, или: "Хватит с меня твоей наглости". Худощавый, в очках с тонкой оправой, он какой-то хрупкий на вид, но ни его субтильность, ни манера говорить, как гангстер из старых голливудских фильмов, не уменьшают страха, который он у тебя вызывает. Пару раз он давал тебе затрещины, а недавно поругался с твоим отцом, который за тобой приехал. Он повалил отца на землю, схватил камень размером с футбольный мяч и замахнулся, как будто хотел размозжить ему голову. Но потом отбросил камень в сторону и рассмеялся. Еще много лет, думая об отце, ты неизменно будешь видеть, как он лежит на траве, трусливо прикрывая голову руками, стараясь защититься от рокового удара. Ты считаешь дни, оставшиеся до твоего шестнадцатилетия, так как неизвестно почему решил, что именно в этом возрасте сможешь вызвать отчима на бой.

В половине первого ты слышишь, как внизу скрипит и захлопывается входная дверь, а уже в следующий момент заводится садовый измельчитель. Он жужжит, словно огромный шершень. Отчим опять делает мульчу — удобрение, которое он, похоже, ценит больше еды и денег. Теперь можно спокойно выбраться из постели. Ты идешь на кухню и готовишь себе большую порцию хлопьев с молоком. Берешь чашку с собой в спальню матери с отчимом, где стоит единственный в доме телевизор. По одному из молодежных каналов как раз показывают твой любимый сериал "Я мечтаю о Джинни". Главная героиня недовольна, потому что друзья майора Нельсона в качестве подарка на помолвку натащили к ней в дом творений какого-то полоумного гения — безобразные статуэтки, издающие утробное бульканье. Живот Барбары

Иден невероятно волнует тебя, и ты лезешь к себе в трусы. В тот же миг ты слышишь, как смолкает измельчитель, выключаешь телевизор, бежишь на кухню и садишься за стол. Входит отчим, внося с собой свежий запах овощей. На его блестящие руки и грудь налипли ошметки коры и листьев.

— Как здоровье? Лучше? — спрашивает он.

— Не совсем, — отвечаешь ты.

Он шлепает свою грубую руку тебе на лоб. От нее вкусно пахнет бензином.

— Что-то не чувствую жара.

— У меня только живот болит.

— Тошнит?

— Нет, — признаешься ты.

— Ты бы не пил молоко, если бы разболелся по-настоящему. А раз пьешь, значит, тебе все-таки лучше.

Ты плохо понимаешь, при чем тут молоко, но тебе не хочется с ним спорить.

— У меня болит голова. Вот и решил что-нибудь съесть.

Он недоверчиво улыбается и хмыкает. В своих детских обманах ты обычно заходишь довольно далеко, рассчитывая, что у взрослых есть дела поважнее, чем ловить мальчишку на вранье. Однако твоему отчиму явно хватает свободного времени, чтобы обдумывать и подвергать сомнению все твои слова. Он готов несколько дней собирать доказательства того, что следы зубов на ручке, которую ты якобы не грыз, принадлежат именно тебе. Твоя ненависть к отчиму упорна и безгранична, но это только потому, что твой мирок еще мал и ты приписываешь отчиму слишком большую роль в твоей жизни. То, что отчим питает к тебе такую же стойкую и неумолимую неприязнь, как и ты к нему, лишь доказывает, что твоя мать вышла замуж за мелочного и злобного ребенка.

— Тебе надо подышать свежим воздухом. Сходи-ка принеси почту, — говорит он.

Это нечестно. До почтового ящика минут пятнадцать ходьбы по избитой колдобинами гравийной дороге, а ведь, насколько отчиму известно, ты болен.

— Зачем? Мама заберет, когда поедет домой обедать.

— Давай-давай, — говорит он. — Свежий воздух пойдет тебе на пользу.

— Вообще-то у меня еще немного кружится голова.

— Готов поспорить на тройную порцию мороженого, что ты выживешь.

Ты отправляешься в путь босиком. Изрытая кротовыми норками лужайка под ногами кажется плюшевой. Стоит жаркий

осенний день. Небо такое чистое, что деревья выглядят ненастоящими, словно бутафорский телевизионный реквизит на фоне голубой ширмы. Летние мозоли у тебя на подошвах уже сошли, и по колючему гравию дорожки ты шагаешь чуть подпрыгивая и растопырив локти, как птица, которая собирается взлететь. Тебе больно идти и ты винишь в этом отчима, а потому через каждую пару шагов поднимаешь горсть гравия и выкидываешь ее в лес, надеясь, что возмещение этих потерь обойдется ему в немалую сумму.

Ты проходишь мимо поленницы и курятника, потом мимо рощицы, где когда-то построил вокруг ствола дуба отличный шалаш. Он был сооружен из обструганных упавших веток и присыпан сверху сосновой хвоей. Однажды сюда забрел мальчишка, живущий по ту сторону леса, и вы с ним повздорили. На следующий день от шалаша остались только поломанные ветки, разбросанные по поляне, да втоптанные в грязь орехи кешью и банановые чипсы — незавидное богатство из твоего тайничка. Ты рассказал об этом вандализме отчиму, и воскресным утром, когда мальчик с семьей отправились в церковь, вы вдвоем пересекли лес, проникли на их участок и разгромили дорогой покупной домик на дереве. Твой отчим сорвал жестяную крышу и с помощью монтировки расправился с лестницей, а ты разбил камнями оконные стекла, и оба вы одинаково упивались своим могуществом, словно двое дикарей из жестокого, но справедливого племени.

Ты открываешь почтовый ящик. Он набит журналами, счетами, каталогами и рекламными проспектами продовольственных магазинов. При виде кроваво-красной говядины на фотографиях мясных рядов болячка на твоей губе начинает ныть. Всего почты фунтов на пятнадцать — скользкий груз, который больным таскать противопоказано. Вдруг твое внимание привлекает листок на самом верху этой груды. Это объявление — отпечатанный на ксероксе черно-белый снимок кого-то, похожего на леопарда, крупное слово ПОТЕРЯЛСЯ и номер телефона. По шее у тебя пробегает холодок. Ты поворачиваешься и смотришь в лес, однако ничего не можешь там разглядеть. Листва еще не опала, и уже шагов за двадцать ничего не видно. Ты снова переводишь глаза на объявление. Леопард выглядит тощим и совсем не страшным, но сердце твое бьется сильнее при мысли о том, что он может быть где-то поблизости — бродит в сосновом буреломе неподалеку от твоего дома, неслышно ступая пятнистыми лапами по корням деревьев, сухим иголкам и засыпанным жухлыми листьями старым пивным банкам и склянкам от лекарств, ко-

торыми беззаботно засоряли природу прежние обитатели этих мест. Теперь, с появлением леопарда, эти леса кажутся тебе гораздо более интересными.

Издалека снова доносится вой измельчителя — звук удивительно тупой и бесцеремонный, грубое оскорбление всему тихо дышащему, звенящему лесу. Если леопард где-то здесь, его, несомненно, возмутит это осквернение лесной тишины, виновник которого — твой отчим. Леопарду не составит труда незаметно подкрасться к нему, схватить и утащить, не оставив и следа.

Уже почти час дня, и мама вот-вот должна вернуться на обед. Тебе не хочется быть дома наедине с отчимом. Ты все еще злишься, что из-за него пошел за почтой, хотя ты болен и тебе положено отдыхать. Еще несколько шагов, и план сам приходит на ум. Беспорядочно рассыпая почту, ты внимательно следишь, чтобы все выглядело так, будто ее уронили случайно. Потом медленно ложишься ничком, раскинув ноги и руки, в позе человека, упавшего в обморок. Когда твоя мама свернет на дорогу, она увидит тебя, и, возможно, ей придется резко затормозить, но ты лежишь слишком далеко, и задавить тебя по неосмотрительности она никак не может. Испуганная, вся в слезах, она подбежит к тебе и начнет расспрашивать, как же это отчим заставил тебя идти за почтой.

Не шевелись. Не обращай внимания на прилипшую к щеке гальку. Только не испорти впечатления. В конце концов, она ведь может и не поверить. Она и так уже почти согласна с твоим отчимом, который называет тебя маленьким мошенником, не способным и рта раскрыть, чтобы не соврать.

Сзади по твоей ноге ползет какое-то насекомое — скорее всего, безобидный черный муравей. Время идет, и энтузиазм, вызванный идеей, которая сначала показалась тебе гениальной, понемногу разъедается стыдом. Ты решаешь подождать, пока по автостраде промчатся еще десять машин, а если твоя мама за это время не приедет, встать и пойти домой.

Мимо катит уже шестая машина, и вдруг ты слышишь, как она резко тормозит, подает назад и съезжает на вашу аллею. Машина точно не мамина: у этой двигатель мощнее, он мягче ворчит. Возможно, это опять почтальон, или просто кто-то разворачивается. Замри.

Дверца открывается, и от волнения язык горячо вспухает у тебя во рту. Лежишь с закрытыми глазами. Хруст гравия под жесткими подошвами. Кто-то склоняется над тобой.

— Эй, парень! — голос мужской, высокий и взволнованный. Тебя трясут за плечо. — Давай, дружище, очнись!

Мужчина прерывисто дышит. Ты вздрагиваешь, чувствуя на шее теплые пальцы, нащупывающие пульс. Теперь можно открыть глаза — и не забудь потрепетать веками, как делают актеры в фильмах, очнувшись после обморока. Первое, во что упирается твой взгляд, — блестящий кожаный, а может, пластиковый ботинок, который затем переходит в серую штанину, такую чистую и отутюженную, будто ее отлили из стали. Ты видишь ремень с черным пистолетом в кобуре, а потом, выше, металлический значок на чистой серой рубашке. Этот человек молод, на широком рыхловатом лице, обрамленном светлыми и еще довольно жиденькими бакенбардами, выпуклые глаза.

— Не волнуйся, все будет хорошо, — говорит он. — Давай просто успокоимся.

Если кому и надо успокоиться, так это полицейскому, а не тебе. Его большая голова поворачивается в воротнике: оценивая твое состояние, он косит на тебя внимательным глазом, как петух, выслеживающий жука.

— Ну как ты? — спрашивает он. — Тебе больно? Кровь есть?

— Кажется, нет.

— Живешь здесь?

— Да. Все нормально, — отвечаешь ты и садишься. Полицейский кладет руку тебе на плечо.

— Погоди, — говорит он и трет глаза. — Ну и напугал же ты меня, приятель. Гляжу — ты лежишь, а вокруг эта почта валяется. Ох, черт возьми. Я уж решил, в тебя выстрелили из машины или кто-то сбил и уехал. Смотри, — он показывает на расстегнутую кобуру с пистолетом наготове. На вид он такой молодой и нервный, что ему вообще не стоило бы доверять оружие.

Он снова спрашивает, как ты себя чувствуешь и бывали ли у тебя обмороки раньше.

— Нет. Все в порядке. В любом случае, спасибо, и вообще. — Начинаешь собирать почту, надеясь, что он сядет в свой патрульный автомобиль с невыключенным двигателем и уедет. Твоя мама может появиться с минуты на минуту. Остается не так много времени, чтобы забежать за ближайший поворот, подальше от автострады, и снова разыграть тот же спектакль.

Полицейский берет тебя за руку.

— Идем. Лезь в машину, там прохладно.

Собрав с помощью полицейского все конверты и каталоги, ты садишься на пассажирское место. Он включает кондиционер и направляет все вентиляционные дырочки в твою

сторону. Потом прибавляет обороты. Приятный холодный ветерок с легким ароматом лекарств, как в приемной у стоматолога, овевает твое лицо. У мамы нет вещей, которые пахли бы так свежо и чисто.

Рядом торчит дробовик в металлическом держателе. На заднем сиденье лежат и другие полицейские атрибуты: большой черный фонарь и блокнот в кожаной обложке, как у военных. Почему-то эти предметы кажутся тебе более реальными и пугающими, чем дробовик, который выглядит не совсем настоящим из-за того, что ты много раз видел в фильмах его точные копии.

— Как ты? — спрашивает он тебя. — Голова не кружится?

— Нет. Все нормально.

— Что это у тебя здесь? — спрашивает он, показывая на своей губе то самое злосчастное место.

— Это просто грибок. Он у меня давно.

Полицейский смотрит на тебя долгим взглядом. Его ноздри неприязненно расширяются. Потом он берет в руки рацию.

— Алло, двести пятый. Можете отменить вызов на Роджерс-роуд. У мальчишки малость закружилась голова, и он упал в обморок. Сейчас уже все тип-топ, — сообщает он, подмигивая тебе, хотя ты не очень хорошо понимаешь зачем. Тебе становится ясно, что ты чуть-чуть презираешь его за то, что он так легко позволил себя одурачить. А он продолжает говорить.

— Сегодня мне кофе не понадобится. Теперь, когда я увидел, как ты тут лежишь без движения, я весь день буду на взводе. В смысле, я уж думал, у нас на совести еще одна смерть ребенка.

Ты настораживаешься при словах "еще одна". Прошлой весной на площадке для гольфа нашли Саманту Мили, девятилетнюю девочку из нашей школы: она висела на клене голая, удушенная бельевой веревкой. За пару недель до этого ты встречал ее на автобусной остановке. Саманта, маленькая бесстрашная озорница с заразительным хрипловатым смехом. В тот день, к великому огорчению ее старшего брата, она пыталась стащить штаны с каких-то мальчишек и забавы ради громко ругалась. Она была восхитительна.

Ты еще ни разу в жизни не целовался, но уже думаешь о сексе. Ребята всего на два года старше тебя уже начали им заниматься. Когда ты узнал, что человек, задушивший Саманту, перед этим ее изнасиловал, первым, что пришло тебе в голову, было: "По крайней мере, она не умерла девственницей" —

мысль, которой ты не мог бы поделиться даже с самыми испорченными из своих друзей.

Ты чувствуешь настоятельную потребность заговорить хоть о чем-нибудь, лишь бы не думать об убийстве Саманты Мили. Ты показываешь полицейскому объявление про леопарда.

— Вы слышали об этом? — спрашиваешь ты. — Где-то здесь бродит леопард.

Он берт листок в руки и рассматривает.

— Кто-то держал его дома.

— Не знаю, кто станет держать у себя такого зверюгу, но одно могу сказать точно: это опасные люди.

— Наркобароны, — говоришь ты.

— Возможно. А может, байкеры. Ей-богу, все в этих краях меняется. Уже ни в чем не разберешься. Раньше это был славный тихий городок, а теперь — одно из тех мест, где может случиться все что угодно.

Он возвращает тебе листок. Ты тянешься к двери.

— Спасибо, — говоришь ты полицейскому. — Мне пора идти. Отец, наверно, уже заждался. — Ты дергаешь ручку, но дверь заперта.

— Ну нет, приятель, никуда ты не пойдешь, — говорит он с суровой заботливостью, от которой тебе становится не по себе. — Я довезу тебя до дома. Вдруг ты снова кувырнешься, расшибешь голову? Тогда у меня будут большие неприятности.

Он включает скорость, и машина едет вперед. Те колючие ветки, что подлиннее, с визгливым скрежетом чиркают о машину, и тебе неловко, что на ней останутся следы.

— Спасибо, — говоришь ты полицейскому, как только в поле зрения появляется твой дом. — Спасибо, что подвезли, и вообще.

Он поворачивает к садовому измельчителю, возле которого, спиной к вам, стоит твой отчим.

— Это твой отец? — спрашивает он. — Пожалуй, надо с ним поговорить.

Ты не хочешь этого, но ничего не можешь поделать.

Вместе с полицейским вы идете по лужайке к отчиму. Лужайка заросла сорняками, которые разбрасывают семена, если их тронешь. Вокруг блестящих ботинок полицейского взрываются маленькие облачка, оседая в отворотах его брюк. Отчим продолжает засыпать в измельчитель листья, хотя вы уже в трех шагах от него. Наконец поворачивается и смотрит прищурившись — на полицейского, потом на тебя. С него градом льется пот, и волосы на его голой груди слип-

лись десятками черных завитков. Он выключает измельчитель. Вид у него враждебный и озадаченный.

— Вы кто? — спрашивает он.

— Полицейский Берендс, сэр. Я проезжал мимо и нашел вашего сына лежащим на земле. Ну и напугал же он меня.

— Хм. — Отчим поворачивается к тебе. Глаза у него по-прежнему чуть сужены. — И что ты делал, лежа на земле?

— Не знаю, — отвечаешь ты. — У меня закружилась голова, а потом я уже очнулся. Наверно, потерял сознание.

— Вся почта была разбросана, а он лежал лицом вниз, — говорит полицейский. — Не знаю, что именно с ним случилось, но он здорово меня напугал. Я думал, в него стреляли.

— А может, ты просто присел и уснул? — спрашивает отчим после некоторого размышления. — Наверняка так оно и было.

— Никуда я не садился, — говоришь ты. Это в его духе — сомневаться в правдивости твоей истории, даже когда ее подтверждает представитель закона. — Я упал.

Твой отчим берет тебя за подбородок большим и указательным пальцами и поворачивает твое лицо то так, то сяк, словно это вещь, которую он собирается купить.

— Надо же, как ты аккуратно упал, — говорит он. — Обычно, когда теряют сознание, падают всем весом. А на тебе ни царапинки.

— Я не знаю, как я упал. Я не видел.

— Ладно. Иди в дом, — говорит отчим.

Но ты не двигаешься. Не хочешь. Солнце прячется за облако. Что-то должно произойти. Ты не знаешь, что именно, но ты чувствуешь это и стоишь с почтой в руках, почесывая острым уголком журнала свой подбородок в том месте, где наконец-то пробился один-единственный драгоценный волосок.

— А как повезло, что я вовремя его нашел, — говорит полицейский. Похоже, он пытается выудить из твоего отчима слова благодарности или рукопожатие, и тебе становится его жалко. — Вдруг кто-нибудь свернул бы на скорости и переехал его. Так что все еще удачно закончилось.

— Ага, очень удачно, — отвечает ему отчим и, повернувшись к тебе, говорит: — Иди в дом и жди мать.

Но ты стоишь неподвижно. Вдруг из леса, с той стороны, где натянута бельевая веревка, доносится треск сломанной ветки и шорох, словно кто-то тяжело ступает в тени деревьев. Ты начинаешь дышать быстро и неглубоко. Закрываешь глаза. Представляешь себе его — леопарда, как он большими

скачками пересекает лужайку и его лопатки поднимаются и опускаются при каждом скачке.

– Эй, – говорит отчим, легонько хлопая тебя по щеке. – Что с тобой? Опять отключаешься?

Не отвечай. Прислушивайся. Замри.

Перевод Марины Майоровой

Дверь в глазу

ДОЧЬ решила напугать меня уже в вечер моего приезда. Я еще не закончил есть суп, когда взволнованная Шарлотта вошла на кухню с пачкой фотографий, запакованных в полиэтиленовый пакет, чтобы даже наводнение не причинило им вреда. Что же это за снимки, что их нужно было так беречь? Мертвый чернокожий парень лет восемнадцати с пулевым отверстием в груди, лежащий на земле напротив дома Шарлотты.

– Видишь, папа? Прямо в грудь. Видишь, у него кровь капает изо рта? Это потому, что он был совсем свежим, когда я его нашла.

– И что с того? – ответил я. – Мертвец. Я его знаю? Что, мало ужасов вокруг, я должен еще и на него смотреть?

Но дочь была так взволнована, что заставила меня пересмотреть все фотографии до единой, пока мы не дошли до снимков, на которых подъехавшие полицейские и "скорая" загородили от Шарлотты место действия.

– Дальше все кадры испорчены, – грустно сказала она. – Ничего не видно. Они все перекрыли – я даже не видела, как наступило окоченение.

– Ты и так увидела слишком много, Шарлотта, – сказал я. – Ты вообще не должна была этого видеть, а еще и мне показала. Нечего сказать, теплая встреча.

Она постучала стопкой фотографий по столу, чтобы они легли ровно. Потом убрала их обратно в пакет.

– Я просто хочу сказать, что это не Потсвилл. Здесь нужно быть осторожным.

– Я не боюсь здесь жить. Я кое-чего повидал в жизни. И в переделках побывать успел.

Если я чего-то и боялся, так это своей взрослой дочери, которая, обнаружив труп, первым делом хватается за фотоаппарат. Но я промолчал. Шарлотта – одинокая женщина, хотя когда-то она была замужем. Мы устроили ей шикарную

дурацкую свадьбу с фраками, белым лимузином и мужиком с волынкой. Брак продержался десять месяцев. После развода Шарлотта стала посещать одно учебное заведение за другим, коллекционируя дипломы; последний, кажется, относился к здравоохранению. Замуж она больше не вышла. Сейчас ей сорок один. Лицо еще довольно симпатичное, но что касается остального, то она превратилось в одну из тех женщин, что таскают на себе изрядный груз.

— Пап, прости, но ты такой наивный, — сказала она. — Подобные вещи происходят по всему городу, и никогда не знаешь, где это случится в следующий раз. Здесь опасно.

— И что? Мне весь день дома сидеть и трястись над своей жизнью?

— Конечно нет. Есть много хороших мест, куда можно поехать. Например, Минц-центр на Нашвилл-стрит. Там всякие игры есть, в карты можно поиграть, даже завтраком кормят, наверное, и бесплатно.

— Я подумаю об этом. А девушки там хорошенькие?

— Думаю, они там старенькие.

— Ничего страшного. Приударю за кем-нибудь, заведу себе милую подружку.

— Да неужели? Почитываешь самоучители по знакомству с девушками? Или разрабатываешь собственный метод?

— Черт, нет! Нет у меня никакого метода. Я просто стараюсь быть милым и приятным. Может, и тебе стоит попробовать?

Дочь отвернулась и принялась ковырять что-то на своей большой белой руке. Шарлотте не нравилось, когда я говорил о женщинах. Она и сюда меня притащила из-за любовной истории. Я познакомился с одной испанкой в Потсвилле. И моя дочь решила, что дело зашло слишком далеко. И что с того? Моя жена умерла семь лет назад, я совсем один.

Я снова принялся за еду, а Шарлотта заткнула уши и забормотала что-то себе под нос, уставившись на колени.

— Что с тобой, дорогая?

— Да все ты со своим супом! Всем говоришь не чавкать, а я сколько бы ни старалась, не смогла бы чавкать так громко, как ты!

— Ладно, я понял. Перехожу к десерту.

— На десерт ореховое мороженое.

— А шоколад у нас есть?

— Кажется, да.

— Тогда сделай мне с шоколадом.

Она взяла мою тарелку и шумно протопала на кухню. В этом доме все звуки казались слишком громкими и непри-

вычными; хотя Шарлотта переехала сюда два года назад, мебели по-прежнему было мало, а ковры она так и не постелила.

Дополнительный шум доносился из открытого окна, с той стороны улицы. На балкончике второго этажа, к которому вела открытая лестница, стоял мужчина и колотил в дверь. Я снял с тормоза свое кресло и развернул его, чтобы видеть происходящее. Он еще побарабанил в дверь, но ответа не последовало. К тому моменту, как вернулась Шарлотта, мужчина пришел в такое отчаяние, что принялся колотить по водосточной трубе на углу дома. Это вспугнуло стайку зеленых птичек на проводах. Они с хриплыми криками поднялись в воздух. Очевидно, мужчина проделывал это не в первый раз, потому что водосточная труба была помятой, погнутой и искореженной, как растоптанная сигарета.

Шарлотта поставила передо мной мороженое.

— Посмотри на этого мужчину, — сказал я, указывая на него ложкой. — Похоже, у него большие неприятности с женой. Стоит, барабанит как дурак, а она его не впускает.

Шарлотта усмехнулась.

— А, между прочим, она ему не жена. Наша соседка, — произнесла моя дочь важно и презрительно, — шлюха.

— Шарлотта, — воскликнул я, — что сделала тебе эта женщина, чтобы ты за глаза ее так обзывала?

— Я ее не обзываю, а говорю правду. Она спит с мужчинами за деньги. Посмотри. Клиенты входят и выходят круглые сутки.

Как бы в доказательство ее слов, дверь дома слегка приоткрылась. Мужчина перестал шуметь и проскользнул внутрь. На улице снова стало тихо, и зеленые птички вернулись на провода.

На следующий день Шарлотта уехала на занятия, а я остался дома. Поехать в Минц-центр я не мог. Такое путешествие мне не под силу. Шарлотта даже не позвонила, как собиралась, домовладельцу, чтобы на лестнице сделали съезд для моего кресла. Честно говоря, не так уж мне и нужно кресло. Я пользуюсь им, в основном для того чтобы беречь силы. Проще оставаться в кресле, чем вставать и переходить на другое место, где я все равно сяду.

Я веду дневник. Но пишу в нем только о погоде, и то немного. "Тепло, ясно", — обычно этим я и ограничиваюсь. И рисую небо акварельными красками. Небольшой рисунок, размером с игральную карту. Раньше я писал в дневнике больше, но однажды перечитал и понял, что пишу о своей

жизни, как журналист в дешевой газете, — только о неприятностях: как я поссорился с женой, сколько денег дал дочери или как я сидел в ресторане, а у женщины рядом случился припадок, и она упала со стула. Так что я перестал помногу писать и теперь только отмечал погоду и зарисовывал небо. Не слишком похоже на дневник, зато записи веду регулярно.

Около полудня я выбрался на крыльцо с набором акварели. Солнце светило мне в лицо, я ел бутерброд с салями и горчицей, который мне оставила Шарлотта. Потом я взялся за дело. Небо в тот день было особенное. Там наверху столько всего происходило, что пришлось сделать три зарисовки, чтобы охватить всю картину. Над проводами все было просто — чистое голубое небо. Но вдали, над Миссисипи, надвигалось что-то темно-зеленое и сверкали молнии: пришлось подумать и хорошенько потрудиться, чтобы правильно это изобразить. Третий фрагмент — место перехода, где клочья туч врываются в голубое небо.

Я, должно быть, рисовал не меньше часа, за это время женщину, жившую на втором этаже дома напротив, успели посетить трое мужчин. Первый был черный, с большой бородой и в шляпе, как у вьетнамских крестьян. Наверное, женщине не понравилась его наружность, шляпа или еще что-то, потому что она заставила его минут десять колотить по водосточной трубе, прежде чем открыла. Второй был белый парень в мешковатых шортах и с толстыми розовыми икрами. Его она вовсе не пустила. Это означало, что женщина, вероятно, была не так проста. Кого попало она не примет. И у нее свои принципы. Третьим был полицейский в форме, ему не пришлось ждать ни минуты. Я разволновался: думал, что сейчас он выведет проститутку в наручниках, и я наконец-то ее увижу. Но нет, через пятнадцать минут сукин сын вышел, сел в свою машину и уехал как ни в чем не бывало. Будь я законопослушным человеком, я записал бы номер машины, позвонил в отделение и сообщил. Но, черт их знает, может, там все отделение этим занимается, и, если я позвоню, будут неприятности. Но все равно мне было любопытно, что это за женщина. Каждый раз, когда приезжал посетитель, дверь приоткрывалась, и мужчина проскальзывал внутрь, а ее я не видел. Я даже руки ее не мог разглядеть, и это очень меня разочаровывало. Это как смотреть на ветер: видно лишь то, что он колышет.

Когда полицейский уехал, я подождал немного, но больше никто не появился, так что я вернулся в дом и лег вздремнуть. Под вечер приехала Шарлотта. Мы заказали ужин в каком-то китайском ресторанчике, а потом Шарлотта сказала,

что пойдет на урок танцев. Чтобы меня чем-то занять, она взяла в прокате фильм "Поющие в терновнике", который я уже видел. Шарлотта уехала на танцы, а я не знал, чем заняться. Я позвонил Софии, подруге из Потсвилла, но ее не оказалось дома.

В пятнадцать минут десятого я лег спать. Я уснул, и мне приснилась история из прошлого. Мне снилась Клаудия Меснер, распутная девчонка из моей школы. Однажды она сказала, что хочет целоваться со мной на кладбище, и я согласился. Мы пошли на кладбище. Она выбрала большое красивое надгробие, и мы целовались, сидя на нем. Ее губы были на вкус, как леденцы с ежевикой. И она целовала меня взасос. Через некоторое время приехал парень на машине. Он крикнул:

— Эй, вы, здесь нельзя целоваться!

— Тебе-то какое дело? — грубо ответил я.

— Мне все равно, — сказал парень. — Но это могила моего дяди, тетя увидела, как вы тут целуетесь, и теперь с ума сходит. Послала меня, чтобы я велел вам убираться.

Мы с Клаудией ушли оттуда и пошли в небольшой лесок, возле самого шоссе. Там мы лежали на траве и целовались, пока у нас не заболели губы. Мне было приятно это воспоминание. Но я не успел досмотреть сон до конца, потому что дочь вернулась с танцев, просунула голову в дверь и сказала:

— Пап, я дома, — как говорила, когда была ребенком.

В комнате было темно, и образ Клаудии все еще витал у меня в голове.

— Привет, Шарлотта, — ответил я. — Познакомься с Клаудией, она лежит рядом со мной на кровати.

Шарлотта ничего не сказала. Она включила яркий свет, посмотрела, как я моргаю и щурюсь, и снова его выключила.

Вся первая неделя моей жизни у Шарлотты походила на первый день. По утрам дочь уходила на учебу и оставляла мне бутерброд. Делать мне было нечего. Рисовать да выглядывать женщину в доме напротив — вот и все мои занятия. Второе способствовало первому. Я так хотел увидеть эту женщину, что часами просиживал на пороге, занимаясь акварелью. Я рисовал уже не только кусочки неба, но и все, что видел вокруг: всякие сложные железки на столбах (в этом сыром городишке нельзя проложить провода под землей), маленькие домики, огромную яму на дороге, которую жители района забили мусором, метлу, торчащую оттуда, чтобы предупредить водителей. Я рисовал большую дохлую крысу в дренажной канаве: она так раздулась, что сквозь шерсть просвечива-

ла кожа. Неподалеку кружились грифы, не обращая на тушку никакого внимания, как бы говоря: "Да, мы питаемся всякой гадостью, но всему есть предел".

Не знаю, как эта женщина справлялась с таким количеством работы. Мужчины приходили и уходили в любое время суток, но за три дня наблюдений, я так ее и не увидел. Мне оставалось только пялиться на дверь, стекло которой было занавешено бежевой тряпкой, мое сердце от этого билось сильнее, и поднималась температура. Как она выглядела? Была ли она счастлива? Некоторые мужчины приносили с собой пакеты. Может быть, отдается за каких-нибудь цыплят и банки с фасолью, потому что ей стыдно встретить соседей в супермаркете. Весь день я смотрел, как люди ходят туда-сюда по улице, выходят из своих домов и возвращаются обратно. Только я и эта женщина, которую я не мог увидеть, только мы двое торчали дома. Как бы нелепо это ни звучало, я чувствовал между нами какую-то связь.

Четвертый день моего пребывания у Шарлотты оказался субботой, и дочь сказала, что хочет приготовить мне вкусный ужин из последних крабов в этом сезоне. Она уехала за покупками. Я сидел на крыльце, когда началось нечто странное, — я не мог поверить своим глазам. Кто-то пытался поджечь дом этой женщины. Я раньше не видел этого человека. Белый, в куртке с блестящим изображением Эмпайр-стейтбилдинга. Как и все, он постучал по водосточной трубе, но это не подействовало, тогда он достал зажигалку и поднес пламя к двери. Мне следовало бы закричать или позвонить в полицию, но я снова оказался трусом. Если вызывать полицию в такой ситуации, могут и твой дом поджечь. Меня охватила паника, я почувствовал кислый привкус во рту, но по-прежнему сидел на месте, смотрел и ничего не делал.

Мужчина постоял так немного, но у него ничего не вышло. Наконец, он бросил свои попытки и убежал, оставив на двери длинные пятна копоти. Я стал свидетелем преступления и обязан был что-то предпринять. Въехал в дом, поискал какую-нибудь бумагу, взял письмо, которое прислали Шарлотте из газовой компании, и написал на обратной стороне конверта: "Здравствуйте. Меня зовут Алберт Прайс. Я ваш новый сосед из дома 4903. Я видел, как кто-то пытался поджечь вашу дверь в середине дня во вторник. Я могу его описать". И написал номер телефона моей дочери. Потом встал с кресла, взял трость и вышел на улицу, сразу попав в поток сильного ветра. Я перешел дорогу, это было не так уж трудно, но лестница оказалась для меня настоящим испытанием. Я поднялся наверх, тяжело дыша.

Я собирался оставить записку в двери и сразу же уйти, но как только добрался до нужной квартиры, понял, что мне не хочется так быстро уходить. Я столько раз видел, как люди испытывают здесь свою судьбу, что меня тянуло постучать, как тянет игрока к рулетке. Так и хочется крутануть. Я постучал. Тишина. Снова постучал, на этот раз сильнее. Я был готов развернуться и уйти, когда в квартире послышались шаги. Дверь приоткрылась буквально на несколько сантиметров. Из образовавшейся щели на меня смотрел большой карий глаз. Карий глаз, в котором была какая-то любопытная неправильность. Расширенный бесформенный зрачок. Он чернел в центре радужки, как замочная скважина.

— Ну? — Я услышал тихий голос хозяйки квартиры. — Что вам нужно?

Вопрос застал меня врасплох. Я не знал, что сказать. Мне все еще было тяжело дышать.

— Я здесь живу, — я махнул рукой в сторону дома моей дочери. — Черт, простите. Вот, это вам, — я протянул ей записку.

Она посмотрела на нее безо всякого интереса.

— Вам плохо? Может, стакан воды или еще чего-нибудь?

— Честно говоря, я бы не отказался, — признался я.

Она открыла дверь. Я оглянулся, чтобы проверить, нет ли кого на улице, но там лишь собака спала у канавы. Я вошел в квартиру женщины, за которой наблюдал уже несколько дней, и впервые смог рассмотреть хозяйку.

Она вовсе не была похожа на проститутку, как я ее себе представлял. Это была пожилая женщина — моложе меня, но все равно слишком старая для подобной профессии. Седые волосы были стянуты в тугой пучок на затылке, совсем как у истовой протестантки. Гладкая кожа, высокие скулы, никаких кокетливых подвязок, кружев или пеньюаров — чистая белая футболка с V-образным вырезом и синяя джинсовая юбка, открывавшая взгляду весьма привлекательные ножки. Я не знал, что и думать.

За дверью оказался небольшой коридор и снова ступеньки, на преодоление которых мне пришлось потратить немало времени.

— Вы уверены, что с вами все в порядке? — спросила она. — Надеюсь, вы не собираетесь терять тут сознание. У меня сегодня очень много дел.

— Нет, не собираюсь. Хотя стакан воды бы не помешал.

Она пошла на кухню и открыла кран. В квартире было темно и прохладно, как в подвале; комната была всего одна с кроватью посередине и дверью, ведущей в крошечную кух-

ню. На столе я увидел пожелтевшую от старости швейную машинку. Кровать была накрыта одеялом, посередине виднелась небольшая вмятина; очевидно, там хозяйка ложилась поспать или же принимала клиента. На подоконнике рос помидор в горшке, с одной из веток свешивался большой красный плод.

Она принесла стакан воды, я осушил его в два глотка.

— Еще воды? — спросила она.

— Да, пожалуйста.

Она снова наполнила стакан.

— Слушайте, я всего лишь хотел сказать, что меня зовут Алберт Прайс. Я ваш сосед, живу через улицу.

— Знаю, что живете. Каждый день сидите на крыльце, словно боитесь, что кто-то его украдет.

— Извините за беспокойство, но здесь только что был человек. У него была зажигалка. Он пытался поджечь вашу дверь.

Из ее груди вырвался звук, похожий на кудахтанье.

— Это Лоренс. Он считает, я ему что-то должна, но я ему ничего не должна.

— Может, и так, но он мог вам навредить.

— Пусть только попробует.

— Так он уже попробовал! — настаивал я. — Он пытался поджечь ваш дом.

Она слегка прикрыла глаза и покачала головой.

— Лоренс любит пошуметь. Но он это не всерьез.

Она закурила, выпустила струйку дыма и часть втянула через нос.

— Сколько вам лет, Алберт?

— Восемьдесят три, — ответил я.

Она удивленно вскинула брови.

— И вы проделали весь этот путь только чтобы сказать мне об этом? — она прислонилась спиной к стене и скрестила руки на груди. — Только чтобы рассказать о Лоренсе? Я действительно больше ничего не могу для вас сделать?

Мне надо было подумать. Я никогда в жизни не пользовался услугами проститутки, кроме того раза, в Германии, когда мои приятели затащили в казарму местную девчонку. Сомневаюсь, что ей было больше пятнадцати, а мы, воспользовавшись случаем, оприходовали ее со всех сторон.

Но сейчас передо мной стояла взрослая женщина. Я представил, как буду целовать ее, прикасаться руками к ее коже, и мне в голову пришла мысль, что, возможно, это будет последняя женщина, к которой я вообще прикоснусь. Интересно, каково это, закрыть счет женщин в своей жизни?

Мое дыхание было самым громким звуком в комнате. Я чувствовал, что сейчас упаду.

— Можно, я присяду на вашу кровать? — спросил я.

— Не возражаю.

— Как вас зовут, мисс? — Я едва слышал, что говорю, так сильно стучало мое сердце.

Она погладила пальцами горло и посмотрела на меня полуприкрытыми глазами.

— Кэрол, — ответила наконец.

Я потянулся к столу, чтобы поставить стакан. Руки дрожали так сильно, что по комнате разнеслось стеклянное дребезжание, когда его дно коснулось столешницы.

— Красивое имя, — заметил я, хотя на самом деле так не думал.

— Спасибо, — кивнула она. Я видел, что под футболкой у нее нет лифчика.

— Ладно, Кэрол. Как насчет того, чтобы присоединиться ко мне? Я просто хочу полежать рядом с тобой. Сколько это будет стоить?

От изумления у нее появился второй подбородок.

— Что за хрень ты несешь, Алберт?

— Мне много не надо. Я всего лишь хочу здесь полежать. У меня с собой двадцать долларов. Я дам их тебе. Двадцать долларов за "просто полежать". Мне кажется, это очень выгодная сделка.

И тут Кэрол начала смеяться, весело, звонко; это был на редкость приятный звук. Не помню, когда в последний раз кто-то так смеялся над моими словами. Успокоившись, наконец, она сказала:

— Погоди-ка, Алберт. Ты думаешь, что я шлюха?

Я ничего не сказал, и на нее напал новый приступ смеха.

— Шлюха, — выдавила она. — Гленда умрет со смеху, когда я ей расскажу.

— Что?

— Ты хотел заплатить мне за то, чтобы я полежала рядом с тобой, — она вытерла глаза. — Тебе повезло, что у меня легкий характер, Алберт. Предложи ты такое кому другому — оказался бы в полном дерьме.

— Если не хочешь, дело твое, — сказал я, уже начиная злиться. — Только пожалуйста, не надо считать меня идиотом. Я же видел, как сюда приходили мужчины.

— Алберт, ты ни хрена не понял. Я не торгую своим телом.

— Не торгуешь?

— Да нет же! Я продаю наркотики.

— О Господи, — это все, что я мог сказать.

— Черт возьми, да вся улица об этом знает. Ко мне все приходят за товаром. Я продаю даже тем, кто живет в большом доме на углу, за высоким железным забором.

Я закрыл лицо руками.

— Господи. Извини.

— Ничего, — улыбнулась она. — Ты просто не так понял.

— О Господи, — повторил я.

— Не переживай. Теперь ты все знаешь, Алберт. Итак, тебе что-нибудь нужно? У меня есть снотворное, болеутоляющее, успокоительное и таблетки, чтобы поднять настроение. Их привозят из Мексики. В аптеке дороже выйдет.

— Не надо мне ничего. Я выпил воды, все в порядке.

— У меня еще слабая травка есть. Улучшает аппетит. Если хочешь задержаться в этом мире, тебе стоит набрать вес. Наш город не для худышек. Здесь выживают крупные ребята.

Я задумался над ее словами.

— Ты говоришь о марихуане?

— Ага.

— Ну тогда я вот что тебе скажу. Я куплю у тебя марихуану.

— Косяк?

— Конечно, — кивнул я. — Косяк. Почему бы и нет.

— Да ладно тебе, Алберт. Что такое один жалкий косяк? Мне ведь счета надо оплачивать.

— У меня всего двадцатка. На это можно купить косяк?

Я вытащил банкноту из кармана.

— Что-нибудь придумаем, — сказала Кэрол, забирая у меня деньги. Потом она сунула руку под матрас, достала оттуда пластиковый контейнер, полный пакетиков марихуаны, и отсыпала немного из одного пакетика. Села на стул рядом с кроватью и, так как бумаги для самокруток у нее не было, высыпала содержимое обычной сигареты и принялась набивать травку в опустевшую трубочку.

— Можно тебя кое о чем спросить? — обратился я к ней.

— Все зависит от того, о чем ты хочешь спросить.

— Что случилось с твоим глазом?

— Я им плохо вижу. Различаю свет, тень и больше ничего.

— Понятно, но что с ним все-таки случилось?

Она притихла.

— Травма головы, — ответила Кэрол погодя. — Отслоение сетчатки.

— И отчего же она отслоилась?

— Если честно, то от пули, — вздохнула Кэрол. — Двадцать второго калибра. Муж выстрелил в меня. Во всяком случае, мне так сказали.

Она протянула мне косяк. Плотно набитый косяк за двадцать долларов.

— После тебя, Кэрол.

Она пожала плечами.

— Только слегка затянусь.

Она прикурила от спички и хорошенько затянулась.

— Что значит "так сказали"? Ты не думаешь, что он в тебя выстрелил?

— Если честно, с таким же успехом я сама могла выстрелить. Помню, что в какой-то момент я точно держала в руке пистолет.

— Для человека, получившего пулю в голову, ты выглядишь замечательно.

— Когда это только произошло, я выглядела совсем не замечательно. Глаз раздулся, как баскетбольный мяч. Знаешь, что творилось в больнице? Я сидела вот так, кровь текла здесь и здесь, так что получался идеальный крест. Все медсестры и санитары прибежали посмотреть на него, словно это было какое-то божественное чудо. Но тогда в больнице я о Боге не думала и сейчас не думаю.

Она передала мне косяк. Я затянулся.

— О чем ты думала в тот момент? — спросил я, когда откашлялся.

— Я была немного не в себе и очень хотела узнать, каково это — получить пулю в голову. Что ты чувствуешь, когда к твоему лицу на большой скорости прикасается такая маленькая штучка. Если бы она летела медленно, ничего бы не случилось. Все дело в скорости.

В комнате стало вдруг очень тихо.

— Знаешь, а ведь это забавно, что ты получила пулю в голову.

Кэрол прищурилась.

— Да, это охренеть как весело.

— Да нет, я хочу сказать: забавно, — мы с тобой вроде как друзья по несчастью, Кэрол. В меня тоже стреляли.

— Не врешь?

— Не вру. В Германии. Во время войны. Вот, посмотри.

Я оттянул воротник, чтобы Кэрол посмотрела на след от моей раны. Это ее явно заинтересовало. Она наклонилась и пару раз нежно провела пальцами по шраму. Потом вернула воротник на место и расправила его.

— В тебя стреляли немцы?

— Нет, — я покачал головой. — Это был мой сержант. В самом конце войны. У нас почти ничего не осталось, ни артиллерии, ни тяжелого вооружения, но он почему-то гнал нас че-

рез Эльбу, где в то время шли основные бои. Я сказал, что мы будем полными идиотами, если сунемся туда без поддержки артиллерии, и я подчиняться его приказу не собираюсь. И тут он в меня стреляет. Я говорю: "Господи, я еще жив?" Когда вышел из госпиталя, Трумэн уже успел сбросить бомбы на японцев.

Кэрол улыбнулась. Оказалось, что у нее очень белые и ровные зубы.

— Ты человек верующий, Алберт?

Я попытался подумать над ее словами, но мысли упорно разбегались. Травка успела изрядно поработать над моей головой. Я пожал плечами. Прикосновение рубашки к коже ощущалось совершенно по-новому, так что я пожал плечами еще раз, чтобы проверить.

— Конечно, — наконец ответил я на вопрос Кэрол. — Бог — отличный парень. Он мне нравится.

И я снова услышал прекрасный смех Кэрол.

— Ты была права насчет этой травки, — сказал я спустя пару минут. — От нее действительно ужасно хочется есть.

— Ты голоден?

— О да, — ответил я.

— На меня не смотри, — сказала Кэрол. — Некогда мне сейчас готовить. У меня сегодня рабочий день.

— А как насчет него?

— Насчет чего?

— Насчет этого помидора. Мы могли бы его съесть. На вид спелый.

— Ты хочешь съесть мой помидор?

— Да.

Она подошла к окну, сорвала помидор с куста и протянула его мне.

— А ты не будешь?

— Нет. Потом где-нибудь в городе перекушу.

Я впился зубами в помидор. Изумительный вкус, с сильным ароматом зелени. В нем было столько сока, что Кэрол остановила меня и пошла за полотенцем. Сок тек по подбородку. Я чувствовал, как намокает и тяжелеет борода, но мне было все равно.

Я почти доел помидор, когда Кэрол позвала меня к открытому окну. Шарлотта только что вернулась домой. Она стояла на крыльце рядом с моим пустым креслом, держа в руках бумажный пакет, и высматривала меня на улице.

— Это твоя дочь?

— Да, это она, — ответил я.

Шарлотта начала звать меня, причем так громко, словно у нее был невидимый мегафон.

Кэрол словно ее не слышала. Она держала в руках то, что осталось от нашего косяка.

— Еще хочешь? — спросила она.

— Нет, спасибо.

Она облизнула пальцы, покрутила косяк в пальцах, потом сунула его в рот и проглотила.

Шарлоттта снова принялась звать меня.

— Не собираешься сообщить ей, где ты? — поинтересовалась Кэрол.

Я положил руки на подоконник и подставил голову полуденному солнцу. Ветер обдувал мои мокрые губы и подбородок.

— Эй, — крикнул я дочери. — Эй, Шарлотта, посмотри сюда.

Перевод З. Гульдиной и Е. Колябиной

Все разорили, все пожгли

ТОЛЬКО начала жизнь входить в домашнюю колею, как кто-то напустил драконов и гниль на жито из-за Северного моря. Все мы знали кто. Последние лет десять норвежский монах-перебежчик Наддод был большим колдуном по части драконов и гнили и наводил пагубу на любого, кто выложит сколько-нибудь серебра. По слухам, Наддод орудовал в монастыре на острове Линдисфарне, по которому мы прошлись прошлой осенью после месяца жатвы, по ходу операции грабежа и устрашения в Нортумбрии. А теперь злые ветры выли с запада, обжигали землю, вырывали траву из почвы. Лосось покрылся язвами, кузнечики жадными трескучими стаями вцепились в пшеницу.

Я старался об этом не думать. Три долгих месяца мы грабили берега Нортумбрии, и вот я вернулся к моей женщине Пиле и думал, что в эти бесконечные летние дни наш дом очень похож на рай. Дом мы построили вместе, Пила и я. Это была очень приятная хижина из прутьев и глины, на красивом участке равнины, где в землю врезался широкий голубой фьорд. Летними вечерами мы с моей молодой женой, напившись картофельного вина, сидели перед домом и смотрели, как солнце прошивает на горизонте свою оранжевую юбку. В такие часы бывает хорошее, смирное чувство, что боги пря-

мо сейчас создали это место, а потом спохватились и придумали тебя, и посадили здесь, чтобы радовался.

Я и радовался, и получал удовольствие, и на полатях полеживал с Пилой, хотя знал, к чему это, когда слушал вой ветра за стенами. К тому что какие-то личности за три недели морем от нас портят нам лето, и, похоже, их надо за это отодрать.

Конечно, Дьярф Светловолосый выпустил жало еще до того, как его жена заметила драконские ветры, дувшие с берега на материк. Он был начальником на нашем корабле и одержим войной. Страсть его к битвам была и пугающей, и заразительной. Однажды он сколотил шайку франкских рабов и повел их на юг, убивать и увечить соотечественников. Четыре дня они всласть пограбили, а потом до рабов дошло, что они творят, и настроение у них враз переменилось. Дьярф с боями шел вверх по долине Рейна, без труда пробиваясь сквозь квелые ополчения детей и крестьян, но тут рабы его нагнали. Те, кто был с ним, рассказывают, что он осатанел, сделался прямо берсерком и парой боевых топоров лущил их ряды, как кукурузный початок, а когда топоры сломались, схватил чью-то отрубленную ногу и принялся глушить ею как дубиной. Робкие провинциалы ужаснулись, отступили и открыли ему широкий проход к кораблю.

Дьярф был из Хедебю-Шлезвига на фьорде Сли, паршивого каменистого места, где жители получают жгучее удовольствие от мрачных сторон жизни. У них привычка, если им не понравится с виду младенец, вылезший из живота, они бросают его в море и ждут следующего. Дьярф сам родился с коликами, и только по милости приливов и благодаря собственной цепкости его принесло к дальнему берегу, когда отец хотел сплавить его с земли.

С тех пор он сводил счеты. Я был с ним в поисково-истребительной операции против Людовика Благочестивого и собственными глазами видел, как он шел по плечам солдат, кося черепа по дороге. В том же походе у нас кончилась еда, и Дьярф придумал бросить наших покойников на костер и поужинать вчерашней бараниной, когда у них лопнули животы. Он один в них копался, если не считать сумасшедшего араба, рассеивателя чар. Он залезал к ним в животы и выгребал пережеванную пищу куском сосновой коры. "Бакланы, — говорил он нам, и отсветы костра бегали по его лицу. — Еда есть еда. Если бы этим ребятам не обрезали нити, они сказали бы вам то же самое".

И вот Дьярф, у которого жена была сварливой бабой с рыбьим ротиком и не особенно большой приманкой, чтобы

сидеть дома, агитировал снова вскочить на корабль и навести порядок в Нортумбрии. Мой друг Гнут, живший за каменной мореной на краю нашего пшеничного поля, спустился однажды с холма и признался, что тоже об этом подумывает. Он, как и я, был не особенно падок до войны. Он был помешан на кораблях. Он от хижины до сральника ходил бы на веслах, если бы кто изобрел корабль, чтобы мог плавать по дерну. Жена его давно преставилась, умерла от дурного молока, и теперь, когда ее не стало, та часть Гнута, которой было покойно на месте, которое под ним не двигается, тоже захирела и умерла.

Пила увидела, как он спускается к нам, и нахмурилась. "И гадать не надо, чего он хочет", — сказала она и ушла обратно в дом. Гнут не торопясь спустился по вересковому склону и остановился у пары стульев из пней, которые мы поставили наверху, чтобы любоваться приятным видом. Фьорд блестел как разлитое серебро, иногда между волн высовывалась голова тюленя.

Шерстяная одежда Гнута заскорузла от грязи, немытые длинные волосы так отяжелели от жира, что даже крепкому ветру трудно было их пошевелить. На усах — хорошая корка соплей, зрелище не самое красивое, однако жил он один, любоваться на это было некому. Он вырвал стебель вереска и жевал его сладкий корень.

— Дьярф еще до тебя не добрался? — спросил он.

— Еще нет, но я не беспокоюсь, он не забудет.

Он вынул стебель из зубов, на секунду засунул в ухо и бросил.

— Ты поедешь?

— Нет, не поеду, пока не услышу деталей.

— А я точно поеду. Вчера ночью прилетела гидра и разогнала овец Рольфа Хьердала. Мы не можем терпеть это блядство. Затронута наша гордость, вот что затронуто.

— Слушай, Гнут, когда это ты сделался таким ретивым мудозвоном? Не помню, чтобы ты был таким гордым и чувствительным до того, как Аструд отправилась в хорошее место. Да и с Линдисфарна, скорее всего, нечего взять. Если не помнишь, в прошлый набег мы ограбили их догола, и вряд ли за это время они так разжились, что стоит туда плыть.

Лучше бы Гнут прямо признался, что жизнь у него одинокая и несчастная, а не корчил из себя заядлого вояку. На него поглядеть, и сразу понятно, что почти все дни он думает о том, чтобы войти в воду и не оглянуться. Вовсе не воевать ему хотелось. Хотелось на корабль, и с компанией. Вообще-то, я не так был против дела, но хотел подольше помиловать-

ся с Пилой. Она, наверное, даже сама не знала, как она мне нравится, и я надеялся поосновательнее полежать с ней до месяца сенокоса и, может, сделать нам маленькую обезьянку.

Но шли дни, и погода все больше портилась. Пила следила за небом, и грусть в ней набухала, как всегда, когда мне предстояло уплыть. Иные дни она меня ругала, а иные — обнимала меня и плакала. И как-то поздно ночью, ближе к рассвету, выпал град. Он налетел вдруг, со скрежетом, какой бывает, когда киль заскребет по камням. Мы сидели, укрывшись овчинами, и я шепотом говорил ей успокоительные слова, чтобы заглушить этот шум.

Солнце еще не поднялось, когда пришел Дьярф и постучался. Я встал, прошел по полу, мокрому от холодной росы. Дьярф стоял перед дверью в кольчуге, со щитом и дышал так, будто бежал всю дорогу. Он бросил к моим ногам горсть града.

— День настал, — сказал он с шальной ухмылкой. — Надо отправляться.

Конечно, я мог сказать ему: "Спасибо, обойдусь", — но если ты отказался от одного дела, будь доволен, если позовут когда в торговую охрану на слабое жалование. Мне надо было думать и о нас с Пилой, и о малышах, которых можем произвести. Но ей все равно не хотелось об этом слышать. Когда я опять залез в постель, она укрылась с головой, чтобы я подумал, что она сердится, а не плачет.

Когда мы отчалили, по небу неслись низкие тучи. Нас было тридцать на борту. Гнут греб со мною на носу, а сзади сидело много других, с которыми мне уже случалось плавать. Кое-кто из их родных пришел провожать. Эрл Стендер испортил всю музыку — он махал сыну, а тот стоял на берегу и махал в ответ. Он был маленький, лет четырех-пяти, если не меньше, стоял без штанов и держал на кожаном поводке молочного поросенка. Кое-кто на корабле был немногим старше — буйные малолетки, такие несведущие в жизни, что руку тебе пожать или ножом пырнуть — им все одно.

Гнут был сам не свой от радости. Он смеялся, пел, сильно работал веслом — я только руки держал на рукояти для вида. Я уже скучал по Пиле. Смотрел на берег — искал ее рыжие волосы. Она не пришла провожать на берег — от злости и печали, что я ухожу, не вылезла из постели. Но я все равно ее искал; земля с каждым гребком удалялась. Если Гнут и понимал мое огорчение, то не сказал. Он толкал меня локтем, шутил и без умолку, весело, надоедливо болтал о чем-то, словно это мы вдвоем устроили себе отдельную прогулку.

Дьярф стоял по обыкновению на носу, с красной рожей. Хорошее настроение с него не сходило. Шлезвигские без всякого повода могут запеть, их страсть к музыке может сравниться только с безобразием их пения. Он орал балладу часами, кодла малолетних костогрызов подвывала ему и никому не давала покоя.

Через три дня солнце пробилось сквозь грязные тучи и разлило по морю стальной блеск. Оно запекло соль на нашей одежде, все высохли и повеселели. У меня копошилась мысль, что если Наддод такой сильный, как мы думали, это плавание было бы хорошим поводом вызвать бурю и утопить нас, как котят. Но погода держалась, море было спокойным и сонным.

Тут темнело по вечерам раньше, чем дома, и спать под открытым небом без ночного солнца было легче. Мы с Гнутом спали, где гребли, и ползали друг по другу, поудобнее устраиваясь на скамье. Однажды ночью я проснулся: Гнут спал крепким сном, лопотал, пускал слюни и грубо обнимал меня. Я пробовал его оторвать, но он был здоровенный, и его жесткие руки держали меня крепко, словно приросли ко мне. Я его ткнул и заорал, но верзила не хотел просыпаться, поэтому я немного поизвивался, чтобы хватка была не такая крепкая, ребра не трещали, — и опять уснул.

После я рассказал ему, что было.

— Все это брехня какая-то, — сказал он, и его широкое лицо сделалось красным.

— Хорошо бы, если так, — я сказал. — Но у меня синяки, могу показать. Слушай, если я когда попрошусь к тебе в подружки, сделай милость, не напоминай мне про эту ночь.

Он совсем расстроился.

— Иди к черту, Харальд. Ты не остроумный. Никто не считает тебя остроумным.

— Извини, — сказал я. — Похоже, ты сильно отвык иметь около себя тело ночью.

Он на секунду остановил весло.

— Ну, отвык, и что?

С попутным ветром, надувавшим наши паруса, мы шли быстро, и остров показался на шесть дней раньше. Первым его заметил один из костогрызов и, когда заметил, дал всем знать протяжным, противным боевым кличем. Он вытащил меч и начал писать им восьмерки над головой так, что все вокруг отпрянули к планширам. Парень был сволочной, с лицом стервятника, и прыщей больше, чем волосков в бороде. Я ви-

дел его там, у нас. У него к ремню были привязаны три отрубленных почернелых больших пальца.

Хокон Гокстад посмотрел на него с кормы злым взглядом. За спиной у Хокона было больше походов и набегов, чем у всех у нас вместе взятых. Он был старый, с больными костями и сидел за рулем: во-первых, он чувствовал приливные течения по тому, как кровь двигалась у него в руках, а во-вторых, его старые руки плохо годились для гребли.

— Опусти свою жопу на скамью, молодой человек, — сказал Хокон парню. — Отсюда дотуда нам двенадцать часов ходу.

Парень покраснел. Опустил меч. Посмотрел на дружков — узнать, унизили ли его перед ними, и если унизили, то что тогда надо делать. Вся команда на него глядела. Даже Дьярф прервал свою песню. Другой парень на его скамье шепнул что-то и отскочил в сторону, а этот взялся за весло. Гребля и болтовня возобновились.

Можно сказать, что эти люди на Линдисфарне были глупы: поселились на маленьком островке без высоких скал, без порядочной естественной защиты и так близко к нам, и к шведам, и к норвежцам, что никак нельзя было нам, чтобы не сделать на них набег время от времени и не пограбить. Но когда мы вошли в голубой заливчик, все притихли. Даже костогрызы бросили лапать друг друга и стали смотреть. На острове раскинулись поля фиолетового чертополоха, и, когда дул ветер, они дергались и шли волнами, как шкура какого-то сказочного животного во сне. Склоны были покрыты широкими красными заплатами полевых цветов. Вдоль берега росли яблони, и было что-то печальное в том, как низко гнулись ветви от тяжести плодов. Мы видели человека, двигавшегося к группе зеленых домиков; за ним шел нагруженный осел. На дальнем холме вырисовывались очертания монастыря, все еще без крыши, после того как мы сожгли его в прошлый раз. Это было красивое строение, и я надеялся, что там еще найдется интересная пожива, когда мы сойдем с корабля и развоpотим его.

Мы собрались на берегу; Дьярф уже был в пене. Он сделал несколько приседаний, встал перед нами и принял несколько поз, скрипя суставами и разминая затекшие мышцы. Потом он закрыл глаза и молча сказал молитву. Глаза его еще были закрыты, когда показался человек в длинной рясе, пробиравшийся сквозь чертополох.

Хокон Гокстад держал палец во рту, там, где у него не было зуба. Он вынул палец и сплюнул через дыру. Он кивнул на холм, откуда спускался к нам человек.

— Ишь, сукин сын, какой храбрый, — сказал он.

Человек подошел прямо к Дьярфу. Он остановился перед ним и откинул капюшон. Жидкие волосы на его черепе, наверное, были желтыми до того, как стали белыми. Он был старый, морщины на лице как будто прорезаны острием кинжала.

— Наддод, — сказал Дьярф, слегка кивнув. — Думаю, ты ожидал нас.

— Никак не ожидал, — сказал Наддод. Он поднес руку к грубому деревянному кресту на груди. — Не буду любезничать с тобой и делать вид, что это чересчур приятная неожиданность. По правде, тут мало чего осталось грабить, так что это немного загадочно.

— Угу, — сказал Дьярф. — Ничего не можешь рассказать нам про бурю с градом, про саранчу и всякое такое говно и про то, откуда чертовы драконы прилетают, так что у всех жены писаются от страха. Ни о чем таком ты не знаешь.

Наддод поднял вверх ладони и благочестиво улыбнулся.

— Нет, очень жаль, но я не знаю. Мы, да, наслали обезьянью оспу на испанский гарнизон в Мач-Уэнлоке, но в вашу сторону, честно, ничего.

Дьярф переменил тон, заговорил громко и дружелюбно.

— Ну, уже кое-что. — Он повернулся к нам и поднял руки. — Ребята, неприятно вам это сообщать, но кто-то тут сильно гадит. Старина Наддод говорит, что не он, но как только он скажет, кто, черт возьми, стоит за нашими неприятностями, мы погрузимся и двинем дальше.

— Да. — Наддоду было не по себе, и я видел, что он похолодел. — Если будете проходить через Мерсию, я знаю, что у них там какой-то Этельрик. По слухам, очень сильный ворожей. Знаешь, эта прошлогодняя вспышка проказы...

Дьярф ухмылялся и кивал, но у Наддода сделался вдруг больной вид.

У Дьярфа на поясе висел ножик, и как другие курят трубку или жуют семена, так Дьярф постоянно правил свой ножик. Лезвие было сточено, как ноготь мизинца. Этой штукой можно было побрить задницу фее. И пока Наддод говорил, Дьярф вынул ножик и аккуратно провел им сверху вниз по его животу. При виде крови, лившейся на белые ракушки, все сгрудились вокруг, повыхватывали мечи и завопили. Дьярф был вне себя от возбуждения, прыгал на месте и кричал, чтобы все замолкли и смотрели, что он будет делать.

Наддод еще не умер. Много его внутренностей вывалилось, но он еще дышал. Но не кричал, ничего такого, надо от-

дать ему должное. Дьярф присел на корточки, перевернул Наддода на живот и поставил ногу ему на крестец.

Гнут стоял рядом со мной. Он вздохнул и закрыл рукой глаза.

— Господи, он делает кровяного орла?

— Да, — я сказал. — Похоже на то.

Дьярф поднял ладонь, чтобы все замолчали.

— Я знаю, большинство бывалых такое видели, но для вас, молодежь, это может быть в новинку.

Костогрызы неуверенно засмеялись.

— Это мы называет кровяным орлом, и, если вы постоите минуту спокойно, увидите — впечатление будет довольно необыкновенное.

Люди расступились, чтобы освободить Дьярфу место для работы. Он наставил конец меча на спину Наддоду сбоку от хребта. Нажал на меч и стал осторожно проламывать сталью ребра по одному за раз, пока не сделал разрез чуть побольше пяди. Потом остановился, утер пот со лба и сделал параллельный надрез с другой стороны от хребта. Он повозился в них руками и вынул наружу оба легких. Наддод дышал и пыхтел, и легкие хлопали наподобие пары крыльев. Мне самому пришлось отвернуться. Это было скверное зрелище.

Молодые ржали, а Дьярф стоял перед ними и дирижировал аплодисментами. Потом по его команде они похватали осадное снаряжение и гурьбой повалили на холм.

Не пошли только Гнут, Хокон, Эрл Стендер и я. Эрл смотрел, как ватага поднимается к монастырю, и, убедившись, что никто не оглядывается, подошел к умирающему Наддоду и сильно ударил его по голове обухом топора. Мы немного успокоились, когда легкие перестали трепетать. Эрл вздохнул и перекрестился. Он сказал похоронную молитву, и смысл ее был такой: он не знает, чего хотел Бог этого человека, но Он огорчен, что Его скромного слугу отправили наверх раньше времени, да еще по такому дурацкому поводу. Эрл сказал, что не знает этого человека, но тот, наверное, заслуживает лучшего, когда будет здесь в следующий раз.

— Столько проплыть ради этой глупости и стада овец, которых придется стричь дома, — проворчал Хокон.

Гнут улыбнулся и, прищурясь, посмотрел на небо.

— Мать моя, день-то какой хороший. Пошли наверх, может, наскребем чего-нибудь поесть.

Мы пошли к маленькому поселку на холме. Дальше, где стоял монастырь, молодежь гуляла вовсю. Они выволокли полдюжины монахов, повесили на дереве и дерево подожгли. Руки у нас занемели и были в мозолях от гребли. Мы оста-

новились у колодца посреди деревни, чтобы смочить ладони и попить. К нашему удивлению, из-за ясеней выскочил тот парень с большими пальцами на поясе; он тащил за собой какого-то несчастного полумертвого крестьянина. Он подошел к нам и уронил своего пленника на пыльную дорогу.

— Ничего себе, — сказал он нам. — Хорошие из вас вожаки, если стоите тут и смотрите, как другие работают.

— Ты, говнецо, — сказал Хокон и тыльной стороной ладони ударил парня по губам. Пленник, лежавший в пыли, посмотрел снизу и усмехнулся. Парень покраснел. Он вынул кинжал из ножен на бедре и ткнул Хокона в живот. Стало тихо. Хокон смотрел на багровое пятно, расплывавшееся по рубашке. Вид у него был очень раздосадованный.

Когда парень сообразил, что́ он натворил, лицо у него сделалось беспокойное, как у ребенка, когда тот заранее дуется, надеясь избежать порки. Он еще хлопотал лицом, когда Хокон одним хрустким ударом расколол ему лоб посередине.

Хокон вытер меч и снова посмотрел на свой живот.

— Сукин сын, — сказал он, потрогав рану мизинцем. — Глубокая. Кажется, плохо мое дело.

— Ерунда, — сказал Гнут. — Надо тебя положить и зашить.

Эрл, человек мягкосердечный, подошел к тому, которого приволок парень. Он посадил его спиной к колодцу и дал попить из ведра.

Из дома за дорогой вышел старый высохший крестьянин. Он посмотрел на дым, поднимавшийся над монастырем и стелившийся над заливом. Он кивнул нам. Мы подошли.

— Здравствуйте, — сказал он.

Я пожелал ему доброго дня.

Он, прищурясь, посмотрел на мое лицо.

— Что-то не нравится? — спросил я.

— Извиняюсь, — сказал он. — Просто подумал, лицо знакомое.

— Может быть. Я проходил тут прошлой осенью.

— Ага, — сказал он. — Жарко было. Не понимаю, зачем вам опять сюда понадобилось. В прошлый набег вы убрали все до нитки.

— А мы сами не совсем понимаем. Приплыли повидать вашего человека Наддода. Похоже, не тот, кто был нужен, но с ним разделались, к сожалению.

Крестьянин вздохнул.

— Мне это как до заячьей губы. С нас десятину собирали на их содержание. Без него, думаю, обойдемся. Так чем займетесь? Будете грабить?

— Зачем? Разве у вас осталось, что грабить?

— У меня? Да нет. Печка вот хорошая, но вряд ли вы потащите ее на корабль.

— Думаю, у тебя не припрятаны в земле монеты или еще что?

— Мать честная, хорошо бы, если так. Если бы были припрятаны, я бы по-другому зажил.

— Да, конечно. Думаю, если бы и были, ты бы вряд ли признался.

Он засмеялся.

— Ты правильно сказал, мой друг. Но, видно, вам надо меня убить или мне поверить — и так, и так вам от этого никакой выгоды. — Он показал на Хокона, который опирался на Гнута и выглядел довольно слабым. — Вижу, у вашего друга неприятность. Если не хотите смотреть, как он у вас умирает, может, в дом его внесете? У меня дочка чертовски хорошая швея.

У крестьянина, которого звали Брюс, был уютный домик. Мы вошли гуськом. Его дочь стояла у печи. Когда мы появились в дверях, она тихонько вскрикнула от испуга. У нее были густые черные волосы и белое, как сахар, лицо — красивая девушка. Такая красивая, что не сразу и заметишь, что у нее нет руки. Мы все остановились и уставились на нее. А Гнут, тот прямо остолбенел. Это было видно. Он побелел, глаза его расширились — можно подумать, перед ним была дикая собака, а не красивая женщина. Он прогреб обеими пятернями волосы и облизнул корку на губах. Потом кивнул и хмуро сказал:

— Здравствуй.

Брюс сказал:

— Мэри, у этого человека получилась дыра в животе. Я сказал, что мы попробуем его полечить.

Мэри посмотрела на Хокона.

— Ага, — сказала она. Она подняла на нем рубашку и осмотрела рану. — Воды, — велела она Эрлу, наблюдавшему за ними.

Эрл пошел к колодцу, а Гнут с завистью смотрел ему вслед. Потом откашлялся.

— Я хочу пособить, — сказал он.

Мэри отправила его в угол к мешочку с луком и велела нарезать. Брюс растопил печь. Мэри поставила воду и насыпала в нее овсяной крупы. Хокон, совсем бледный, взобрался на стол и лежал неподвижно.

— Мне что-то не хочется овсянки, — сказал он.

— Ты не беспокойся насчет каши, — сказал Брюс. — Каша только для того, чтобы в ней ехал лук.

Гнут поглядывал на Мэри и трудился над луком. Он очень усердствовал — резал и резал, а когда все порезал, принялся резать резаное. В конце концов, Мэри обернулась и сказала ему:

— Спасибо, достаточно.

Гнут положил нож.

Когда каша поспела, Мэри бросила в нее несколько горстей лука и подошла с варевом к Хокону. Он смотрел на нее опасливо, но, когда она поднесла ему ложку, раскрыл рот, как птенец, пожевал и проглотил.

— Не очень-то вкусно, — сказал он, но все-таки продолжал есть.

Он ел, а потом произошло странное. Мэри снова подняла на Хоконе рубашку, поднесла лицо к ране и понюхала. Выждала немного и сделала то же самое еще раз.

— Это еще что такое? — спросил я.

— Это надо при такой ране, — сказал Брюс. — Проверить, нет ли у него овсяной болезни.

— Нет у него овсяной болезни, — сказал я. — По крайней мере, до сих пор не было. У него живот пропорот — вот что у него есть. Давайте, зашивайте его.

— Это было бы бесполезно, если бы из раны пахло луком. Тогда это овсяная болезнь, и ему конец.

Хокон посмотрел на нас.

— Говоришь, кишки пропороты? Не верится, что так плохо.

Мэри еще раз понюхала. Рана не пахла луком. Она обмыла Хокона горячей водой и зашила дыру с тугими морщинами. Хокон потрогал швы и, удовлетворенный, потерял сознание. Мы впятером стояли вокруг, и никто не знал, что сказать.

— Ты это, — неожиданно спросил Гнут, — ты родилась такая?

— Какая? — спросила Мэри.

— Не с двумя руками. Ты такой появилась на свет?

— Хороший вопрос ты задал моей дочери, сэр, — сказал Брюс. — Это ваши люди такой ее сделали.

Гнут сказал:

— А. — Потом повторил это еще раз, и тут уже никто не нашелся, что сказать. Тогда заговорила Мэри.

— Это не вы сделали, — сказала она. — Но того, кто это сделал, думаю, я хотела бы его убить.

Гнут сказал, что, если она согласится назвать ему, кто это сделал, он счел бы за честь, если бы она позволила ему вступиться за нее.

Я сказал:

— Хочу выпить. Эрл, что у тебя в бурдюке?

Он не ответил. Бурдюк висел у него на плече, и он приложил к нему обе ладони, как бы защищая.

— Я спросил, что у тебя есть выпить?

— Немного водки из корнеплодов, к твоему сведению, Харальд. Но ее должно мне хватить на обратную дорогу. Я не могу мокнуть, да еще когда нет чем согреться.

Гнут обрадовался случаю возвысить голос.

— Эрл, ты сукин сын. Мы три недели были в море, неизвестно ради чего. Хокон может умереть, а ты даже не догадываешься налить людям немного вкусного. Я отродясь не слышал о такой низости.

Тогда Эрл откупорил свой бурдюк, и мы приняли. Водка была сладкая и крепкая, мы пили, смеялись и совсем разошлись. Хокон очнулся. После пережитого испытания он расчувствовался и произнес тост за своего красивого лекаря и за чудесный день, и сказал, как он доволен тем, что сможет увидеть его конец. Брюс и Мэри успокоились, и мы болтали как старые друзья. Мэри рассказала неприличную историю об аптекаре, который жил неподалеку. Она тоже развеселилась и, кажется, была совсем не против того, что Гнут стоит очень близко к ней. Глядя на нас, никто бы не подумал, что из-за наших у девушки не хватает руки, — и, может быть, из наших поэтому же никто не спросил, куда делась жена Брюса.

В скором времени мы услышали, что кто-то шумит у колодца. С Гнутом и Эрлом я вышел наружу. Дьярф разделся до пояса, и его лицо, руки и штаны выглядели примерно так, как вы себе представляете. Он таскал из колодца ведра с холодной водой, окатывал себя и кричал от удовольствия. С него текла розовая водянистая кровь. Он увидел нас и подошел.

— Ух, — сказал он, отряхивая волосы. С минуту он побегал на месте, поежился, потом выпрямился. — Ну и порезвились, я скажу. Добра там — кот наплакал, но порезвились от души, черт возьми. — Он помассировал себе бедра и несколько раз сплюнул. Потом спросил: — А вы тут много убили?

— Нет, — сказал я. — Хокон убил этого маленького, забыл, как его звать, он там лежит, а так нет — больше отдыхали.

— Хм. А там что? — Он показал на дом Брюса. — Кто там живет? Вы их убили?

— Не убили, — сказал Эрл. — Они тут помогли Хокона залатать, и вообще. Видно, хорошие люди.

— Никто их не убивает, — сказал Гнут.

— Так что, все наши там, в монастыре? — спросил я.

— Ну, большинство. Молодые люди поспорили из-за какой-то дряни и стали резать друг друга. Назад грести будет трудновато. Думаю, теперь только о ветре молиться.

В небе клубился коричневый дым, и вдали слышны были крики людей.

— Значит, тут такое дело, — сказал Дьярф. — Тут заночуем и, если погода выстоит, завтра махнем в Мерсию, попробуем разобраться с этим разъебаем Этельриком.

— Не знаю, — сказал Эрл.

— Не пойдет, — сказал я. — И так понапрасну мозоли набили. У меня жена дома, и солому скирдовать надо. Будь я неладен, если повезу тебя в Мерсию.

Дьярф скрипнул зубами. Он посмотрел на Гнута.

— И ты тоже?

Гнут кивнул.

— Серьезно? Бунт?

— Нет, — ответил Гнут. — Мы просто говорим, что...

— Называй это как хочешь, курва, — гаркнул Дьярф. — Вы, сукины дети, срываете мне операцию?

— Слушай, Дьярф, — сказал я. — Никто никому ничего не делает. Просто нам надо домой.

Он орал и храпел. Потом побежал на нас с поднятым мечом, и Гнуту пришлось быстро стать сзади и взять его медвежьим захватом. Я подошел, зажал ему рот ладонью, другой рукой защемил нос, и он понемногу стал остывать. Мы отпустили его. Он стоял, пыхтел, уставясь на нас; мы вынули ножи и прочее, и в конце концов он убрал меч и взял себя в руки.

— Так, ладно, вас понял, — сказал он. — Ясно. Возвращаемся. А, забыл сказать. Олафсен нашел заначку филейного мяса и приготовит для всех оставшихся. Должно быть вкусно. — Он повернулся и пошлепал обратно к заливу.

Гнут на пир не пошел. Он сказал, что должен остаться у Брюса и Мэри, присмотреть за Хоконом. Брехня, конечно, учитывая, что Хокон сам спустился с холма и набил свое раненое брюхо девятью увесистыми бифштексами. Когда сумерки стали чернеть, а Гнута нет как нет, я пошел наверх к Брюсу, узнать, что с ним. Гнут сидел на дуплистом бревне и кидал камешки в траву.

— Она едет со мной.

— Мэри?

Он торжественно кивнул.

— Я ее с собой беру, чтобы она была мне женой. Она там, разговаривает об этом с Брюсом.

— Это добровольное согласие или затея типа похищения?

Гнут посмотрел на залив, как будто не слышал вопроса.

— Она едет со мной.

Я поразмыслил над этой новостью.

— А ты уверен, что складно придумал — везти ее, чтобы жила среди наших людей, принимая все во внимание?

Он замолчал.

— Любой, кто тронет ее или скажет про нее нехорошо, — это будет что-то особенное, что я с ним сделаю.

Мы сидели и смотрели на искры, взлетавшие над костром на берегу. Теплый вечерний ветер доносил запахи цветов и древесного дыма, и мной овладело спокойствие.

Мы вошли в дом Брюса, где горела только одна сальная свеча. Мэри стояла у окна, положив свою единственную руку на грудь. Брюс был разгорячен. Когда мы вошли, он преградил нам дорогу.

— Уходите из моего дома, — сказал он. — Вы не можете забрать ее, у меня только она и осталась.

У Гнута вид был не очень радостный, но он оттолкнул Брюса и сшиб, так что тот сел на пол. Я подошел и положил руку на плечо старого крестьянина, который трясся от ярости.

Мэри не протянула руку Гнуту, но она не стала возражать, когда он обхватил ее и повел к двери. На отца посмотрела несчастным взглядом, но шла не упираясь. С одной-то рукой что она могла сделать? И какому еще мужчине она понадобилась бы? Когда они шли к двери, Брюс схватил со стола шило и кинулся за Гнутом. Я встал перед ним и разбил стул о его лицо, но он все равно шел, цеплялся за мой меч — он готов был воспользоваться чем угодно, чтобы не дать дочери уйти. Мне пришлось его удержать и воткнуть нож ему в щеку. Я держал там нож, как мундштук у лошади, и он больше не хотел идти за ними. Когда я от него отошел, он тихо плакал. Я пошел к двери, а он что-то бросил в меня и сшиб свечу.

И вы можете подумать, это хорошо, что Гнут нашел женщину, которая даст ему любить ее и если даже сама не совсем полюбит, то, по крайней мере, потом почувствует что-то похожее на любовь. Но что вы скажете о возвратном плавании, когда ветер улегся, и мы добирались до дома целых пять недель? Гнут, по-моему, ни словом ни с кем не перемолвился, только все время держал Мэри рядом с собой, стараясь успокоить ее и оградить от нас, своих друзей. Он избегал смотреть мне в глаза, весь во власти страха, какой бывает, когда ты завладел чем-то, что тебе никак нельзя потерять.

После этого набега жизнь изменилась. Мне казалось, что у всех у нас разгульное, легкое время жизни подходит к кон-

цу и нас ждут невзгоды. Вскорости после нашего возвращения к Дьярфу через рану в ноге вполз червь, и ему пришлось отказаться от походов. Гнут с Мэри теперь только крестьянствовал, и я виделся с ним редко. Чтобы просто за кувшином посидеть, надо было нудно договариваться за две недели. А когда собирались, он и шутил немного, и смеялся, но видно было, что голова у него занята другим. Он получил, что хотел, но, кажется, был не очень этим счастлив, а только все время тревожился.

Я тогда не очень понимал, что переживает Гнут, но, когда у нас с Пилой родились двойняшки и образовалась семья, я почувствовал, как ужасна может быть любовь. Тебе хотелось бы ненавидеть этих людей — жену и детей, — потому что знаешь, как может обойтись с ними мир, потому что ты сам творил это с другими. Это сумасшествие, но ты прилепляешься к ним всем, что в тебе есть, а на остальное закрываешь глаза. И все равно, просыпаешься по ночам и лежишь, прислушиваясь, не заскрипят, не заплещут ли весла, не звякнет ли сталь, не зашумят ли люди, гребущие к твоему дому.

Перевод В. Голышева

Иехудит Кацир

Шлаф штунде

Перевод с иврита Светланы Шенбрунн

КОГДА-ТО, когда каникулы тянулись целое лето, и рыжее солнце рисовало веснушки на наших лицах, а после праздника Суккот ветер свистом созывал свою банду — скопище черных туч, и мы под грохот грозы со всех ног неслись по дну вади домой, и колючий дождь прокалывал высунутый язык вкусом ментола и сосен, и окрестные собаки соревновались, которая тявкнет громче — прямо как солидные дяденьки, откашливающиеся в антракте концерта, — и когда вдруг наваливалась весна с ее кошачьими воплями и оглушающим цветением лимонов, и вновь душил летний суховей и воздух в автобусе делался тяжелым и неподвижным, но мы соглашались уступить место только госпоже Белле Блюм с почты, с седыми растрепанными волосами, какие бывают только у опасных похитительниц детей, и узкими очками на кончике остренького носа, заточенного наподобие красного карандаша, прокрадывавшейся по ночам к нашим постелям и тянувшей к нам с приторной хищной улыбкой свои сухие скрюченные пальцы — разве что отдав ей все наши марки, мы могли кое-как умилостивить ее и спастись, или жарко помо-

© by Judith Katzir
© Светлана Шенбрунн. Перевод, 2010
Редакция благодарит автора за безвозмездное предоставление права на публикацию рассказа.

лившись Богу, нарядившемуся клоуном: в огромнейшие башмаки и широченные клетчатые, белые с красным, штаны, — и с трудом удерживающему равновесие на туго натянутом канате под синим матерчатым куполом венгерского цирка, а потом превращавшемуся в слона и поворачивавшему к нам свой огромный морщинистый зад, чтобы уйти ужинать... Когда весь мир казался оранжевым сквозь прохладную сверкающую вазу, стоявшую на буфете в гостиной и, верно, исчезавшую вместе со всей прочей обстановкой в тот миг, как мы выходили из комнаты, — мы приникали к замочной скважине, чтобы узнать, там ли они еще, сверкающая ваза и буфет, но, возможно, они видели, что мы подглядываем, и скоренько возвращались на место; когда в гараже под супермаркетом скрывалась банда опасных преступников, которую могли выследить и разоблачить только Эмиль и ты, поскольку было ясно, что ты обязательно сделаешься знаменитым сыщиком, таким, о которых пишут в книгах, а я стану твоей помощницей, и мы упражнялись в тайнописи — чернилами из лука, — нагревали записку над пламенем свечи, чтобы крепко-накрепко закрепить написанное, и научались глотать ее, чтобы она не попала в руки врага, и еще проводили всякие другие тренировки: самообороны и невыдачи тайны даже под пытками — даже если нас будут привязывать к кровати и подносить к пальцам ног горящие спички, — и составляли яды из черной земли, прелых листьев и давленых колосков, и хранили их в баночках из-под простокваши, на которых изображали череп и две скрещенные кости, и прятали в надежный тайник вместе с остальными нашими сокровищами... Когда летние каникулы продолжались все лето, и весь мир был оранжевым, и все было возможно, все могло произойти, и дядя Альфред еще был жив и приходил пить чай, а бабушка с дедушкой отправлялись отдыхать после обеда — с двух до четырех — и оставляли в наше распоряжение все время на свете, все безмерно-бесконечное время, и мы прокрадывались по скрипучей деревянной лестнице позади дома в нашу комнатку на чердаке, наш главный штаб, и стояли у окошка, из которого можно было видеть кладбище и море за ним, тогда... Тогда ты коснулся однажды кончиками пальцев моего лица и сказал, что любишь меня.

Теперь же мы, родственники, собрались опечаленные, как перед долгим расставанием в аэропорту, и на черном табло здешних взлетов и посадок мелом написано: два ноль-ноль, Аарон Грин, последнее прощание. Я смотрю на женщину, которая сидит на каменной скамье возле тебя, — фиолетовая соломенная шляпа затеняет ее глаза и превращает рот в виноградину, а

солнце выдавливает два светлых лезвия вдоль загорелых икр, — затем подхожу к вам, снимаю солнечные очки и тихо говорю: здравствуй. Ты подымаешься и произносишь поспешно: познакомьтесь — моя жена, моя кузина. И я различаю блеск кольца и белые зубы под тенью от шляпы, касаюсь мягкой руки со слишком длинными пальцами и повторяю: здравствуйте. Прислужники смерти усердны, как ангелы, в своих белых нарукавниках, лица их бородаты и потны, они уже волокут на носилках тело, съежившееся под темной пыльной тканью, голова почти касается толстого черного зада первого ангела, а ноги болтаются у расстегнутой ширинки второго. Ледяной ветер свищет у меня в груди — как тогда, — я требую ответа в твоих глазах, хоть малого воспоминания, но ты не видишь, не замечаешь, ты опускаешь глаза к ней, обхватываешь пальцами ее руку, поддерживаешь ее, и мои глаза, глаза сыщика, останавливаются, застывают на ее кругленьком животике, выпирающем из-под цветастого платья, и видят внутри его всех твоих детей, зарытых тобой позади дома, в роще, во время летних каникул между седьмым и восьмым классом, в первый день которых дедушка, как и каждый год, приехал забрать меня из дому на своей старенькой черной машине — с Мишей, его личным шофером, ради меня напялившим на голову белую фуражку и улыбающимся во весь свой рот с золотым зубом. Миша укладывал мой красный чемодан в багажник и распахивал передо мной заднюю дверцу, салютуя и подмигивая, и мы ехали забрать тебя с железнодорожной станции, что возле порта. По дороге я просовывала голову между Мишей и дедушкой и снова просила рассказать, как он играл перед югославским королем, а Миша вздыхал и говорил: это было давно, но я помню все, как будто это случилось вчера. Я был тогда мальчиком, лет девять мне было, может, десять, я лучше всех в нашей школе трубил в горн, и однажды мне принесли синий костюм с золотыми пуговицами, галстук, чулки до колена и фуражку, и велели надеть это все, и поставили меня возле знамени, и сказали: ты будешь трубить! И я трубил — звонко и замечательно красиво, — и принц Павел вошел, стяг взвился на вершину мачты, и мой горн сверкал на солнце, и золотые пуговицы тоже — кто бы поверил, дружочек, что маленький еврейский мальчик может играть вот так, трубить в горн в присутствии самого короля! Принц подошел ко мне, погладил по голове и спросил: как тебя зовут? Я сказал ему: Миша. И мама тоже стояла там и рыдала так, что едва не лишилась чувств, хорошо, что ее успели подхватить, а то бы она упала, и тогда отец сказал ей: теперь я рад, что он у нас есть. Потому что вначале он вообще меня не хотел. Они просто поехали в Австрию отдохнуть, а когда вернулись, мама объявила: я беременна. А

папа сказал ей: достаточно пятерых, сделай аборт. Но мама моя была ужасно упрямая женщина, прямо как мать Альберта Эйнштейна, его отец тоже ведь не хотел его, и к тому же он плохо учился в школе, преподаватели вызывали отца, и отец сказал ему: Альберт! Тебе уже семнадцать, ты не ребенок, что с тобой будет? Но в двадцать шесть он встречался с Лениным и с Черчиллем, показывал им теорию относительности, было много шуму, он стал ужасно знаменит во всем мире, поэтому, когда я слышу про аборты, я всегда говорю: кто знает, что может выйти из этого ребенка, зачем убивать человека? Тут Миша вздыхал и закуривал. Издали уже можно было различить большие часы над железнодорожным вокзалом, без пяти девять мы подъезжали. Мы с дедушкой выходили на перрон, а Миша оставался ждать в машине. Два носильщика в серых фуражках опирались на ржавые тележки, окидывали время от времени друг друга дремотными взглядами и курили вонючие папироски, которые доставали из желтых пачек с нарисованными на них черными конями. От ужасного волнения я начинала ужасно хотеть пипи и перескакивала с ноги на ногу. В девять ровно раздавался долгий радостный гудок паровоза, тянувшего за собой пять лязгающих и грохочущих вагонов. Носильщики пробуждались, затаптывали папироски громадными тяжелыми бутсами и принимались сновать вдоль перрона взад-вперед, выкрикивая: багаж! багаж! Я силилась отыскать твое лицо среди сотен уродливых расплюснутых физиономий, прилипших к вагонным стеклам. И тут с шипением раздвигались двери, ты спрыгивал, — всегда первым, в коротеньких брючках, какие были тогда на всех детях, зеленой рубашке с фирменными знаками на карманах, какие имелись лишь у немногих, и клетчатой кепке, как у сыщиков, которую тебе привезли из Англии и какой не было больше ни у одного мальчишки, — стоял возле черного чемодана твоего отца и поглядывал по сторонам прищуренными глазами — две зеленые щелки под светлыми растрепанными волосами, — и я снова чувствовала сладкую боль между горлом и животом, от которой у меня перехватывало дыхание и которая являлась всякий раз, как только я видела тебя или когда думала о тебе, и я кричала: вот Ули! Вот Ули! И бежала к тебе, и тогда ты тоже видел меня и улыбался, мы изо всех сил обнимались, дедушка подходил, трепал тебя по плечу и говорил: как ты вырос, Шауль! И уже не подымал, как раньше, твой чемодан, потому что тебе уже было тринадцать с половиной и ты был сильнее его. Ты клал свой черный чемодан в багажник рядом с моим красным. И Миша отвозил нас в дедушкину контору на улице Герцля, все стены которой были увешаны большими блестящими видами страны с уймой синего цвета: Кинерет и

Мертвое море, Рош ха-Никра и Эйлат, — и везде были санатории и дома отдыха, и правительство платило дедушке, чтобы он посылал туда уцелевших от Холокоста, и я всегда представляла себе, как они прибывают в поездах, в своих таких смешных пальто и шапках, из-под которых выглядывают желтые и печальные лица, как на тех картинках, которые нам показывали в классе в День Холокоста и героизма, и выстраиваются перед санаторием в длинную очередь со всеми своими потрепанными чемоданами, перевязанными веревками, и каждый в свой черед заходит и снимает пальто и шапку, и получает вместо них цветной купальник или плавки и панамку оранжевого цвета, и усаживается на солнышке в шезлонг, и они купаются в море и много-много едят, быстро выздоравливают и через неделю уже становятся толстые и загорелые, смеются и улыбаются, как люди на рекламных щитах, и тогда их отправляют домой, потому что прибыли новые поезда с новыми уцелевшими от Катастрофы, которые тоже дожидаются своей очереди. Но однажды в субботу мы поехали с дедушкой и бабушкой и еще с кем-то "с ревизией" в одно из таких мест, носившее название "Городок отдыха Рош ха-Никра", и при входе в него не оказалось никакой очереди и никаких уцелевших, и вообще невозможно было догадаться, кто здесь пережил Катастрофу, а кто — просто обычный человек, поскольку у всех были толстые отвислые животы и никто не выглядел особенно печальным, все плавали в бассейне и жевали бутерброды с повидлом, громко разговаривали и играли в бинго. И тогда мы придумали способ проверить, кто тут и вправду уцелевший, но у меня не хватило духу, я только издали смотрела, как ты проходишь по траве возле бассейна между шезлонгами и шепчешь каждому на ухо: Гитлер! Я видела, что большинство не откликались и вообще ничего не делали, и только некоторые открывали глаза и смотрели с удивлением, будто очнулись от сна и еще не успели припомнить, где они находятся, и тут же снова погружались в дрему, но один, огромный и толстый, с густыми черными волосами на груди и на спине, похожий на огромную гориллу, вскочил и погнался за тобой по газону, пыхтя, словно паровоз, и тяжело дыша. Глаза его тоже были огромными и красными, как фары паровоза, он поймал тебя и влепил тебе затрещину, потом сгреб в охапку и долго трепал, и отрывисто выкрикивал, будто лаял: поганец, паскудник, холера! Паскудник, холера! Ты вернулся ко мне с горящими ушами, но не собирался реветь, а сказал, что нисколечко не больно. С тех пор, всякий раз как упоминали Гитлера — в классе или по телевизору, — я представляла себе вместо настоящего Гитлера с его челочкой и усиками именно того гориллу из дома отдыха.

В полдень мы спускались, как всегда в первый день каникул, обедать в "Погребок Бальфура", и тощий длинный официант, похожий на профессора, – дедушка рассказывал нам, что много лет назад он и в самом деле был профессором в Берлине, – в очках в серебряной оправе, и с бородкой такого же цвета, и с черным галстуком-бабочкой, отвешивал нам учтивый поклон, поскольку дедушка был здесь постоянным посетителем, и отодвигал стулья, чтобы нам удобно было сесть, и скоренько раскладывал перед нами меню, и спрашивал: что для вас, герр Грин? Хотя знал, что дедушка заказывает всегда одно и то же: жаркое, картофельное пюре с квашеной капустой и гроздь лилового винограда на сладкое. Посетители за соседними столиками тоже нас знали, улыбались и приветливо махали нам беленькими салфетками, а я все время, пока ела, глядела на двух поварят, вырезанных из дерева и подвешенных на стенке, с высокими колпаками, длинными фартуками и черными закрученными кверху усами, похожими на две дополнительные улыбки над розовыми улыбающимися ртами, и они глядели на меня в ответ, опираясь на половинку бочки, выступающей из стены и наполненной – в этом я была уверена – очень-очень вкусной квашеной капустой, такой же, как у меня на тарелке. И ты однажды сказал мне, что тут, прямо под нами, есть подземелье, таинственный грот, из-за которого эта столовая и называется "Погребок Бальфура", и в этом подземелье стоит множество точно таких же бочек с квашеной капустой, которой может хватить на сколько угодно времени, если вдруг еще раз будет Катастрофа, и тогда вошел продавец газет, прихрамывая на одну ногу, в серой грязной и мокрой от пота майке, и стал кричать: "'Маарив', идиот! 'Маарив', идиот! Кто хочет 'Вечерку'?" – пока все пространство столовой не наполнилось его прокисльм дыханием. Дедушка совсем не обиделся на "идиота", подозвал его знаком, он подошел к нашему столику и протянул своей черной грязной ручищей газету: "Едиот ахронот" ("Последние новости"), и дедушка заплатил ему двадцать грошей, хотя возле самого входа в столовую был чистенький киоск, в котором продавали и газеты, и лимонад-шипучку, и мороженое. Потом мы ехали мимо Золотого купола[1] домой по шоссе, петлявшему по склону горы, с которой

1. Золотой купол Бахайского храма, вернее, мавзолея, в котором находятся гробницы основателя бахайской религии Б'аба и продолжателя его учения Абд-аль-Беха. Комплекс Бахайского центра с его великолепными садами является главной достопримечательностью Хайфы. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

можно было видеть весь залив, и дурачились на заднем сиденье, играли в "тяни-толкай", боролись, толкались и пихались, визжали и вопили, выкрикивали имена друг друга, и дедушка вдруг обернулся и сказал тихо и очень серьезно: не деритесь, дети, люди должны только любить и жалеть друг друга, потому что в конце мы все умрем. Мы не поняли, что он имеет в виду, но затихли, а Миша подмигнул нам в зеркальце и стал рассказывать про Луи Армстронга, самого великого саксофониста, с самыми огромными и глубокими легкими, и про то, что, когда у Бетти Грейбл, у которой были самые красивые во всем Голливуде ноги, обнаружили рак, Армстронг пришел в больницу со всем своим оркестром, чтобы сыграть под ее окном на газоне. Потом мы приехали домой, и бабушка открыла дверь — как всегда со своей строгой прической: косой, уложенной на затылке, — и клюнула каждого из нас в щеку, и сказала: теперь *шлаф штунде*![1] Это шлаф штунде всегда казалось мне названием какого-то торта, вроде ее шварцвальд кирш-торт, или захер-торт, или апфель-штрудель, которые она пекла из-за того, что они напоминали ей о ее прежнем доме где-то там, не в Израиле, и об уютных душистых кафе, когда снаружи холодно и идет снег, но доктор Шмидт ни в коем случае не разрешал ей их есть, поскольку у нее был сахар в крови, очень опасный для сердца. Поэтому она пекла только для нас, и угощала дядю Альфреда и дедушку, который всегда отказывался: спасибо, не стоит, — ни за что не соглашался попробовать даже самый маленький кусочек, хотя был совершенно здоров. Но иногда, когда дедушка выходил проводить дядю Альфреда до ворот, бабушка отрезала себе тонюсенький ломтик и съедала его, быстренько откусывая и низко сгибаясь над тарелочкой, и дедушка возвращался и молча стоял в дверях, нежно глядя на ее согнутую спину, и дожидался, чтобы она кончила есть, и лишь тогда заходил в гостиную и усаживался с газетой, делая вид, что ничего не заметил. Потом они уходили в свою комнату, а мы бежали в рощу позади дома и потуже натягивали веревку между двумя соснами, и пытались ходить по ней, балансируя, как тот клоун, которого однажды видели, когда были маленькие и дедушка взял нас в венгерский цирк (на площади Парижа), где были великолепные статные лошади, и желтоглазые тигры, и дрессированные слоны, и красавица-жонглерша с длинными светлыми волосами и личиком ангела, которая тоже танцевала на канате с оранжевым зонтиком в руке, и мы ре-

1. Тихий час, послеобеденный отдых (*идиш*).

шили, что обязательно сбежим из дому и присоединимся к цирковой труппе — как только выучимся чему-нибудь такому, но пока что освоили только шаг хамелеона, который, как ты мне объяснил, тоже важно знать на случай, если потребуется проходить над водой. Потом мы вскарабкивались наверх, в наш разведывательный штаб под крышей, который иногда оказывался также убежищем Анны Франк, и скрючивались, дрожа от страха, под столом, и жевали картофельные очистки, и называли друг друга Анна и Питер, и слышали снаружи голоса немецких солдат, и ныряли в спасительное лоно дивана, обитого зеленым плюшем, — бабушка привезла его с собой, когда приплыла на корабле откуда-то оттуда, но со временем один из деревянных подлокотников отвалился, для гостиной купили новый диван, а этот перетащили сюда, потому что жалко ведь выкидывать такую хорошую вещь, — и ты вдруг сказал однажды задумчивым голосом: интересно, что чувствуют, когда умрут? А я сказала: когда умрут, ничего не чувствуют. И мы попробовали крепко-крепко зажмурить глаза, и заткнуть уши, и не дышать, чтобы быть как будто мертвые, но у нас ничего не вышло, потому что даже сквозь закрытые веки мы видели свет и разные силуэты, и ты сказал: может, до тех пор пока мы состаримся, изобретут лекарство против смерти. А я сказала: вдруг ты станешь ученым и сам придумаешь такое лекарство, и сделаешься знаменитым, как Альберт Эйнштейн. Потом мы стали играть в эту игру: писать пальцем на спине друг у дружки и отгадывать слова. Сначала мы писали названия цветов: нарцисс, тюльпан, анемон, — и животных: пантера, гиппопотам, — и имена людей, которых мы знали, но потом ты сказал, что тебе надоело и что трудно угадывать, потому что мешают рубашки, и тогда я скинула свою и легла на живот, лицом в запах пыли, духов и табака, которые успели впитаться в обивку еще там, внизу, и почувствовала, как ты потихоньку выводишь у меня на спине слова, которые мы никогда не смели произнести вслух: зэ, а, дэ, потом: гэ, эр, у, дэ, и, а потом: пэ, эр, о, эс, тэ, и, тэ, у, тэ, ка, а. Я отгадывала, что́ написано, и шептала глухим голосом, и чувствовала, уткнувшись в подушки дивана, как пылает мое лицо и как соски, которые только недавно начали у меня набухать, затвердевают и вдавливаются в плюшевую обивку.

Каждый день после обеда дедушка и бабушка выходили из своей спальни с порозовевшими щеками, помолодевшие на двадцать лет, и в пять ровно являлся дядя Альфред, про которого мы так никогда толком и не поняли, с какой же стороны он доводится нам родственником, не исключено, что он был

бабушкиным троюродным братом, но рот ее вытягивался в тоненькую ниточку всякий раз, как только поминали его имя, а дедушка сердито бурчал: бездельник! Мы не знали, за что они его не любят: то ли за то, что он такой бедный, то ли за то, что пытался однажды стать оперным певцом в Париже, то ли по какой-то другой причине, о которой мы не могли даже догадываться, — и, главное, почему, несмотря на все это, все-таки радушно принимают его, и бабушка угощает его чаем со своими тортами, и он пьет чай и ест торты, и причмокивает толстыми красными губами, и вновь и вновь рассказывает — и глаза у него при этом влажнеют от тоски, — как он был студентом консерватории в Париже, и жил в крошечной каморке в мансарде, без душа и без туалета, на площади Республики, и за целый день довольствовался половинкой багета, намазанного маслом, но каждый вечер — ровно в семь часов — надевал свой единственный выходной костюм и галстук-бабочку, душил щеки одеколоном и отправлялся в оперу. Там он стоял под украшенной цветами и ярко освещенной аркадой и ловил отдельные звуки, выпархивавшие в открытые окна и ласкавшие статуи муз и карнизы с ангелами. И в антракте каким-то образом ухитрялся смешаться с публикой и проникнуть внутрь, поскольку билетов уже не спрашивали, отыскивал свободное местечко на одном из верхних ярусов и с разрывающимся от восторга, рыдающим и влажным, как скомканный носовой платок, раненым сердцем слушал последние акты самых известных в мире опер. Тут дядя Альфред обычно вставал и начинал раскачиваться, как ванька-встанька, из стороны в сторону, обхватывал своими толстыми пальцами спинку кресла и разражался арией из "Риголетто", или из "Травиаты", или из "Женитьбы Фигаро" — голос его был густым, душистым и сладким, как тот чай, что он только что пил, и лишь перед самым концом начинал скрежетать и скрипеть, будто им водят по стеклу, — тонкие руки бабушки спешили хлопнуть несколько раз друг об дружку, а дедушка опускал взгляд на четырехугольник ковра и смущенно бормотал: браво, браво!.. Мы не знали, по какой причине дядю Альфреда выгнали из консерватории и почему он не сделался великим певцом в парижской опере, а бабушка ни за что не соглашалась посвятить нас в эту тайну и только еще сильнее сжимала тонкие губы, как будто стоило ей на секундочку разжать рот, как оттуда выскочит громадная страшная лягушка. Дядя Альфред садился и вздыхал, и вытирал свой яркий, как клубника, нос мятым платком, который вытаскивал из левого кармана пиджака, затем протягивал нам руки, приглашая нас оседлать с двух сторон подлокотники

кресла, и придерживал нас, обхватив за бедра, и принимался рассказывать про кафе Монпарнаса и Монмартра, служившие местом встреч писателей, артистов и студентов, и изо рта у него вылетали странные, красиво звучавшие имена, каких я прежде не слышала нигде: Сартр и Симона де-Бовуар, Кокто и Сати, Пикассо, — и тут он гладил тебя по волосам и говорил: ты тоже будешь когда-нибудь художником. И вел свою ладонь дальше, по твоей шее и спине, прибавляя: или писателем. А затем перемещал пухлую белую руку на твою ногу, торчавшую из коротеньких штанишек, уточняя: или музыкантом. И продолжал барабанить пальцами по твоему голому гладкому колену, будто играл на рояле, а мне никогда не говорил ни слова. Он не мог знать, что однажды в душный и трепещущий полдень самой середины лета мы будем стоять здесь, на старом кладбище у подножья Кармеля, оборотившись смущенными спинами к его памятнику, на котором позолоченными буквами — по его желанию — будут выбиты слова "Песни о земле" Густава Малера, написанной на стихи средневековых китайских поэтов:

Накануне страданий облетают сады сердец.
Увядает радость, и умирает песнь.
И во мраке жизни
проступает смертельный мрак.
Вот и пришел срок.
Поднимите, друзья, бокалы.

А лица наши будут обращены к дедушке, закутанному в пыльную простыню и спешащему проскользнуть к заслуженному им вечному *шлаф штунде* возле бабушки, умершей зимой, много-много лет назад (а нас даже не взяли на похороны, чтобы мы не простудились и не пропустили занятий), и к кантору, закрытые глаза которого будут обращены к небу: Господь, исполненный милосердия, восседающий в высотах! — и к твоему отцу, совсем седому и скорбно бормочущему: да возвысится, да освятится Имя Твое великое! — и к моей матери, в блузке с разорванным воротом[1] и спрятанным в ладонях лицом, и к старикам, отвечающим: аминь. Все они кажутся такими одинаковыми под масками морщин, кто-то из них машет мне салфеткой и улыбается из-за соседнего столика в "Погребке Бальфура", которого давно не существует,

1. По еврейскому обычаю близкие родственники покойного в знак траура разрывают на себе ворот одежды.

кто-то дремлет в шезлонгах дома отдыха, закрывшегося много сезонов назад. А вот и Миша, совсем не постаревший, но расставшийся со своей белой фуражкой и радостной улыбкой во весь рот, открывавшей золотой зуб. Теперь он в черной кипе и скорбно, шумно сморкается. Взгляд мой останавливается на сморщенном, запеченном личике крохотной согбенной старушки, явно как-то особо отчеканенном в моей памяти, я уверена, что с ней связано нечто чрезвычайно важное в моем детстве, но не в силах вспомнить, ни что, ни откуда она, и я поворачиваюсь к тебе и ищу подсказки в твоем взгляде, скользящем мимо, в твоем отрешенном лице, в серебристых нитях волос, вызывающих во мне боль, столь же пронзительную, как свисток поезда, что мчится сейчас вдоль берега по дороге на новый вокзал Бат-Галим; обрывки воспоминаний тянутся, тянутся из меня, будто связанные друг с другом хвостиками — как те цветные платочки, которые фокусник в венгерском цирке вытаскивал из своего кармана.

Через неделю после начала тех каникул ты уже не хотел убегать с цирком и упражняться в хождении по натянутому между двумя соснами канату, не хотел играть ни в Анну Франк, ни в "Хасамбу"[1], ни в "Эмиля и сыщиков", вообще не хотел играть со мной ни во что, только сидел под большой сосной и весь день читал маленькие книжицы в мятых переплетах, и выглядел озадаченным и хмурым, полным тайных тревожных мыслей под своим клетчатым кепи. Вначале я пыталась не мешать тебе, хотя и была не на шутку обижена, но на третий день мне это надоело. Я дождалась послеобеденного часа и, когда дедушка и бабушка отправились вкусить своего *шлаф штунде*, подкралась к тебе сзади, выхватила у тебя из рук книжицу, называвшуюся "Любовные откровения командира" (на обложке был нарисован солдат в коричневой форме и высоких черных сапогах, направляющий огромный страшный пистолет на распластанную у его ног на снегу блондинку в одних лишь трусиках и лифчике). Я спрятала книгу и сказала, что не верну до тех пор, пока ты не объяснишь мне, что случилось. Ты посмотрел на меня странным взглядом сквозь свои длинные светлые ресницы и сказал: поклянись черной могилой Гитлера, что никому-никому никогда не расскажешь. Я поклялась торжественным шепотом и тут же представила себе глубокую черную яму, в которой стоит огромный и волосатый Гитлер из дома отдыха. И тогда ты рассказал мне, что в

1. "Хасамба" — название популярной серии израильских приключенческих рассказов для детей.

последнее время, в общем, с тех пор как ты начал читать эти книги, он надувается у тебя в трусах и становится таким невыносимо тяжелым, что тебе приходится мять и тереть его до тех пор, пока из него не брызнет белая жидкость, и это ужасно приятно, это самое приятное, что тебе приходилось испытывать в жизни, это как взрыв сверхновой звезды, но потом это начинает мучить тебя, потому что в классе вам объяснили, что женщины беременеют от этого, а ведь когда ты моешь руки, это все течет по трубам вместе с водой и вливается в море, а в море купается столько женщин, и это может попасть им под купальники, и вообще не все ведь стекает в раковину, ведь из миллионов маленьких семян наверняка хотя бы двадцать или тридцать остаются у тебя на руках, и потом, когда ты едешь в автобусе на баскетбол или к своим скаутам, это пристает к деньгам, которые ты отдаешь водителю, а через его руки — к тем билетам, которые он отрывает для девочек и женщин всех возрастов, и потом они приезжают домой и идут в уборную, и берутся там за туалетную бумагу, и вот это уже у них внутри, а они даже ни о чем не подозревают, и теперь по улицам ходят тысячи женщин с твоими младенцами в животах, и не только у нас в стране, но и в других местах, поскольку семя наверняка может переноситься морскими течениями и достичь даже берегов Европы. Искорка тайной гордости сверкнула на миг в твоих глазах, но тут же потухла. Некоторое время я сидела молча и обдумывала услышанное, грызя сухие сосновые иглы. Это и вправду было нешуточное дело. Ты тем временем подбрасывал сосновые шишки, пытаясь попасть в ветку напротив: трах, трах, трах! И вдруг меня осенило! Я вскочила и побежала на кухню, выдвинула ящик возле раковины, в котором бабушка хранила всякие необходимые в хозяйстве вещи: спички, пластыри, круглые резиночки, — вытащила несколько полиэтиленовых пакетиков для завтраков (бабушка упаковывала в них бутерброды, когда мы ездили по субботам инспектировать дома отдыха), бегом вернулась и отдала их тебе: делай так, чтобы все оставалось в них, и зарывай их в землю! С того дня с твоего лица исчезли и тревога, и гордость. Мы снова были товарищами и играли в прежние игры, только иногда ты вдруг замирал и начинал смотреть на меня долгим странным взглядом, а я ночью прокрадывалась в кухню и считала пакетики, чтобы узнать, скольких не хватает, а потом выходила босая в душистую темноту рощи и среди мрака вершин, стрекотания цикад и таинственных шорохов и завываний отыскивала места, где грудились сухие сосновые иглы и земля была рыхлой, разрывала ее пылающими от любопытства и ужаса руками, вытаскивала пакетики из их мо-

гилок и подолгу разглядывала при свете луны странную жидкость. Однажды ты присоединил к нашим зарытым в роще сокровищам маленькие помятые книжицы, сказав: больше я в этом барахле не нуждаюсь! Я сам могу придумать рассказы поинтересней. И я сказала: ты, наверно, будешь писателем. И тут же вспомнила, что дядя Альфред уже сказал это раньше меня. Мы разодрали глупые книжки на части, на отдельные листы, и уселись вырезать из них слова, особенно самые-самые нехорошие, и составлять анонимные письма с ужасными угрозами в адрес банды разбойников, обосновавшейся в подвале супермаркета, а также госпожи Беллы Блюм с почты, не забывая при этом грызть шоколад, который ты еще раньше утащил у бабушки из ее тайных запасов, — она прятала его от нас, чтобы печь свои торты, и у него был привкус миндального сиропа. И вдруг ты коснулся моего лица кончиками пальцев, как будто хотел стереть с него шоколадные усы, зашел мне за спину и стал писать на ней медленно, слово за словом: я о-ч-е-н-ь о-ч-е-н-ь л-ю-б-л-ю т-е-б-я, — а потом с силой обнял меня. Ты лег на диван, а я легла на тебя, лицом в нежную тень, что между плечом и шеей, в запах крахмала от твоей зеленой рубашки, и твои влажные пальцы стали гладить мой затылок, трепетно и нежно перебирая мои волосы. Мы лежали неподвижно, слитые воедино, почти не дыша, и только сердца наши куда-то рвались, как кони на бешеных скачках, я осторожно гладила твое лицо, будто лепила его заново, гладила твои светлые кудри, и гладкий лоб, и веки, под которыми жил целый мир, и маленький нос, по которому палец, как по горке, скользил ко рту, к приоткрытым губам, откуда на мои ледяные пальцы дул жаркий воздух, ты оттянул на мне рубашку и запустил под нее свою холодную руку, и она прошлась снизу вверх, а потом сверху вниз, до этого приятного места, где, если бы мы были кошками, у нас бы рос хвост. Я притиснула свой рот к твоему и почувствовала вкус украденного шоколада, языки наши встретились, обхватили друг друга и стали толкать, давить — поспешно, с безмолвной силой, как два перепуганных бойца, я распахнула рубашку на твоей гладкой груди и на своей, с набухшими сосками — чтобы прижать их, затвердевших от холода, к твоей теплой коже, к твоему дышащему животу, и почувствовала такую сладость между ногами, как будто мне намазали там медом, избыток которого стекает в трусики, и это заставило меня раскинуть ноги и плыть, плыть — вперед-назад, вперед-назад по твоей ноге, по твоему бедру, а ты обнимал меня все сильней и облизывал мои губы, как будто это были леденцы, и взял мою руку и положил ее туда, на упругий выступ в твоих коротеньких брючках, и лицо твое стало серь-

езным и хрупким, и я увидела на нем такое, чего никто никогда до меня не видел, и дышала часто-часто, как маленький зверек, без всяких мыслей и воспоминаний, мой тающий живот прилип к твоему, сладости в трусиках становилось все больше, больше — до боли, которую невозможно стало терпеть, и вдруг внутри меня поднялись волны, спазмы и обмирания — сильные и острые, дольше и острее всего было первое, а после еще и еще, короче и быстрее — как трепещущие бабочки, и я едва удержалась, чтобы не закричать и не разбудить их там, внизу... Мне хотелось, чтобы это никогда не кончалось, но это все-таки кончилось. Я упала на тебя бездыханная, с сердцем, бьющимся как после стометровки, и увидела, что ты тоже лежишь почти без сознания, и стараешься вдохнуть в себя воздух, и лицо твое пылает. Я сползла с тебя и легла рядом, и увидела влажное пятно, расплывающееся по твоим брючкам, и ноздри мои уловили запах, подымавшийся от нас обоих и смешивавшийся в один, ни на что не похожий запах.

Потом ты глянул на меня своими зелеными искристыми глазами, улыбнулся и поцеловал в щеку, решительно откинул прилипшие ко лбу волосы, сел, одним движением скинул с себя рубашку и сказал: сними тоже! Я сняла, ты положил голову мне на живот, и так мы немного отдохнули, рука моя ворошила твои влажные волосы, а длинные солнечные пальцы просовывались сквозь опущенные жалюзи и разбрасывали веера света по стенам. Потом я погладила тебя по спине и сказала, что кожа у тебя нежная, как бархат, а ты сказал, что у меня она гладкая, как вода, и поцеловал меня в живот, и принялся рисовать на нем губами странные рисунки, и сказал: когда ты лежишь на спине, грудь у тебя плоская, как моя. И стал облизывать языком мои соски — язык был немного шершавый, как у кота, и ты облизывал и облизывал их, пока они не сделались твердыми, как косточки вишни, и я снова почувствовала, что между ног у меня делается сладко и скользко, и хотела, чтобы и дальше было, как раньше, но тут снизу раздался бабушкин голос, резкий и подозрительный, как перископ подводной лодки: дети, где вы? Пять часов, идите пить чай с тортом! Мы скоренько надели свои рубашки и спустились, ты пошел сменить брюки, а я глянула в зеркало в позолоченной оправе в прихожей — глаза мои сияли из его глубин, как две небесные чаши, и весь мир, мебель в гостиной, дедушка и бабушка и дядя Альфред показались такими далекими и ненастоящими, но в то же время такими резкими и ясными, как на театральном представлении.

В ту ночь я не могла уснуть от страстной тоски по тебе: я видела, как ты спишь себе потихоньку, и тело твое в комнате в конце коридора мечтает обо мне. Я хотела встать и пойти в темноте к тебе, обнять тебя и услышать твое дыхание, но из-за того что бабушка всегда укладывала тебя в бывшей комнате твоего отца, а меня — в комнате моей мамы, смежной с их спальней, не решилась и стала мечтать о завтрашнем дне, о великой церемонии, которую мы после ужина продумали до мельчайших деталей — когда дядя Альфред уже ушел, и дедушка с бабушкой уселись в гостиной смотреть телевизор: события минувшей недели, — а мы шептались в кухне и краем уха слышали слова Менахема Бегина, нового главы правительства, произносившего речь об Освенциме и шести миллионах и вдруг объявившего, что он готов встретиться в Иерусалиме с президентом Садатом. Дедушка сказал: наконец-то от этого типа произошло хоть что-то дельное. А бабушка позвала нас и сказала: дети, вам тоже стоит посмотреть, это важные новости. Но мы-то знали, что завтрашняя церемония куда важнее всех этих ее новостей, и в особенности то, что случится потом, после церемонии, и теперь, одна в своей комнате, я никак не могла остановить фильм, повторявшийся вновь и вновь на темном экране бесконечной ночи, — фильм, в котором героями были мы. И вдруг я услышала, как бабушка там, в их комнате, зовет шепотом: Арон! Арон! И как дедушка спросонья говорит: брох! Такие дела... Да, Мина. И бабушка жалуется, что не может уснуть, и рассказывает ему тихонько — но я все равно слышу каждое слово, — что утром, когда она делала в супермаркете покупки для субботы и бродила с тележкой, она вдруг почувствовала, что ее мать стоит с ней рядом, в черной меховой шубке, той самой, которая была на ней много-много лет назад, в тот день, когда они расстались навсегда на железнодорожной станции, и даже лицо у нее было такое же бледное и взволнованное, как тогда, и она сказала что-то важное, но бабушка не расслышала, потому что все время думала: ведь теперь лето, зачем же мама надела меховую шубу? И прежде чем она успела что-нибудь сообразить, матери уже не было с ней рядом. "Арон, я не нахожу себе места. С этой минуты я потеряла покой! — с трудом продолжала бабушка шепотом. — Я уверена, это означает что-то чрезвычайно скверное. По ее лицу я поняла, что должно произойти что-то ужасное!" Дедушка ничего не сказал, только запел тихонько — какую-то грустную мелодию без слов, и повторял ее снова и снова, пока она не заполнила собой все и всю меня, и я не задремала...

Назавтра была суббота, дедушка и бабушка разбудили нас очень рано, чтобы ехать всем вместе на ревизию в дом отдыха в Тве-

рию, и слегка расстроились и рассердились, когда мы стали бормотать из-под одеял, что мы устали, не хотим, хотим остаться дома. Я вспомнила разговор, который слышала ночью за стенкой, и про себя удивилась: как это может быть, чтобы в нашем супермаркете поселились духи умерших? Почему дедушка не объяснил ей, что это все только ее воображение и ничего плохого не случится, и вдруг подумала: а может, его вовсе не было, этого разговора? Может, мне приснилось? И поэтому решила никому не рассказывать, даже тебе. В конце концов бабушка уступила и оставила нам вместо обеда бутерброды с яйцом вкрутую, и для себя тоже приготовила кое-что на дорогу, и сердце у меня начало колотиться сильно-сильно, когда я услышала, как выдвигается ящик возле раковины и бабушка бормочет: странно, я же помню — была целая пачка! Но искать было некогда, потому что Миша уже гудел снаружи, пришлось быстренько завернуть бутерброды в пергамент, она поцеловала нас в щечку и сказала: мы вернемся в половине восьмого, будьте хорошими детьми. Они уехали. Когда рокот мотора стих за поворотом, мы выпрыгнули из своих постелей и столкнулись в коридоре. Мы начали делать все в точности так, как придумали вчера вечером. Для начала каждый залез в ванну и мылся долго и основательно, не забывая про голову и уши. Потом мы завернулись в простыни, как в греческие тоги, — оставив одно плечо открытым. Я надушилась всеми духами, какие только имелись на бабушкином туалетном столике, накрасила красной помадой губы и щеки и положила синие тени на веки. Потом мы вытащили из оранжевой вазы розы, которые бабушка купила к субботе, и сплели себе из них два венка. Потом зашли на кухню, но ничего не ели — мы не смогли бы проглотить ни кусочка, — а только вытащили бабушкины поминальные свечи — из другого тайника, что возле шоколадного, — этих свечей бабушка всегда держала великое множество, потому что ей часто приходилось поминать кого-то из своих родственников, оставшихся Там. Из коробки со швейными принадлежностями, обтянутой цветной тканью, взяли ножницы, а из шкафа в бабушкиной спальне, из ящика с бельем, — большой белый платок. Из буфета достали бокал для вина, а из книжного шкафа Библию небольшого формата — твой отец получил ее когда-то в подарок от школы в день своей бар-мицвы[1]. Со всеми этими предмета-

1. Бар-мицва — "сын заповеди" (*арам.*). Согласно закону иудаизма, мальчик, достигший совершеннолетия (13 лет и один день), обязан исполнять все религиозные заповеди, а также данные им обязательства. В просторечии бар-мицвой часто называют церемонию вступления в религиозное совершеннолетие.

ми мы поднялись босиком в нашу комнатку на чердаке. Опустили жалюзи – не надо ни моря, ни кладбища, пусть будет полная темнота. Зажгли поминальные свечи и расставили их по всем углам, так что комната наполнилась колеблющимися тенями страшных духов, пляшущих по потолку и стенам, а одну свечу поставили на стол и возле нее положили Библию, и ты спросил: ты готова? И я ответила: да. Сердце мое билось как сумасшедшее, мы стояли друг против друга, положив одну руку на переплет Библии, а другую подняв и соединив большой палец с мизинцем, как при клятве скаутов. Я смотрела тебе в глаза, в которых трепетало пламя свечей, и повторяла за тобой, медленно и торжественно:

Я клянусь Богом и черной могилой Гитлера...
Я клянусь Богом и черной могилой Гитлера...
Что никогда не возьму в жены другой женщины...
Что никогда не возьму в мужья другого мужчины...
Только тебя буду любить до конца дней своих...
Только тебя буду любить до конца дней своих...

Потом мы обнялись и едва не задохнулись, потому что знали, что клятва эта сильна как смерть, и у нас не было сил дышать. А чтобы она стала еще сильней, мы вырезали из Библии нужные слова и при свете свечи наклеили их на лист бумаги. Два раза "Бог" нашли уже в главе "Сотворение мира", "жену" – в рассказе об Адаме и Еве, "могилу" – в повествовании о захоронении Сарры Исааком. Потом отыскали "мужа" и "клятву", и даже "конец дней", "я" и "на", и "за", и "другого", и "любить". "Никогда" составили из "когда" и "ни", "черной" не нашли, только "черна" – в Песне песней, – вырезали ее и прибавили две буквы из другого места. "Гитлер" и "возьму" не сумели найти нигде, к тому же все это заняло уйму времени, поэтому мы быстренько склеили их из отдельных буковок. Когда все наконец было готово, ты обернул бокал белым платком и поставил его на пол, и с силой ударил по нему босой ногой[1]. Бокал треснул, раскололся, пятно крови начало расползаться по белой ткани и по полу. Ты окунул палец в эту кровь и расписался под клятвой. И сказал: теперь ты. Я глубоко вздохнула, подняла один из осколков и провела им по большому пальцу ноги – снизу, чтобы никто не увидел пореза, – намочила дрожащий палец в выступившей крови и вывела им свою подпись рядом с твоей. Потом мы проставили

1. Согласно традиции, на еврейской свадьбе жених – в память о разрушении Иерусалимского храма – разбивает правой ногой (разумеется, не босой) бокал из-под вина.

дату — дважды: согласно международному календарю и еврейскому — и точный адрес: бульвар Президента, гора Кармель, Хайфа, Израиль, Ближний Восток, Азиатский материк, Земля, Солнечная система, Галактика, Мироздание. Теперь нужно было разорвать клятву пополам, чтобы каждый хранил у себя половинку с подписью другого. Я напомнила об этом — так, собственно, мы вчера и договорились. "Нет, — сказал ты вдруг, — мы как следует завернем ее и закопаем в роще под большой сосной — чтобы всегда можно было найти". Я подумала, что это не годится — зачем-то вдруг менять наш план, — но ничего не возразила. Мы завернули листок с клятвой в серебряную бумагу из-под вчерашнего шоколада и положили в пустую спичечную коробку, которую тоже обернули фольгой и засунули в полиэтиленовый пакетик, оставшийся у тебя от тех, из ящика возле раковины. Потом мы спустились вниз, вырыли руками глубокую яму у самого ствола и опустили в нее наш пакет, самый ценный и самый важный пакет в мире, но, когда мы засыпали его землей, и утоптали землю вокруг ногами, и еще натрусили сверху горку сосновых игл, мне вдруг сделалось очень грустно — сама не знаю отчего.

Когда мы вернулись в комнату, поминальные свечи все еще горели и духи продолжали бесноваться на стенах. Я знала, что́ должно случиться, и нисколько не боялась. Я думала об Анне Франк, о том, что немцы схватили ее прежде, чем она успела по-настоящему любить своего Питера, и о том, что она была в точности моей ровесницей, и сказала себе: я успею! Мы сняли венки и греческие тоги, расстелили одну простыню на диване и легли на нее, а другой накрылись. Я гладила твое тело — теплое и тяжко дышащее, и бродила ртом между холмами света и нежных теней, по неизведанным подпростынным тропам, пахнувшим мылом и по́том, и вдруг ты встал надо мной на четвереньки, посмотрел на меня желтыми сверкающими глазами, хищно улыбнулся, и я захотела, чтобы это уже случилось скорее, и прошептала: иди! Ты спросил: больно? Я сказала: нет. И слышала твое сердце, отбивающее по моей груди в одном и том же ритме: я-люблю-тебя-я-люблю-тебя-я-люблю-тебя, — и преисполнилась гордости.

И тогда прогрохотали вдруг тяжелые шаги по лестнице, и я ужаснулась: немцы! Меня затрясло. Мы обнялись и прижались к стене, дверь открылась, и на пороге, в нимбе послеполуденного света, вырос дядя Альфред. Как видно, бабушка с дедушкой забыли предупредить его о своем отъезде и сказать, чтобы не приходил сегодня к чаю. Он одним взглядом

окинул наши потные тела, пропитанный кровью платок, разбросанные по всему полу розы и поминальные свечи, растерянно шмыгнул своим клубничным носом, взгляд его остановился на какой-то точке на твоем животе, может, на пупке, когда он промямлил: что это, дети?.. Это нельзя... В вашем возрасте... Не надо... Не дай бог, бабушка узнает... Мы прикрылись простыней и молча, с опаской, как две попавшие в западню кошки, глядели на него. Он опустил глаза на кончики своих блестящих башмаков и продолжал: я, конечно, обязан рассказать ей... Кто поверит... Дети... Кузены... Двоюродные брат и сестра... Еще, чего доброго, не приведи бог, получится ребеночек с шестью пальцами... С двумя головами... С хвостиком, как у поросенка... Так опасно... Кто бы подумал! И все вертел головой справа налево, слева направо — от носа одного башмака к носу другого, словно проверял, который из них лучше блестит. Потом снова поглядел на тебя и сказал, уже почти не запинаясь и не заикаясь, что готов ничего никому не рассказывать при условии, что вы с ним встретитесь тут завтра после обеда, чтобы он объяснил тебе, сколь ужасно то, что мы сделали. Почему только с ним? — возмутилась я, пытаясь защитить тебя, и дядя Альфред сказал, что он считает тебя ответственным за все случившееся, и уж от кого-кого, но от тебя, с твоим умом и твоими талантами, он не ожидал ничего подобного. Я согласен, прошептал ты, и он вышел. В тот же миг, едва за ним закрылась дверь, мы спрыгнули с дивана, снова подошли к столу и, положив одну руку на книгу Библии, а другую подняв кверху, соединили большой палец с мизинцем и продолжили свою клятву, на ходу придумывая слова:

И даже если у нас получится ребеночек
С шестью пальцами на каждой руке,
Или двумя головами,
Или маленьким хвостиком, как у поросенка,
Мы все равно станем любить его так,
Как будто он самый обычный ребенок
С пятью пальцами и одной головой
И вообще без хвоста.

Потом мы успели одеться и все прибрать, прежде чем бабушка с дедушкой вернулись домой. Только темно-красное пятно, расцветшее на зеленой обивке дивана, оставили на память. Засыпая, я слышала, как бабушка в гостиной бормочет в оранжевую вазу на буфете: не понимаю, я ведь купила цветы к субботе!.. А дедушка ласково утешает ее: ну, подумаешь, что за беда — у меня тоже память стала не та... Забыл вот позвонить Альфреду, чтобы не являлся сегодня к чаю.

Среди ночи я вдруг почувствовала ужасную тошноту. Я бросилась в уборную, засунула два пальца в горло, и из меня стал высыпаться песок, масса мокрого песка, наполнявшего весь рот и застревавшего между зубов, я задыхалась, отплевывалась, а меня все рвало и рвало, и вдруг вместе с песком из меня выскочило что-то еще — я глянула вниз, в унитаз, и увидела там крошечного черненького щенка, плавающего на боку, лапки растопырены, зубы оскалены в странной, жуткой ухмылке, мертвый глаз открыт и глядит на меня. Я с отвращением захлопнула крышку унитаза. Снаружи уже светало.

Я кружила между деревьев в роще, засунув руки в карманы и подбивая ногами шишки. Вот уже полчаса как вы там, наверху, закрылись в нашей комнатке. Что он может говорить тебе так долго? Я не в силах была больше ждать. Поднялась тихо-тихо, чуть-чуть приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Вы сидели на диване, и дядя Альфред разъяснял тебе что-то, сопровождая свои слова широкими театральными жестами, — что-то такое, чего я не могла слышать. И время от времени опускал свою белую ватную руку на твое колено. Затем обвил ее вокруг твоих плеч и приблизил свое лицо, даже более розовое, чем обычно, почти малиновое, к твоему, почерневшему от бледности. Вдруг он поднял глаза и заметил меня. Тень досады промелькнула в его глазах. Я убежала вниз. Я лежала под большой сосной, как раз на том месте, где вчера мы зарыли нашу клятву, и смотрела на зеленые блестящие иглы вверху, пронзающие облака, похожие сегодня на громадную белую руку. Я ждала. Время шло, и шло, и шло... Вы не появлялись. Я вспомнила свой ночной сон, и вся покрылась гусиной кожей, как от сильного холода. Наконец-то отворилась дверь и вышел дядя Альфред, с силой вдыхая воздух и слегка покачиваясь на ступеньках. Постоял, застегнул пиджак и позвонил в парадную дверь. Бабушка открыла, сказала: здравствуй, Альфред. Он вошел в дом. Потом ты выскочил бегом, рухнул на землю возле меня, спрятал лицо на моем животе и схоронил в нем горькие рыдания. Тебя колотило как в лихорадке. Я обняла тебя крепко-крепко. Прошептала: что случилось, что он тебе сказал? Его нужно убить! — рыдал ты. Твои горячие слезы намочили мою рубашку. *Я никогда не видела*, чтобы ты так плакал. Но что случилось, что он сделал? — спросила я снова. Нужно убить его, нужно убить его! — твердил ты сквозь рыдания и колотил ногами по земле. Но что он тебе сделал? Он побил тебя? — взмолилась я наконец. Ты поднял ко мне пылающее мокрое лицо, по которому безудержно текло и из глаз, и из носа — ты совершенно не обра-

щал на это внимания, — и произнес тихо: я сегодня убью его. Я посмотрела в твои распухшие покрасневшие глаза, в глубине которых разверзлись две черные бездонные пропасти, и поняла: дядя Альфред сегодня умрет.

За несколько минут был изготовлен страшный яд: растертые в пыль — с помощью двух камней — колоски, два высохших муравья, расщипанная на мелкие кусочки сосновая шишка и щенячьи желтые какашки. Все это мы смешали с сосновой смолой, чтобы отдельные части состава получше склеились. Моя роль заключалась в следующем: я предложу бабушке, что сама приготовлю сегодня чай, и подложу убийственную смесь в чашку дяди Альфреда. Я выбрала для него большую черную чашку, во-первых, для того чтобы не перепутать ее с другими, а во-вторых, потому что в черной чашке он ничего не заметит. Добавила пять ложек сахару и как следует размешала, стараясь при этом прислушиваться к разговору в гостиной, чтобы убедиться, что он не ябедничает на нас, несмотря на свое обещание. Они беседовали вполголоса, так что только обрывки фраз долетали до моих ушей: доктор Шмидт, рентгеновский снимок, легкие, диагноз, снова доктор Шмидт. Я успокоилась: они говорят о болезнях, — поставила на чайный столик на колесиках бабушкин шварцвальд-торт — особенный, двухслойный, испеченный сегодня непонятно в честь чего: может, у него день рождения? В ту минуту как я вошла, толкая перед собой столик, они враз смолкли. Дядя Альфред сказал: спасибо, и грустная улыбка затуманила его лицо. Ты тоже вошел, глаза твои уже были сухи, мы вместе встали за его креслом, в диком напряжении дожидаясь, пока он выпьет этот "чай" и тут же на месте умрет. Прежде всего он с огромным аппетитом уничтожил три куска торта. Потом шумно отхлебнул из чашки, почмокал губами и поднялся с кресла. Направил на тебя влажный взгляд и объявил: сейчас я исполню вступление к "Песне о земле" Малера. Дважды прочистил горло, сложил руки на животе и запел на немецком языке, которого мы не понимали. Голос его лился из груди свободно и торжественно, выводил невозможные трели, отважно подымался до опасных высот и качался, как эквилибрист на канате под куполом цирка, внезапно падал, и погружался в мрачные пропасти, и там боролся с судьбой, умолял, молил о пощаде, о помощи, взвивался глухим, как эхо, криком, завывал, грозил и унижался, лицо его казалось лицом погибающего, утопающего, слезы катились из глаз — из бабушкиных глаз тоже катились слезы, она-то понимала значение слов, — даже дедушка пару раз шмыгнул

носом, а мы смотрели друг на друга и постепенно осознавали, что изготовленный нами яд не только отрава, но и волшебное зелье, творящее чудеса. Мы затаили дыхание в ожидании того мига, когда он рухнет на ковер, не допев своей песни, но дядя Альфред закончил выступление на громкой и долгой, бесконечной ноте, шедшей из самых глубин его существа, взмахнул руками и нечаянно задел буфет. Оранжевая ваза покачнулась, поползла по гладкой поверхности, съехала на пол и разбилась на тысячи осколков. Мир раскололся на миллиарды сверкающих точек. Дядя Альфред опустился в кресло, с трудом перевел дыхание и прошептал: извините. Бабушка сказала: неважно, поднялась и поцеловала его в щеку. Дедушка не глядел на четырехугольник ковра и не бормотал свое "браво", а пожал ему руку, посмотрел в глаза и сказал: великолепно! замечательно! Дядя Альфред отхлебнул еще из отравленной чашки и поднялся уходить. Сказал нам: до свиданья, и похлопал тебя по животу. Мы ничего не ответили, только посмотрели на него с ненавистью, а они проводили его до двери и пожелали ему успеха, дедушка потрепал его по плечу и сказал: держись, Альфред! Дядя Альфред ответил неуверенно: да, и дверь за ним закрылась. Дедушка и бабушка некоторое время молча смотрели друг на друга, бабушка покачала головой, принесла щетку и стала сгребать в кучку осколки вазы.

Ночью я проснулась от звуков кашля и ужасного скрипучего смеха и услышала, как бабушка в кухне говорит дедушке: теперь я понимаю, что она сказала! Что она хотела мне сказать! И снова пугающий, чужой смех, не бабушкин, а какого-то страшного духа, забравшегося в нее. Я встала, чтобы подкрасться к двери и поглядеть, и увидела бабушку, сидящую за столом, с растрепанными длинными волосами, в ночной рубашке, с губами, перемазанными вишневым соком и шоколадом, в кулаке торчит нож — над развалинами двухэтажного торта дяди Альфреда, — а дедушка, в пижаме, схватил ее за руку и умоляет: хватит, ну хватит, ты уже съела больше, чем можно, а бабушка не слушает, отталкивает его, пытаясь освободить свою руку, и скрипучий голос проникшего в нее духа требует: только еще один маленький кусочек, только один ломтик, и все! Дедушка обнимает ее и плачет: не оставляй меня одного, Мина! Пожалуйста, не оставляй меня, ты знаешь, я не могу без тебя... Я повернулась и убежала оттуда к тебе в комнату. Дыхание твое было тяжелым, отрывистым. Я забралась под одеяло, обняла тебя и положила голову на подушку возле твоей головы. Подушка была мокрая.

Назавтра мы поехали с Мишей и с дедушкой и бабушкой, которая сидела впереди — коса, как всегда, туго закручена на затылке; Миша высадил их у больницы Рамбам, а нас повез дальше, на пляж Бат-Галим, Русалочий берег, мы скинули одежду и остались в купальнике и плавках, а широкоплечий могучий Миша выглядел спасателем в своей белой фуражке, не хватало только свистка. Он уселся в шезлонг на берегу, а ты с разбега ворвался в воду, окруженный дождем цветных брызг, и нырнул под волну, я побежала за тобой следом и тоже нырнула, потому что хотела чувствовать в точности то же, что чувствуешь ты, мне щипало глаза, и я нахлебалась соленой воды, а когда вернулась на берег, ты уже стоял там и отряхивал воду с волос. Мы уселись возле Миши на песок, уперлись спинами в его крепкие ноги, смотрели на море и молчали, потому что говорить было не о чем, и я попросила Мишу, чтобы он еще раз рассказал, как он играл перед королем Югославии, поскольку знала, что он очень любит про это рассказывать. Я надеялась, может, это нас как-то спасет. Он немного помолчал и вдруг сказал тихо: я не играл перед королем. Это не я играл. Это был другой мальчик. Его тоже звали Мишей, он играл лучше меня, поэтому выбрали его. На нем был костюм с золотыми пуговицами, и горн сверкал на солнце, и стяг взвился на вершину мачты, это было так прекрасно, так красиво, я никогда в жизни не забуду, и принц Павел подошел и погладил его по голове, а его мама так рыдала, что еле успели подхватить ее, чтобы она не упала. А я стоял в строю среди остальных детей и тоже плакал. Он потянул носом воздух и продолжил, словно рассказывал о самом себе: того Миши уже нету. Гитлер унес его. Всех, всех он забрал — и моих родителей, и братьев, и сестер... Только я остался — шестой ребенок, которого вообще не хотели. Папа и мама поженились очень молодые, они были двоюродные брат и сестра. Семья решила поженить их, когда маме было всего тринадцать лет, так это делалось в те времена. И каждый год у них рождался ребенок, каждый год ребенок, пока папа не сказал наконец: хватит! Но как раз тогда они поехали отдохнуть в Австрию, а когда вернулись, мама снова оказалась в положении. Вот... Он замолчал и закурил, а потом сказал вдруг без всякой связи: ваш дедушка замечательный человек, очень немного таких людей... Мы молча глядели на парня, который ловко ходил по песку на руках, и на дяденьку, который бросал в воду палку, а его громадная собака с лаем бросалась в море, быстро-быстро доплывала до палки, хватала ее в пасть и возвращалась на берег. Дяденька гладил собаку по голове. Я взяла палочку от мороженого и нарисовала на мокром песке

домик, дерево и солнце, но волна стерла мой рисунок. Море потихоньку становилось все более золотым, сделалось прохладно, мы оделись и поехали забирать дедушку и бабушку, которые поджидали нас в воротах больницы с серыми осунувшимися лицами и оказались вдруг такими старенькими-старенькими.

Через несколько дней бабушка объявила нам, что дядя Альфред скончался в больнице. Она утерла слезы и сказала: у него была тяжелая болезнь — в легких, операция не удалась... Но мы-то знали истинную причину его смерти и не решались глядеть друг на друга, когда шли с бабушкой, которая оплакивала дядю Альфреда, но больше себя, и с дедушкой, который оплакивал бабушку, и с нашими родителями, и еще с тремя людьми, которых совсем не знали, за усердными прислужниками смерти, похожими на ангелов в своих белых нарукавниках, с бородатыми потными лицами, несшими на носилках под темной пыльной тканью тело, которое вдруг оказалось маленьким и ссохшимся — голова почти касалась толстого черного зада переднего ангела, а ноги болтались возле расстегнутой ширинки заднего, и я думала: это может быть кто угодно там, под тканью, может, это вообще не он, но, когда мы подошли к открытой могиле, кантор произнес его имя, и судорожные отчаянные рыдания вырвались из моей груди, потому что я поняла, что невозможно повернуть время вспять, а ты застыл безмолвно по другую сторону черной могилы, и я знала, что теперь он всегда будет стоять меж нами и что после похорон твой отец заберет тебя к вам домой, хотя до конца каникул еще далеко, но бабушка очень плохо себя чувствовала, и через несколько месяцев, зимой, она действительно умерла, а дедушка закрыл свою контору на улице Герцля и переехал жить в дом престарелых, и годами продолжал разговаривать с нею, словно она по-прежнему была рядом. И уже там, на кладбище, я знала, что мы никогда больше не окажемся вместе в нашей комнатке под крышей, и лишь изредка, засыпая, я буду видеть тебя, как ты стоишь надо мной на четвереньках, уставившись на меня хищными желтыми зрачками, и я буду шептать тебе: иди! — и чувствовать твое сердце, отбивающее по моей груди все те же слова — до последних судорог, до немыслимых трепетных бабочек...

Я утираю слезы и вместе со старичками приближаюсь к могиле, чтобы положить на нее камушек, все уже готовятся разойтись, но я задерживаюсь еще на минутку возле позолоченного мрамора дяди Альфреда и знаю, что ты стоишь тут же,

рядом. Вблизи ты можешь разглядеть, что и у меня уже есть морщинки в уголках рта, и седые волоски, оба мы читаем про себя вступление к "Песне о земле", читаем слова, которых тогда не понимали, я кладу у их подножья маленький камушек, и ты тоже кладешь камушек, а потом кладешь руку мне на плечо и говоришь: пойдем. Перед нами шагают моя мама и твой отец и шепчутся о том, что муниципалитет постановил снести старый дом и выкорчевать рощу за ним, на этом месте решено выстроить роскошный небоскреб, и я вижу землю, которая не в силах вместить всего, что мы схоронили в ней, вижу, как она содрогается и расходится, трескается, и весь их небоскреб раскалывается и рушится. Миша идет за нами следом и вздыхает, и говорит: если бы только можно было повернуть время вспять... Хоть на одну минуту... И я точно знаю, какую минуту он хочет вернуть. Возле ворот стоит согбенная старушка, с таким знакомым сморщенным личиком, дрожащей рукой она берет меня за рукав и скрипучим голосом говорит: ты, наверно, не помнишь меня, но я-то хорошо знала вас всех, и твоего дедушку, он часто заходил к нам на почту — старую нашу почту... Вы госпожа Белла Блюм с почты! — шепчу я, и сердце мое съеживается и бледнеет, на мгновение я вижу узкие очки на остреньком носике, седые волосы, вижу, как ледяные скрюченные пальцы с вожделением тянутся к нашим детским шейкам и треугольным маркам, я вспоминаю анонимные письма с угрозами и кошусь на тебя, но ты смотришь на носки своих пыльных туфель и говоришь: надо двигаться, у меня на предприятии заседание, — и я снова дотрагиваюсь до мягкой руки под лиловой соломенной шляпой. И вдруг с моря налетает ветер и срывает с ее головы шляпу, гонит вдоль тропинки, а она бежит за ней между могилами в своем широком развевающемся цветастом платье, с округлившимся животиком, с развевающимися каштановыми языками волос, протягивает полную руку, чтобы ухватить беглянку, но та, кувыркнувшись в воздухе, взлетает высоко-высоко, как лиловая бабочка, еще минута — усядется на острую вершину кипариса, но вдруг передумывает, дважды перевертывается на лету и приземляется на памятник Аббы Хуши, городского головы, и все вы: и ты, и Миша, и прочие мужчины — кидаетесь ловить злосчастную шляпу, чтобы вернуть ей, вы скачете между могил, но шляпа уже далеко, она теперь, помятая и потерявшая всякий вид, расположилась между Ханохом Габриэли, сыном Моше, уроженцем города Лодзь, и Цилей Фрумкиной, добродетельной супругой, прекрасной матерью и полной праведницей, лежащими почти вплотную друг к другу, вы все уже запыхались и раскрасне-

лись, а шляпа вновь делает широкое сальто и взмывает к небесам, вы преследуете шляпу с задранными кверху головами, отчаянно размахивая руками — в точности, как потерпевшие кораблекрушение и выброшенные на необитаемый остров делают это, завидев аэроплан. Шляпа вдруг теряет теплый восходящий поток воздуха, утрачивает равновесие и начинает быстро-быстро крутиться вокруг собственной оси, как прима-балерина, в вихре лиловых лент, и внезапно приземляется уже за кладбищенскими воротами, лежит на боку и усмехается своим большим круглым ртом. Она бежит к шляпе, грузная и задыхающаяся, наклоняется, поднимает ее высоко над головой и, обернувшись в вашу сторону, смеется, сверкая глазами: поймала! я ее поймала!

1989

Найя Марие Аидт

Рассказы

Перевод с датского Яны Палеховой
Вступление Ольги Дробот

Датчанка Найя Марие Аидт пишет стихи и рассказы и считает, что вручение ей главной скандинавской литературной премии — Премии Северного совета — это восстановление справедливости в отношении рассказа как жанра. На эту премию каждая северная страна выдвигает две самые значительные книги текущего года, обычно два романа или один роман и один сборник стихов. То, что награда досталась рассказам, — сенсация даже в Скандинавии, имеющей богатую традицию малых литературных форм. Предлагаемые читателю рассказы, взятые из сборника "Павиан", отражают довольно мрачный взгляд на человека, некоторые критики называют их даже "критикой цивилизации", но писательница отказывается подписаться под такой оценкой. Она говорит, что ее рассказы — это личный взгляд на положение человека в сегодняшнем мире, в первую очередь — в Дании. Избыток материальных благ не только не породил параллельной избыточности человечности и взаимопонимания, напротив, когда у человека все есть и он отлично может сам справляться со всем, у него возникает ощущение, что теперь он может вообще обойтись без других людей. Но жизнь никогда не развивается от одной удачи к другой, и самый уверенный в себе человек теряется перед лицом внезапной катастрофы и подчас действительно начинает вести себя, как павиан. В одном интервью писательница

© Naja Marie Aidt: "Bulbjerg" and "Tur i bil" from Bavian. Naja Marie Aidt & Gyldendal 2006
Published by agreement with Gyldendal Group Agency
© Яна Палехова. Перевод, 2010

сказала, что эта книга "о том, во что превращается наша жизнь, когда мы сводим ее смысл только к удовлетворению потребностей: тогда отпадает необходимость оставаться цивилизованными людьми". Это рассказы-предостережения, но они еще и гимн человечности, гимн радости бытия, тому, что мы живы и можем дышать, ходить, видеть, слышать и любить, и, пока мы живы, мы можем меняться. И еще об одной особенности рассказов Аидт нельзя не сказать — они очень плотно написаны и по насыщенности повествования вполне тянут на роман. Выдержи писательница на таком накале большой объем прозы, это был бы "истерический реализм", как говорит она сама, а так получились просто хорошие рассказы.

Скала Бульбъерг

И внезапно мы оказались в удивительном пейзаже: со всех сторон светящиеся белые песчаные холмы, низкие, обтесанные ветром деревья гнутся под его порывами под огромным открытым небом. Мы блаженно хватали ртом воздух, как будто слишком много времени провели под водой и наконец вынырнули на поверхность. Мы оглядывались по сторонам, щурились: глаза устали слишком долго следить за гравиевыми дорожками в темноте лесопосадок. Здесь даже пахло иначе, солью и свежестью, море наверняка где-то совсем рядом. Но мы заблудились. И уже очень долго ездили кругами. Жара. С нами были шестилетний мальчик и такса. Велосипеды старые и ржавые, риск проколоть колесо гнетет. Мы стояли и молча вслушивались. Ветер тихо шелестел в листве, птицы пели, одна из них кричала, хрипло и отчаянно, как будто оплакивая свою жизнь. Себастиан посмотрел на меня с тревогой.

— Это просто канюк, не бойся.

— Иди сюда, Себа. Хочешь крекер? — ты позвала мальчика как-то преувеличенно бодро, и я поймал себя на том, что все время в испуге сильно поворачиваю голову, оглядываясь. Сзади стоял лес, из которого мы выехали, черный и тихий, как глубокое озеро. Перед нами лежала тропинка, она шла через маленькую прозрачную березовую рощицу, а дальше опять густой хвойный лес, лишайник, вереск, поваленные серо-черные стволы со сломанными ветками, торчащими, как шипы.

— У меня ноги устали, — пожаловался Себастиан. И разрыдался. Грязными руками закрыл лицо, плечи тряслись.

Ты взяла его на колени.

Вы сидели в траве, ты раскачивалась взад-вперед, баюкая его, он плакал. Потом ты подняла на меня большие обеспокоенные глаза, и я выдержал твой взгляд.

— Что? — спросил я.

— Ничего, — ответила ты, гладя мальчика по голове. — Через четыре-пять часов стемнеет.

— И что? Что я могу сделать?

Ты вздохнула.

Я лег, подложив руки под голову.

Себастиану через две недели исполнится семь, в августе он пойдет в первый класс. Он, в общем, мало изменился с младенчества. То же слегка обеспокоенное выражение лица, та же складочка между бровями. Похоже, у него все-таки неправильный прикус, и нас ждут все эти пластинки и брекеты. Я открываю глаза, ты стоишь надо мной, смотришь с ненавистью. Возможно, ты стоишь так уже несколько минут.

— Ну мы поедем когда-нибудь? — спрашиваешь ты.

Я сажусь и понимаю, как сильно устал. Руки ватные, во всем теле гнетущая слабость. Воды в канистре не осталось. Собака тяжело дышит, высунув язык, ты сажаешь ее в картонную коробку на багажнике. Себастиан мужественно поднимает свой велосипед и едет вперед. Его звонок тренькает на каждой выбоине, а вымпел, которым он так гордился, когда я прикручивал его к багажнику, вдруг кажется жалким и дешевым. Мы едем дальше в молчании. На каждой очередной развилке ты вопросительно смотришь на меня, но это же не я здесь местный, так что все неизменно заканчивается одним — ты говоришь что-то вроде:

— Я думаю, нам сейчас нужно направо. Я, кажется, помню эту поленницу.

И мы молча поворачиваем направо. И так пока Себастиан не бросается на землю и не начинает кричать. У него истерика, он замахивается на нас, сто́ит нам сделать шаг в его сторону. Ты пытаешься пронять его лаской, я — приструнить. Наконец я начинаю трясти его что есть сил и орать, что, если он сейчас же не успокоится, мы уедем и оставим его здесь, пусть вопит, сколько влезет, пока его не утащит канюк. И тут же жалею о своих словах и отпускаю его, мальчик орет и цепляется за мои ноги. Ты сидишь спиной к нам на пне. Я вижу, что целый отряд муравьев ползет вверх по шее Себастиана, угрожающе приближаясь к его рту.

— Черт тебя побери, что ты делаешь? — кричу я. Он пронзительно визжит, откидываясь назад, плюется, пускает слюни и лупит себя по лицу. Мне ничего не остается, как сорвать с него всю одежду, чтобы стряхнуть муравьев. Он лягается и машет руками, муравьи успели искусать его. Из носа текут сопли. Я поднимаю его, голого, на руки и так держу. Теперь он только всхлипывает и прижимается лицом к моей груди.

— Если только мы не ездим кругами, мы должны рано или поздно добраться до этой скалы Бульбьерг, будь она неладна. Здесь невозможно ездить кругами, — говорю я, — невозможно ездить кругами по этому маленькому говнолесу, — шиплю я и потом ору: — Анне!

Ты наконец-то поднимаешься на ноги, у тебя опухшее, полосатое от слез лицо. Ты трешь глаза, как ребенок.

— Я знаю хозяина гриля, — говоришь ты вдруг.

— Какого гриля? — раздраженно спрашиваю я.

— Гриля возле Бульбьерга, — шепчешь ты.

Себастиан дышит мне в ухо, очень щекотно, я спускаю его с рук, он соскальзывает на землю и хватает меня за ноги.

— Себа сядет на мой багажник, — зло и громко говорю я.

Я отцепляю его руки и зашвыриваю маленький желтый велосипед Себастиана в заросли кустарника. Теперь велосипед останется валяться здесь и может стать той уликой, благодаря которой будет раскрыто ужасное преступление. Я представляю, как кто-то наткнется на него в один прекрасный день, найдет мои отпечатки пальцев на раме и отпечатки пальцев Себастиана на руле. Может быть, и твои тоже. Вполне возможно, что этот кто-то подумает, что это мы убили мальчика.

— Мы заберем твой велосипед в другой раз, — уверяю я Себастиана.

Он, по-прежнему голый, садится за мной и обхватывает меня за спину. Он болтает ногами, и страх того, что он угодит ногой в колесо, мешает мне ехать, как мешает человеку уснуть зудящий где-то в темноте комар.

Так мы едем с час, парит, уже около шести, наверное, часов ни у кого из нас нет. Из дому мы выехали в девять утра, хотя от нашей дачи до Бульбьерга максимум пятнадцать километров. Хотели полюбоваться красивым пейзажем ледникового периода. Я собирался показать Себастиану немецкий бункер. У нас намечался интересный разговор о войне и оккупации.

Когда я проснулся сегодня утром, ты смотрела на меня. Мы оба лежали на боку, лицом друг к другу, и ты смотрела на меня и улыбалась. Свет из окна в потолке косо и ярко падал на белые одеяла. Я почувствовал, что за мной шпионят. В дверях стоял Себастиан. Он сказал, что собака написала на ковер в гостиной. Чуть позже я слышал, как вы смеялись и болтали на кухне. Мы часто делали это на том ковре. Мы приезжали сюда осенью, было холодно и мы топили печку по вечерам. Я медленно снимал с нее одежду, она была такой

красивой на красном персидском ковре в теплом свете пламени. Она разводила ноги и смотрела на меня темным, почти грустным взглядом. Твоя сестра там у́же, чем ты. Интересно, это врожденное качество, или просто ее молодость? Тине тебе только сводная сестра. А Себастиан усыновленный.

— В этой семье никто никому не приходится нормальным родственником, — кричит обычно твой папа на Рождество или на Пасху, когда встает сказать тост. — Жопы вы все! — орет он чуть позже и валится мертвецки-пьяным, твои двоюродные братья выносят его из комнаты.

Обычно это происходит теперь все-таки дома, на нашем собственном ковре, — там я люблю ее. Там она любит меня. Когда ты уходишь и оставляешь Тине сидеть с Себастианом. Когда он спит. Я люблю смотреть на нее, как она лежит там, беззащитная, но выставляющая себя напоказ, лежит на холодном полу, но защищенная мягким ворсом ковра. Она немного мерзнет. Она хорошо сосет. У нее горячее твердое небо, и она очень сосредоточена, она превращает это в искусство. Я скучаю по ней. Я скучаю по ее тяжелым русым волосам, по горячей шее, по ее профилю, когда она, погружаясь в свои мысли, подпирает щеку одной рукой, не зная, что я стою в сумерках и рассматриваю ее. Я возбужден и растерян. Да, все зашло слишком далеко. Я думал, что без проблем выдержу в каникулы пару недель на даче, у нас, в конце концов, общий ребенок.

Мы на полной скорости неслись вниз с холма, я не помню, как именно это произошло — ты наехала на палку, я врезался в твое заднее колесо, велосипеды перевернулись. Мальчик и собака вылетели в кювет. Себастиан стукнулся головой о камень, и этот звук, звук удара головы об этот проклятый камень, обжигает мне кожу по всему телу, у меня пересыхает в горле; он умер, подумал я. Ты уже рядом с ним, ты зовешь, хнычешь, я с силой отталкиваю тебя, ты разеваешь рот и валишься куда-то назад, вбок. Себастиан без сознания. Он бледен как покойник, и его недавно выросшие, с неровными краями зубы при падении до крови пробили нижнюю губу.

— Себа, — шепчу я. Мой голос далеко разносит странное эхо. — Себастиан, ты меня слышишь? Это папа.

Ты забилась в кусты и смотришь на меня оттуда очень светлыми зелеными глазами, держа собаку за ошейник. Она рычит, обнажая зубы, и вдруг почему-то начинает громко лаять.

— Он не умер, черт побери! Анне!

И как будто именно то, что я называю тебя по имени, заставляет тебя действовать. Ты привязываешь собаку к дереву, потом поднимаешь Себастиана и идешь, пошатываясь, по тропинке, неся на плече большого обмякшего ребенка. Я почему-то не пытаюсь его у тебя отобрать, хотя вижу, что ты едва не падаешь под его тяжестью. Я просто иду за тобой метрах в пяти, не сокращая расстояния, лай собаки переходит в визг и жалобный вой, когда она понимает, что мы собрались ее бросить.

Я очень отчетливо помню, как Анне впервые произнесла свое имя. Почти шепотом, глядя вниз. Она покраснела и смущенно улыбалась. А потом вдруг, совершенно неожиданно и очень уверенно, подалась вперед и поцеловала меня, горячо и долго. Она меня просто потрясла. Я был очень тронут. Она казалась мне такой крутой. Я провел рукой по ее волосам и слегка потянул за них, так, что ее голова немного отклонилась назад. Она закрыла глаза и широко, почти вульгарно улыбнулась.

— Анне? — прошептал я. Запах ее кожи был пронзительным и кисловатым.

Через пять лет нас вызвали на наше первое собеседование об усыновлении.

— Меня зовут Анне, — громко и четко сказала она, входя в маленький душный кабинет, и, прежде чем сесть, взялась обеими руками за спинку стула. Никто не спрашивал, как ее зовут, и это прозвучало как-то странно и торжественно. Как будто ее имя было решающим в вопросе, годится она в матери или нет.

— Нет никаких гарантий, что вы получите милого малыша. Вы должны рассчитывать, что вам достанется трехлетка с заячьей губой и тяжелыми психическими травмами. Если вы к этому готовы — вы готовы к усыновлению, — сказала чиновница. Анне сразу ответила, что она к этому готова.

Гораздо позже, когда мы забрали Себастиана и сидели по обе стороны от него на большой двуспальной кровати в ханойской гостинице, а его все рвало и рвало, она внезапно сказала:

— Его будут звать Себастиан — я настаиваю.

Два этих имени гвоздями вбиты в мою сонную артерию, вытащи их — и я истеку кровью.

Ты тащишь Себастиана уже как минимум полкилометра, я отчетливо слышу, что ты запыхалась. Ты ничего не говоришь. Над нами непроницаемая листва, становится пасмурно, кру-

гом сумрачно и влажно, я слышу запахи смолы, плесени и мокрой травы. Вдруг ты неожиданно сворачиваешь с тропинки в лес. Плетешься еще несколько метров, чудом не спотыкаешься о толстую узловатую ветку, опускаешься на корточки и осторожно укладываешь мальчика под деревом. На зеленом мху Себастиан лежит белый как мел. Ты отгоняешь муху от его лица. Я низко наклоняюсь над ребенком и чувствую его слабое дыхание, оно как легкий порыв теплого ветра, гладящий меня по лицу. Я выпрямляюсь, беру тебя за плечи обеими руками и говорю:

— Посмотри на него, он приходит в себя. Пойдем. Пойдем, Анне, мы доберемся до этого чертова Бульбьерга раньше, чем ты думаешь, а там наверняка найдется кто-то с машиной, и мы отвезем его в больницу.

Я поднимаю Себастиана, забрасываю его себе на спину, как узел.

— Пойдем, — повторяю я.

Ты послушно идешь за мной. Ты шагаешь рядом, ссутулившись, и не плачешь, хотя наверняка совершенно обессилела. Я говорю тебе все это, когда мы уже выходим из леса, и теперь я уверен, что нам осталось продраться сквозь очередные заросли шиповника, перейти через склон — и мы увидим Бульбьерг и всю ту красоту, которая окружает меловые скалы. Здесь размножаются моёвки. И глупыши. Странное название для морской птицы.

— У меня роман на стороне, — говорю я. Ты поворачиваешь голову и удивленно смотришь на меня.

— У меня есть любовница, — говорю я. Ты непонимающе хмуришь брови.

— Я трахаю твою сестру. Ты меня слышишь? — Ты прибавляешь шаг. — Я сплю с Тине, я не могу ею насытиться, она сосет мой член так, как будто ей за это платят, я не могу насытиться, я трахаю ее дома на ковре, я трахаю ее на кухонном столе, в туалете, я трахаю ее сзади, в задницу, в нашей постели... — Я внезапно замечаю, что дышу тяжело и со свистом. Она останавливается.

— В нашей постели? — переспрашивает она. — В задницу? — переспрашивает она.

Я оборачиваюсь и смотрю на нее. Она прижала руку к горлу и легко раскачивается взад-вперед. Она смотрит на меня долгим взглядом, и я вижу, как дрожат ее ноздри. Она качает головой. Страх и неземная невинность светятся в ее вытаращенных глазах.

— Ты больной, — шепчет она наконец.

Ее голос быстро набирает высоту и становится пронзительным:

— Ты ненормальный! — кричит она и тычет в меня пальцем, пятясь машет передо мной прямым негнущимся пальцем. — Жирная свинья, — кричит она с ненавистью большей, чем я мог вообразить, она сейчас уродлива, лицо перекошено, неуклюжая, движения механические. — Свинья жирная, — орет она, это единственное, что срывается с ее губ, — свинья, мерзкая, сраная, вонючая свинья. Она поворачивается и бежит, делает рывок, как будто за ней черт гонится, а я наконец-то дохожу до вершины и вижу перед собой высоченную скалу Бульбьерг. Я скольжу сперва взглядом по мягкой береговой полосе, потом смотрю на серо-зеленое море, простирающееся далеко внизу, огромное необузданное Северное море, сегодня совсем спокойное. Я закрываю глаза и открываю их снова. Здесь ветер крепче. Мне хочется лечь на землю и сдаться этому белому свету, закрыть глаза, слышать только ветер в траве, то особенное шептание, с которым шебуршит в траве летний ветер, и гудение шмелей, и стрекот цикад совсем, совсем рядом.

В этот миг Себастиан тихонько отрывисто всхлипывает. Я обнимаю его и прижимаю к себе. У него на лбу большая красно-синяя шишка, которую посередине прорезает глубокая мокнущая розовая рана. Он протягивает руку, осторожно дотрагивается до слегка свернувшейся крови на губе, скользит по ней языком, хмурит брови, стонет от боли и зовет маму.

— Мама побежала вперед. Нам нужно найти машину, чтобы отвезти тебя в больницу. Ты упал, Себастиан. Нужно, чтобы врачи посмотрели твою голову. Тебя тошнит?

Он робко кивает. Я несу его, как носят совсем маленьких детей. У него закрываются глаза, но я стараюсь не давать ему спать, я помню, что нельзя спать, если ударился головой. Я рассказываю ему истории из его собственной жизни, спрашиваю, помнит ли он, как мы играли в футбол с большими мальчиками на площадке в парке и один из них подарил ему свою кепку.

— А как мы были в Тиволи, с мамой, бабушкой и тетей Тине, и ты съел три сахарные ваты, и мы видели крышу ратуши, когда катались на американских горках, и ты написал в штаны?

Я говорю громко и слежу за тем, чтобы время от времени смеяться. Мой смех его почти пугает, но я должен не дать ему заснуть. Я почти бегу. Теперь я вижу Анне далеко впереди, она спускается с большого холма. Она идет, наклонясь впе-

ред и шатаясь, по середине дороги. Разнотравье ходит вокруг волнами под ветром, здесь потрясающе красиво. Море сверкает далеко внизу, небо огромное и открытое. Как хорошо выйти наконец из леса, легко, хорошо, дышишь полной грудью. Я начинаю петь Себастиану. Я пою и спускаюсь с холма по крутой асфальтированной дороге, до сих пор жирной и мягкой от солнца. Меня так и подмывает припустить по ней бегом, это даже не соблазн — так естественно бежать с такого холма вниз галопом, в восторге, — но я этого не делаю. Я иду, шаг за шагом в сторону деревни, сворачиваю к шоссе, оставляя за спиной и море, и Бульберг.

Себастиан кажется более оживленным, он почти пришел в себя. Я сажаю его на плечи, чтобы он тоже мог смотреть вокруг. Когда я снова пытаюсь найти глазами Анне, ее нигде не видно. Вскоре я замечаю вывеску. Подумать только, что кому-то пришло в голову открыть гриль-бар в таком пустынном месте. Подумать только, что это может окупиться.

Себастиан видит бабочку и машет руками. Он спрашивает, как долго живут бабочки. Солнце на мгновение прорывается сквозь облака и окутывает меня теплом. Мой сын здоров. Мне кажется, что все легко может устроиться, как-то просто и понятно. Но едва мы поворачиваем во двор гриль-бара, я вижу Анне. Она сидит на скамейке вместе с мужчиной, который обнимает ее одной рукой. Она прячет лицо у него на груди и, похоже, плачет. Я останавливаюсь.

— Мама, — зовет Себастиан.

Она на миг поднимает голову и смотрит на нас, ее трясет. Потом снова сгибается и утыкается в мужчину. Он очень загорелый, у него темные кучерявые волосы.

— Анне не очень хорошо себя чувствует, — говорит он. Он разговаривает на местном диалекте, тяжело и растягивая слова, на том самом диалекте, от которого и Анне, и Тине давно удалось избавиться.

— Слушай, мой сын разбил голову, мне срочно нужно вызвать "скорую".

Мужчина отрицательно качает головой.

— Телефон, — говорю я.

Он медленно поднимается со скамейки.

— Что же ты за муж? — спрашивает он. Медленно, медленно он движется по направлению ко мне.

— Я же говорю, я муж Анне, и мне нужно позвонить по твоему телефону.

Я иду к прилавку. Мне в лицо ударяет сильный запах горелого масла.

— Ну и муж, — бормочет он.

Я перевешиваюсь через прилавок и хватаю мобильный телефон. Мужчина, наверное, подкрадывается сзади, потому что, когда я начинаю набирать номер, он вырывает телефон у меня из рук. Он подходит совсем близко, щурится, его верхняя губа немного выворачивается.

— Дать бы тебе по морде, — шипит он.

Себастиан тянет меня за волосы.

— Давай, звони, — устало говорю я.

Анне неожиданно вскрикивает. Я снова тянусь за телефоном и пытаюсь вырвать его у мужчины из рук. Он выпускает трубку, телефон падает на землю, мужчина кладет руку мне на плечо.

— Отдай мне пацана и проваливай.

Я теряю равновесие и едва не роняю Себастиана, которому приходится крепко вцепиться в меня.

— Папа? — говорит Себастиан тонким послушным голосом, он явно напуган. Я полуоборачиваюсь и смотрю на Анне.

— Кто этот человек? — спрашиваю я. Она смотрит на меня ожесточенно.

— Это Себастиан, — говорит она, и я чувствую, как вздрагивает сидящий у меня на плечах мальчик. — Делай так, как он говорит. Проваливай.

Себастиан хватается за мою голову обеими руками, я чувствую его горячее дыхание глубоко у меня в ушах.

— Я хочу домой, — шепчет он.

— Иди ко мне, Себа, — говорит Анне, поднимаясь. — Иди сюда.

Она идет к нему, раскрыв руки.

— Иди сюда, Себастиан даст тебе мороженое. Это в честь него я тебя назвала.

Ее лицо искажает сумасшедшая гримаса.

Больше всего он был похож на обезьяну с широким торсом и волосатыми лапами. Он подался вперед и внезапно и угрожающе ткнул в меня коротким толстым пальцем. Я отшатнулся, попятился и припустил бегом. Он нас не преследовал. Когда чуть позже я обернулся, мне показалось, что он стоит посреди дороги и взасос целует Анне, перебирая ее собранные в хвост волосы. Мне послышалось, что Анне мычала, как корова, а может, это он мычал, я не уверен. Мы дошли до главного шоссе. Себастиан почти не шевелился и вел себя очень тихо, я тоже молчал. Белая грудь Тине и маленькие темные соски. Толстый палец, нацеленный прямо в мягкую

ямку на переносице. Я ужасно вспотел и вздрогнул, когда услышал, что вздыхаю.

Было уже почти темно, когда нас наконец-то подобрала какая-то машина. Себастиана осмотрел врач, и оказалось, что он легко отделался. Медсестра все пыталась как-то его рассмешить, но он не проронил ни слова. Они склеили края раны и отправили нас домой. Когда поздно ночью мы вернулись на дачу, ты сидела в темноте у окна. Ты даже не забрала собаку.

Поездка

НИКОЛАЙ захлопывает дверцу, но тут выясняется, что Тобиаса в машине нет.

— Черт, — рявкает Николай и смотрит на Мие, она отстегивает свой ремень и вылезает из машины. Он наблюдает, как она возвращается к дому и потом возится с ключом.

— Когда мы будем на месте? — спрашивает Сигне. Младший начинает плакать.

Николай поворачивается и пытается поднять соску с пола, но она скользит и закатывается под переднее сидение.

— Дай ему соску, — говорит он погруженному в комикс Андреасу. — Дай ему соску наконец!

Андреас нехотя засовывает руку под сиденье и нащупывает соску. Младший замолкает. Николай нетерпеливо смотрит в сторону дома. Мие наконец-то возвращается, толкая перед собой долговязого пятнадцатилетнего Тобиаса, который угрюмо смотрит в одну точку. Николай чувствует, что внутри у него начинает скрежетать, как будто порыв ветра проходит сквозь камыш, а камыш растет в нем самом. Он сжимает зубы и заводит машину. Тобиас втискивается на заднее сиденье. Андреас говорит:

— Он меня придавил.

Сигне говорит:

— Да иди ты!

— Так, — говорит Мие твердо и решительно. — Мы едем.

Пока машина разворачивается, она смотрит на детей в зеркало заднего вида. Сигне прижалась к Андреасу, Младший усердно сосет соску и указательный палец одновременно, Тобиас натянул капюшон и уперся головой в стекло.

— Мы опоздаем, — говорит Николай. — Что ты там делала так долго?

— Мама позвонила. Она до сих пор в больнице.

Мие включает радио.

— Я сказала, что мы заедем к ней на обратном пути.

Николай, не слушая, наклоняется вперед, чтобы лучше видеть дорогу. Идет дождь. Стекла быстро запотевают, приходится приоткрыть окно, хотя они на трассе и вода попадает на Мие, прямо ей на шею. Она раздает всем леденцы. Сигне говорит, что ее укачало. Андреас говорит, что ему нужно в туалет. И немного погодя:

— Если вы сейчас же не остановитесь, я напишу на сиденье.

На заправке Тобиас выбирается из машины, закуривает сигарету, поворачивается к ним спиной и склоняется над своим телефоном. В машину он возвращается насквозь мокрый.

— Тобиас воняет куревом, — говорит Сигне и зажимает нос.

— И мокрой псиной, — добавляет Андреас.

— Оставьте Тобиаса в покое, — говорит Мие. Она сидит в ужасно неудобной позе, и одной рукой кормит из бутылочки Младшего на заднем сиденье.

— А Сигне не может его напоить? — спрашивает Николай.

— Делать мне больше нечего, — говорит Сигне.

— Тебя никто не спрашивает, — говорит Николай, а Мие отвечает:

— Да ничего, я сама.

Дождь усиливается. Обгоняющие их большие грузовики плещут на окна грязной водой.

— Мы все равно не успеем на этот паром, — говорит Николай, яростно чавкая никотиновой жвачкой.

— Ну посмотрим, — говорит Мие.

Младший наконец-то засыпает. Мие рассматривает его бледное лицо и вены, которые закрашивают веки синим, трет свою затекшую руку. Телефон Тобиаса беспрерывно издает какие-то звуки.

— Почему Тобиасу можно играть с телефоном в машине, а мне нельзя? — Сигне ритмично бьет ногой в спинку сиденья Николая. — Почему вы не отвечаете?

— Перестань бить по папиному сиденью, — говорит Мие.

— Раз ему можно, то и мне тоже можно, — говорит Сигне и вытаскивает свой телефон. Мерзкие звуки ее телефона смешиваются с пиканьем телефона Тобиаса.

— Перестань БИТЬ, Сигне, — говорит Николай.

— Убери телефон, — говорит Мие.

Сигне перестает бить по переднему сиденью, но продолжает прослушивать мелодии звонков.

— Младшего разбудишь, — говорит Мие и тянется за ее телефоном. Сигне, смеясь, поднимает руку с телефоном, чтобы Мие не смогла его достать. Мие отстегивает ремень, разворачивается всем телом, почти встает на колени и вжимается между передними сиденьями.

— Так я ничего не вижу, — говорит Николай.

Мие хватает Сигне за руку и вырывает у нее телефон.

— АЙ! Ай, черт, ай, моя рука!

— Не ругайся.

Мие вспотела. Сигне делает вид, что плачет. Младший просыпается с ревом. Мие тяжело заносит руку над головой Сигне, как будто хочет отвесить ей подзатыльник.

— Посмотри, что ты наделала! Андреас, дай ему соску.

Андреас дает Младшему соску и не глядя гладит его по щеке, продолжая читать комикс.

— Отдай мне комикс, теперь моя очередь, — говорит Сигне, задыхаясь от слез. — Это нам на двоих, мама сама сказала.

— Оставь всех в покое, — говорит Мие.

— Да что я сделала! Ты сама сказала, что это нам на двоих!

Она впадает в истерику. Мие дает ей леденец. На заднем сиденье становится тихо, слышно только свистящее дыхание Младшего.

— Только бы он не заболел, — говорит Мие Николаю. — Он так кашлял ночью.

Николай не отвечает и продолжает жевать, она видит, как ходят его челюсти. Мие прижимается щекой к холодному влажному стеклу, прислушивается к звуку работающих дворников, она дремлет. Сонные мысли роятся у нее в голове, как беспокойные насекомые. Рука Николая оглаживает ее и входит в нее. А вот ее собственные губы, она сосет его палец. Какая-то птица слетает на верхушку дерева. Какие-то темные видения ее самой, идущей по длинному коридору, по обе стороны хлопают двери, но никого нет, никаких других людей, только пустые кабинеты, открывающиеся по мере того, как она к ним подходит, и цоканье ее туфель по блестящему полу.

— Ты спишь? — спрашивает Николай.

— Нет-нет.

— Я не думаю, что он заболеет, — говорит Николай. И чуть погодя: — Когда мы приедем, нам нужно будет составить план.

— План?

— Как все будет устроено на эти каникулы.

— В смысле?

— Мы должны договориться о правилах.

— Правилах?

— Для детей, — Николай бросает на нее короткий взгляд. — Какие у них будут обязанности, как далеко им можно уходить без взрослых, когда они должны возвращаться домой.

Она рассматривает профиль Николая, тянется рукой, чтобы провести по его волосам. Он снова скользит по ней взглядом, она улыбается в ответ. Он кладет руку на ее бедро, она — на его.

— Тобиас должен иногда оставаться с остальными, чтобы нам с тобой побыть вдвоем, — негромко говорит он.

— No way, — подает голос Тобиас. — Я уеду домой в пятницу. Ники возвращается с каникул, и я не собираюсь гнить на вашей даче, вот честно.

— Тобиас, — говорит Мие, — ну перестань, мы же уже об этом говорили. Ники может приехать сюда. Мы будем только рады.

Тобиас качает головой внутри капюшона. Он холодно смотрит на Мие в зеркало, пока она не отодвигается так далеко в сторону, что выходит из его поля зрения.

— Вот я об этом и говорю, — говорит Николай. — У нас должны быть какие-то четкие договоренности.

— У нас они и есть, — говорит Мие.

— Сейчас моя очередь читать журнал! Мы договаривались! — кричит Сигне, которая видимо разделалась с леденцом, из-за которого она так долго молчала. Она вырывает из рук Андреаса журнал и снова начинает бить ногой по переднему сиденью.

— Я хочу есть, — говорит Андреас. — Если мы сейчас же не остановимся, я умру от голода.

Еще не доехав до пристани, они видят, что паром уже далеко в море. Дождь утих, до следующего парома час.

— Я же говорил, что надо было ехать по мосту, — говорит Николай.

— Сколько вы дадите нам денег на конфеты? — спрашивает Сигне. — Вы обещали нам денег на конфеты.

Мие вылезает из машины, Сигне тянет ее за фалды плаща.

— Дай нам денег!

Николай идет к туалетам, Андреаса нигде не видно. Мие смотрит на длинную очередь машин. Потом на зал ожидания, в который в этот момент заходит Николай.

— Где Андреас? — Тобиас пожимает плечами. Она смотрит вниз, на море. — ГДЕ он?

Она зовет. Кричит: "Андреас!" Бежит мимо машин. Добегает до первой машины в очереди, доходит до спуска, ведущего к причалу. Андреаса нет и здесь. Она слышит, как волны тяже-

ло бьются о набережную, останавливается, не может отдышаться, оглядывает берег, вертит головой во все стороны. Но нигде не видно ни зеленой ветровки, ни шапки его светлых волос. Она успевает представить себе мертвого мальчика, картины похорон и собственного помешательства, она успевает подумать, что остальные дети ей совершенно не нужны, если Андреаса больше нет. И что Николай ей теперь тоже будет не нужен, что она никогда больше не сможет жить ни с ним, ни с кем-нибудь другим. Ветер задирает плащ и бросает спутанные волосы на лицо. Красная горящая ненависть к ним ко всем пронзает ее, и она начинает плакать, громко и бесконтрольно, чужие, некрасивые звуки, которые тут же относит ветром. Но вдруг между приступами рыданий ей не удается сделать вдоха, ветер как будто мешает этому, и теперь ею овладевает еще больший и совершенно панический страх за собственную жизнь, страх умереть. Так она стоит, раскачиваясь, в развевающемся на ветру плаще, прижимая одну руку ко рту, с мокрыми, безумными глазами, когда к ней не спеша, прогулочным шагом подходит Тобиас. Он держит руки в карманах, капюшон затянут вокруг лица, ветер надувает слишком просторные штаны воздухом, и они выглядят смешно. Он останавливается перед Мие. Она начинает рыдать сильнее прежнего. Пытается выговорить имя Андреаса, но только жалобно воет.

— Успокойся. Его нашли.

Она убирает руку ото рта.

— Где?! — кричит она.

— Понятия не имею. Он пошел посмотреть на какую-то машину.

— Машину?! — кричит она.

Тобиас смотрит на нее презрительно.

— Да. Машину.

Он высоко поднимает плечи, медленно опускает их, разворачивается и уходит в том же прогулочном темпе обратно, к бесконечным рядам машин. Мие в последний раз бросает взгляд на воду. Глубоко вздыхает, трет глаза и плетется за ним.

Андреас сидит на заднем сиденье и читает комиксы. Он никак не реагирует на приступ ярости и нежности со стороны Мие, отворачивает голову, когда она хочет взять его лицо в свои ладони, отдергивает руку, когда она пытается ее погладить. Сигне сидит рядом с ним и поглощает конфеты. Николай вытащил Младшего из автокресла, и теперь он висит у него на руках, в толстом комбинезоне он кажется непропорционально сложенным и одеревенелым. Руки беспомощно топорщатся, он начинает восторженно лепетать, когда ви-

дит Мие, пуская носом пузыри. Николай мягко и недоуменно смотрит на нее.

— Ты что, плакала? — спрашивает он.

Она сует руку к Тобиасу в карман и достает оттуда пачку сигарет.

— Эй, полегче, — говорит Тобиас.

Она поворачивается спиной к ветру и закуривает. Николай хмурит брови и отступает на шаг.

— Мать, ты чего это? — Тобиас вырывает пачку у нее из рук.

— Мие, послушай... — говорит Николай. — Мы же договаривались, что не будем курить.

Мие идет к залу ожидания. Он кричит ей вслед:

— Мие, не кури!

Она толкает дверь и садится на скамейку. Здесь пахнет застарелым холодным дымом. Две молоденькие девушки, хихикая, затягиваются от одной сигареты. Мие курит жадно, до тошноты. Тогда она идет в туалет и пьет воду из-под крана. В зеркале у нее опухшее от слез лицо, тушь и тени текут по щекам; кажется, что кто-то вывалил ей на голову содержимое пепельницы.

Когда она возвращается к машине, Николай уже завел мотор. Дети сидят на своих местах. Сигне дала Младшему леденец на палочке, и, судя по тому что в машине воняет тухлыми яйцами, кто-то испортил воздух. Мие открывает окно. Все молчат. Николай смотрит на нее изучающе, и Мие думает: все прошло. У него печальный взгляд. И потерянный вид. Она кладет руку ему на колено.

— Прости, — говорит она, хотя это совсем не то, что она собиралась сказать.

— С тебя сигарета, — говорит Тобиас.

Сигне заводит песню, раз за разом повторяя одни и те же две строчки, Андреас бьет ее по ноге, а Младший хватает ее за волосы и пытается засунуть их в свой липкий рот, раскрашенный леденцом в кислотно-зеленый цвет. Немного погодя Андреас и Сигне принимаются хохотать над зеленой рожицей Младшего. Они визжат, указывают на него пальцами и никак не могут остановиться, даже Тобиас снисходит до улыбки.

На пароме Андреас и Сигне получают деньги на игровые автоматы в обмен на обещание взять Младшего на детскую площадку рядом с автоматами. Тобиас исчезает с телефоном и банкой колы. Мие кормит Младшего овощным пюре из банки, а Николай идет за кофе. Паром качает. Когда дети заби-

рают Младшего, Николай садится рядом с Мие, обнимает ее и прижимает к себе.

— Любимая, — говорит он, и они сидят так, молча, рассматривая людской водоворот вокруг. Перед ними дымится кофе.

— Как там твоя мама? — спрашивает Николай. — Лучше?

Мие кивает. Кофе переливается желудке в такт тому, как кренится на сторону паром. Она голодна. Николай собирается еще что-то сказать, но неожиданно появляется Сигне с Младшим на руках.

— Он обделался, — говорит она. — И воняет.

Николай забирает у нее вонючего ребенка, Мие протягивает подгузник. Николай уносит Младшего, и она видит, как он улыбается мальчику, как целует его и шепчет что-то ему на ушко. Когда к столу подходит Тобиас, в первую секунду она его не узнает. Только когда он начинает говорить, она понимает, что это он.

— Мама, я уеду в пятницу. У Йоханнеса будет тусовка, и Ники возвращается домой.

Он садится напротив нее, кладет обе руки ладонями на стол, наклоняется к ней и смотрит прямо в глаза.

— Если ты не разрешишь, я все равно уеду. Просто предупреждаю. Я могу жить у папы.

— Он в Лондоне.

— У меня есть ключ.

Мие качает головой. Она успевает подумать, что все это закончится тем, что она разрешит ему уехать, и она не уверена, что это правильное решение. Тобиас резко встает и идет по своим делам. Как будто порыв ветра проходит сквозь камыш, а камыш растет в ней самой; она задерживает дыхание. Николай возвращается и сажает Младшего ей на колени.

— Тобиас уедет в пятницу, — говорит она.

— Я же говорил, — отвечает Николай. — Нужно было просто разрешить ему остаться дома.

— Ну ты же хотел, чтобы он на даче присматривал за мелкими?

Младший сует руку ей в рот и начинает ковырять губу маленькими острыми ногтями.

— Пока он не уехал, может сделать что-то полезное, разве нет?

Мие смотрит в стол. Очень хочется есть, в животе урчит.

— Любимая, — говорит Николай, убирая руку Младшего от ее рта. — Все ведь не так уж плохо получается, правда? Он побудет с нами несколько дней, потом уедет домой. И все останутся довольны.

Мие поднимает взгляд, он убирает прядь волос с ее щеки за ухо и обнимает ее за шею. Потом неожиданно целует, скользит языком по ее зубам, кровь приливает между ног, она запускает руку ему в волосы, Младший хнычет, он зажат между их телами, пытающимися прижаться друг к другу. В ту же секунду с площадки доносится громкий плач Андреаса — он подвернул левую ногу: спрыгнул с горки и неудачно приземлился.

Машина завалена обертками от конфет, игрушками и пустыми банками из-под колы. Тобиас сидит теперь на переднем сиденье, Мие втиснулась к детям на заднее. Она поет Младшему, Сигне ей подпевает. Андреас сидит между ними, бледный и молчаливый, Мие гладит его по голове. Николай и Тобиас впереди заводят разговор, до нее доносятся только обрывки в паузах между детскими песнями — что-то о спортивных соревнованиях, в которых, наверное, участвовал Тобиас, о чемпионате Европы по футболу и о том, сколько раз Николай прогуливал немецкий в первом классе гимназии. Немного развиднелось, но небо местами все еще черное, серо-черное, сине-черное или насыщенно лиловое. Мие поет и смотрит в окно на мокрые вспаханные поля с редкими вставками леса. Дорога вьется сквозь холмы. Она вспоминает, как мерзла, сидя на скамейке, когда ребенком проводила каникулы у маминой сестры. Она совершенно отчетливо чувствует гусиную кожу на руках, привкус соплей в своих волосах, видит перед собой бутерброд с шоколадной пастой, на который садятся мухи. Она сидит за покрытым клеенкой столом, справа от серванта, на гладкой деревянной скамейке, щиплет себя за колени и размазывает пасту по тарелке. Она хлюпает носом и сосет свои волосы, мухи садятся на ее голые ноги, она пытается их согнать, а из кухни слышно радио и стук сковородок и кастрюль. И внутри у нее то страшное, что тетя называет тоской по дому, — физическая тоска по маминому телу, желание прижаться к маминой ноге, обтянутой нейлоновым чулком, и к тяжелому бедру, протянуть руку и попытаться ее обнять. Желание чувствовать материнское дыхание, которое часто бывает кислым, но от которого не пытаешься увернуться, хотя это и неприятно, желание сидеть рядом с большим угловатым телом, ковыряя ранку возле маминого рта, так и есть, должно быть так, и вот тетя входит в гостиную, упирает руки в боки и спрашивает, сколько можно возиться с одним бутербродом. Мие скользит от себя-ребенка, сидящего на скамейке, к себе нынешней, сидящей в тесной машине, без возможности пошевелиться, с мокрыми ногами в резиновых сапогах,

сжимая соску Младшего в кулаке. От себя нынешней к ребенку и обратно. И только когда Сигне кричит:

— Ма-ам! Ты слушаешь вообще или что? — она наконец-то разжимает руку, так, что соска падает на пол, поворачивает голову и смотрит в негодующее лицо Сигне.

— Ты странная какая-то вообще, ты что, спишь тут?

— Не груби, — строго говорит Мие. Николай улыбается ей в зеркале заднего вида, она натянуто улыбается в ответ.

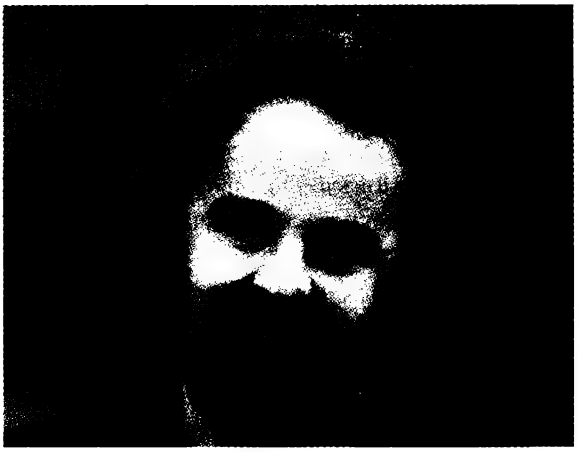
Они останавливаются у кафе в городишке в тридцати километрах от дачи. Андреас хромает, по лестнице его приходится нести. Сигне тут же принимается бегать кругами по газону, визжа от восторга. Николай и Тобиас идут покупать еду, а Мие пытается накормить Младшего, но он отвлекается и не сосет. Когда они садятся обедать, рука Николая скользит под ее блузкой, а она нащупывает под столом его член. Они смотрят друг на друга. Он зажмуривает глаза, ее пронзает сильное желание, он пытается просунуть руку в ее штаны. Младший начинает орать, он откидывается на спину стульчика. Он орет так громко, что люди вокруг в испуге оборачиваются, и она поднимается, вынимает его из стульчика и выходит с ним на улицу. Он глотает воздух между приступами оглушительного рева и с силой машет руками и ногами. Она ходит взад и вперед перед кафе, укачивая его и шепча ему успокаивающие слова, но это не помогает. Николай выходит из кафе с бутылочкой в руках, теперь они оба стоят на улице, они одеты легко и страшно мерзнут, пытаясь накормить ребенка. Он захлебывается молоком и начинает кашлять, кажется, что он вот-вот задохнется. Мие трясет его, и он опять, с новыми силами заходится бешеным плачем. Мие заглядывает в кафе, чтобы посмотреть, что делают дети за столом. Сигне и Андреас, похоже, поссорились из-за картошки фри. Сигне бьет Андреаса по голове, он хватает ее за волосы, они падают на пол. Мужчина из-за соседнего столика поднимается и пытается их разнять, пока его жена неодобрительно качает головой. Николай бежит к машине с орущим ребенком на руках, Мие взбегает по ступенькам кафе. Дети по-прежнему сидят на полу, Сигне рыдает. Андреас облизывает с пальцев джем. Пара за соседним столиком не сводит с нее глаз, пока она собирает плащи и сумки и кричит ничего не слышащему из-за наушников Тобиасу, что они уходят. Потом хватает Сигне и Андреаса и выгоняет их на улицу. Андреас хромает.

— Почему мы должны так рано уходить, я еще не доел, — ноет он.

— Отстань! — кричит Сигне, высвобождаясь из ее рук. — Я ничего не сделала! Что я сделала?

Младший продолжает реветь в голос и замолкает только через десять минут, все это время Сигне и Андреас сидят, зажав уши руками, и смотрят на Мие осуждающе. У Мие во рту остался пресный привкус жира и жидкого кофе. Уже почти стемнело. Она думает о том, какое это счастье — лежать, тесно прижавшись к Николаю. Как хорошо будет наконец-то добраться до дачи. Что это наверняка будут отличные каникулы, они побудут все вместе. Она думает, что придется искать врача, показать ногу Андреаса. Она смотрит на свои белые сложенные руки и чувствует, что сердце бьется чаще, когда она протягивает руку и сжимает плечо Тобиаса. Он оборачивается и удивленно смотрит на нее темными глазами. А потом звонит ее телефон. Голос в трубке говорит, что это по поводу ее матери. Она умерла.

Миленко Ергович



Рассказы из книги "Мама Леоне"

Перевод с хорватского и вступление Е. Солодовниковой

Имя Миленко Ерговича еще не так широко известно российскому читателю, в то время как в странах бывшей Югославии, в Западной Европе и даже далекой Азии книги этого автора получили заслуженное признание. Сегодня Ерговича считают ведущим хорватским прозаиком нового поколения. Его произведения переведены на английский, итальянский, французский, турецкий, болгарский, испанский, каталанский, немецкий, македонский, венгерский и корейский языки. Наиболее известна и чаще всего переиздавалась книга "Сараевское Мальборо"[1] — сборник рассказов о страшной войне и судьбе родного города писателя — Сараево, ставшего символом той войны и незаживающей раной в сердце Ерговича.

Родившийся в Боснии, хорват по происхождению, Ергович последние годы живет и работает в столице Хорватии Загребе, но его связь с родными местами никогда не прерывалась. С любовью и пронзительной ностальгией он пишет о стране своего детства и юности, о той стране, которой больше нет и уже никогда не будет, как и ее названия, исчезнувшего с географических карт.

В 1999 году вышла в свет книга "Мама Леоне", составленная из множества рассказов, как и принесшее успех "Сараевское Мальборо". В первой

© Europapress holding D.O.O., 2006
© Е. Солодовникова. Перевод, вступление, 2010

1. В "ИЛ" (2006, № 10) публиковались рассказы из этого сборника.

части книги "В момент моего рождения залаяла собака в коридоре роддома" автор описывает свое детство, родню, друзей дома, соседей, летние месяцы в Далмации. Во второй части, озаглавленной "В тот день завершалась история одного детства", читатель знакомится с судьбами беженцев из Сараева, рассказанными одним из них, то есть самим Миленко Ерговичем. Здесь нет вымысла, только пережитое им самим или близкими людьми. Эта книга о поколении, навсегда опаленном войной.

"Мама Леоне" получила престижную литературную премию Гринцаны Кавур как лучшая книга иностранного автора, вышедшая в Италии в 2002 году.

Вниманию читателей "Иностранной литературы" предлагаются два рассказа из этой книги.

Давайте еще раз сфотографируемся все вместе

БЫЛО ли это черешневое дерево, которое полыхало красным, как только я закрывал глаза, или что-то совсем другое, а может, в тот момент у меня просто была высокая температура, сейчас я уже не помню. Если все же это была черешня, значит, на дворе стоял июнь, точнее, вторая его половина, когда дерево в нашем саду начинало плодоносить с обычным отставанием на месяц от теплой Герцеговины. Наше дерево стойко переживало холодные зимы, и отсрочка всего лишь на месяц вполне могла свидетельствовать о его героизме. Но вряд ли надо зацикливаться на черешне и на конкретном времени года, ведь суть рассказа от этого не изменится, лучше снова пересмотреть все наши старые фотографии.

В майках или рубашках с короткими рукавами все мы стоим или сидим на корточках на нашей террасе: мои дядя и тетя, родственница Весна с мужем Пертти, моя мама, бабушка и я. На других фотографиях только дядя с тетей, на некоторых Весна и бабушка, где-то мама и бабушка, где-то бабушка и я. Если б я показал вам эти карточки, ничего заранее не рассказав, вы бы подумали о нас, как о странной семейке, которая своим главой, или, если хотите, *гуру*, выбрала бабушку, которая занимает центральное место на всех фото, а для всех остальных важно только одно — запечатлеться для истории рядом с ней. Может, такое предположение и недалеко от истины, но об этом я говорить не буду, так как очень люблю свою бабушку, и какой же тогда интерес продолжать мой рассказ дальше?

Было воскресенье, я отчетливо помню, как в этот день, к нам всегда приходили гости. Вероятно, в семье существовала

эта традиция еще до моего рождения, многие годы она трепетно сохранялась и осталась неизменной. Но точно я этого не знаю, да и неважно это. Главное, что гости приехали отовсюду, можно сказать, со всех концов света: дядя и тетя прибыли из Москвы, где дядя занимал престижный пост представителя металлургического комбината города Зеницы, Весна приехала из Хельсинки, где они жили вместе с ее мужем Пертти, а он сам добирался к нам не из Финляндии, а вовсе из Владивостока. Уж не знаю, что он делал в этом Владивостоке, помню только, как бабушка сказала: *бедный, он побывал на краю света.* Отчего-то она думала, что на краю света все должно быть намного хуже, чем в менее отдаленных от него местах.

Мы обедали, громко разговаривали, и никто никого не слушал, тетя время от времени называла меня Мики, глубоко уверенная в том, что у каждого ребенка должно быть домашнее прозвище. Я вдруг приобрел дополнительные привилегии, так как помимо своего имени неожиданно получил еще и это.

Каждый раз, когда тетя обращалась ко мне, называя Мики, бабушка бросала на меня укоризненный взгляд. Она приняла в штыки данное теткой прозвище, но лично моей вины в этом не было никакой.

Дядя разлил по стаканам виски, который привез из Москвы, *это из "Березки"*, в *"Березке" покупают только иностранцы*, а потом вдруг хлопнул себя по лбу: *ух, проклятье, я забыл фотоаппарат.* Нас это не особенно огорчило, ну забыл и забыл. Мы продолжали разговаривать, и дядя тоже, но после каждой пятой фразы он сокрушенно вспоминал о фотоаппарате, говоря что-то типа: *какой я олух, что забыл его*, или: о *чем я думал, когда мы собирались в дорогу.* Вскоре и мы уже начали огорчаться из-за того фотоаппарата, и я тоже изо всех сил делал вид, что расстроен. Я хотел было рассказать, как однажды забыл кеды перед уроком физкультуры, но меня никто не захотел выслушать.

Давайте позовем Добру, у него есть фотоаппарат, сказала мама, сняла телефонную трубку, и через пятнадцать минут появился мой папа с фотоаппаратом, в который уже была заряжена пленка. После этого дядя перестал нервничать, все остальные тоже успокоились, дядя угостил папу виски, еще раз вспомнив о "Березке", и произнес: *а сейчас все на террасу, там больше света.* Все послушно вышли, может, опасаясь, что он снова расстроится, если мы вдруг не захотим фотографироваться. Фотографом вызвался быть папа. Он снимал нас во всех возможных вариантах и комбинациях, а вот его самого сфотографировать никому не пришло в голову. Только он один не сфотографировался с бабушкой. Я хотел спросить, почему папу никто не сни-

мает, но вовремя прикусил язык. Когда у тебя родители в разводе, всегда лучше в нужный момент промолчать, чтобы ненароком не сболтнуть что-то, от чего старшие начнут краснеть или пытаться чем-то тебе угодить, а ты будешь себя ощущать как пирог с кремом, который целый день простоял на солнце, а его все нахваливают *ой, какая вкуснотища.*

Вообще-то я знаю, что бы произошло, спроси я, по какой причине никто не щелкнет и моего отца. Даже если папа снялся бы с бабушкой, то эти кадры либо не напечатали бы в лаборатории, либо никто не захотел бы их забрать.

На следующей неделе гости вернулись в Москву и Хельсинки, оставив нам три комплекта фотографий, по одному — маме, бабушке и мне. В принципе нам хватило бы и одного, так как жили мы вместе и не стали бы отнимать фото друг у друга, но тут, видимо, была некая особая причина. Мама принесла альбомы, разложила карточки, и уже на следующий день мы напрочь забыли о том, что снимались.

Тринадцатого декабря того же года в полтретьего ночи зазвонил телефон.

Проснулся я с первым звонком. С закрытыми глазами напряженно ждал, что же случится дальше, второй звонок, третий, четвертый, пятый, потом сонный голос мамы *алло,* и сразу без намека на сон *да,* никогда так быстро она не пробуждалась — *да... слышу... да... да... когда... как он... прямо на месте... о, Боже мой... хорошо... ничего* — и повесила трубку, не попрощавшись. Зашла ко мне в комнату, включила лампу, я открыл глаза, щурясь от яркого света. Мамино лицо внезапно осунулось и посерело, голос ее прозвучал так, будто она несколько дней брела по пустыне без капли воды: *мужайся, Весна погибла.* Меня обидело то, что она сказала: мужайся. Это была первая смерть в семье, которая пришлась на мой сознательный возраст. Мне исполнилось одиннадцать лет.

Не знаю, как она нашла в себе силы сообщить бабушке о том, что погибла ее внучка, но потом мама говорила, что очень боялась за бабушкино сердце. Мы все были убеждены в том, что у бабушки слабое сердце. Об этом мы знали от врачей, но на деле оказалось, что они не правы. Ее сердце могло бы выдержать все то, что не перенесло бы самое крепкое сердце на свете. Оно переваривало тоску, как огромная змея кролика, и продолжало биться дальше, на ее лице ничего не отражалось, только иногда она могла дать волю слезам, когда смотрела телевизор. Она просто разрешала им течь. Без всхлипов...

Наутро мы втроем отправились в Зеницу. Все соболезнующие семье Весны собирались в квартире дяди, зеркала были затянуты черной тканью, и дом был полон незнакомых лю-

дей. Мама бросилась в объятья к брату. Бабушка крепко держала меня за руку.

Я уже был достаточно взрослым, чтобы сориентироваться в ситуации, но в то же время слишком мал, чтобы протянуть дяде руку и произнести одну из не очень привычных фраз, которые звучат только в подобных случаях. Ощущал я себя крайне странно и неловко. Обстановка в дядином доме меня просто-напросто подавляла.

Я молча сидел в кресле и мечтал о том, чтобы все поскорее закончилось. Люди по очереди плакали, дядя был совершенно потерянный, то и дело раздавался звонок в дверь, кто-то входил, пожимал руку дяде, а он снова и снова заливался слезами. Это неизмеримое количество слез старших испугало меня, я вдруг почувствовал, что начал бояться жизни, точнее своего взросления в такой жизни. Из-за тех слез дяди я потом долго не мог плакать.

На самом деле, не плакал я вплоть до начала войны, а потом уже мог расплакаться чуть ли не по любому поводу. Если мне велят заплакать через пять секунд, я это сделаю ровно через заданный отрезок времени. В этом можете не сомневаться. Если вам потребуются слезы, смело обращайтесь ко мне за этим. Но я никогда не признаюсь вам, откуда они у меня берутся. Это моя тайна, "секрет фирмы", как, например, у факиров, лежащих на гвоздях, так и у меня имеется свой рецепт относительно плача. Хотя это совсем другое, а в тот момент я неподвижно сидел в кресле и старался не смотреть на заплаканное лицо дяди, другим его лицо я уже не представлял.

О Весне я как-то не думал, хотя и должен был, так как любил ее. Она была старше меня на пятнадцать лет, и поскольку у меня не было ни сестер, ни братьев, она была мне сестрой. Когда-то кто-то сказал: дочь дяди. Так вот — она была мне как сестра, и так я к ней относился, пока она была жива. А когда она погибла, я опять стал единственным ребенком своих родителей.

Уже наступила ночь, когда перестали приходить люди и разошлись все те, кто не входил в ближний скорбный круг. А я все продолжал сидеть в кресле. Лицо дяди было пунцовым, на лбу вздулись жилы, рядом с ним сидела тетя, которая не плакала, напротив сидела мама, и она не плакала, только вдруг сказала бабушке: *мама, иди ложись.*

Бабушка, не проронив ни слова и без единой слезинки тихонько ушла в комнату. Единственный раз в моей жизни она вышла куда-то, даже не посмотрев в мою сторону.

Дядя снова заплакал. Начал говорить сквозь слезы: *дитя мое дорогое, нет тебя больше, я думал сфотографироваться всем вместе еще раз, пока жива бабушка, дитя, дитя, дитя мое...*

Он спрятал лицо в ладонях и весь затрясся от рыданий, а тетя обняла его, как маленького ребенка или мужчину, которого любят. Это мгновение должно было бы стать потрясением для кого угодно, но я не проникся жалостью, даже наоборот, я больше не мог его любить, я говорю сейчас о дяде, который только что дал мне понять: в мире взрослых это вполне допустимо, но в том мире, в котором жил я, это было просто невозможно.

Он хотел всех запечатлеть на фото с бабушкой, так как считал, что ее скоро не станет. Предположив ее близкую кончину, он будто убил ее, а нас всех хотел заснять с близким человеком, которого уже нет на свете, но он проявляется, как голограмма, проникая в наши сердца, остается на фотопленке и исчезает, как те сны, о которых не вспоминаешь, когда проснешься.

Мир взрослых в тот день, когда мы скорбели о Весне, был миром ужаса. Дяде я, разумеется, простил его предательство, но те фотографии никогда не любил. Глядя на них сейчас, я вижу только бабушку, ее лицо, которое не умело обманывать, вижу нас всех улыбающимися, а выходит, в тот момент мы были на ее похоронах, будто живой ее в землю закопали, только ради того, чтоб сохранить на память фотографии вместе с нею. И ведь никому в голову не пришло, что и моя бабушка боится смерти и что наступит день, когда она покинет нас навсегда.

Я смотрю на руку Весны, которая обнимает бабушку. Эта рука на бабушкином плече очень молода, таким молодым я уже никогда не буду. Я сегодня старше той руки уже на пять лет. И это тоже обман и предательство. Как я могу быть старше своей сестры, если она родилась на пятнадцать лет раньше? Я боюсь, ужасно боюсь, что и я однажды смогу поступить так, как поступил тем летом мой дядя, когда так ярко полыхало красным — то ли черешневое дерево, то ли что-то совсем другое. Или я уже это сделал, когда позволил себе стать взрослее Весны?

Небо особенно красиво, когда оно под ногами

МИР гораздо красивее, если его перевернуть. Небо оказывается под ногами, и по нему можно ходить, а островерхая крыша нашего дома в Дрвенике втыкается в облака, и кажется, что дом в любой момент может завалиться набок, так как стоит на одной точке опоры, там, где соединяются два черепичных крыла. Но дом не падает, ничего не происходит, только я хохочу и загадываю, чтоб так бы-

ло всегда и чтоб небо осталось под моими босыми ногами, чтобы их щекотали облака, а я бы мог прогуливаться по солнцу, как по раскаленному асфальту в августе, а ночью меня бы слегка покалывали звезды, как галька на пляже Брача[1] или песок на стройке дачи Исмета Бркича. Пусть так будет всегда, я смеюсь и воплю: *нет, нет, не опускай меня*, но дядя Момчило меня не слушает, все завертелось перед глазами, сделало два кульбита и встало на место. Под ногами бетон нашего двора, небо высоко над головой, а наш дом вырастает, как и все другие — от стен к крыше, и еще дальше, туда в высоту, где все становится тоньше и мельче, так как на этом свете все широкое находится внизу, а все узкое наверху, и так будет до тех пор, пока я не упрошу дядю Момчило вновь перевернуть меня и как следует встряхнуть, чтоб я опять увидел, как закрутило небо и землю, но ничто никуда не падает, наоборот, все так красиво и устойчиво, и никакая боль не сможет отвлечь от этого чуда перед твоими глазами.

Дядя Момчило в прошлом был полковник, но уже лет двадцать с лишним он военный пенсионер. Когда он вышел на пенсию, он был моложе, чем моя мама сейчас. Бабушка говорит, что это все *из-за Джиласа*[2], притом произносится это таким тоном, что и дурак догадается — глупых вопросов лучше не задавать, а то и сам кончишь *как Джилас*, потому что рассердил ее и поставил в неловкое положение. *Как у Джиласа* для меня означает — крайне неприятная ситуация, и так будет всегда, даже когда я вырасту. Если происходит что-то подобное и мне, увязшему в проблемах, не остается ничего другого, как пожать плечами и ждать, что же будет дальше, я всегда думаю: *ну, вот опять*, все *как у Джиласа*. И сразу становится легче, потому что я вспоминаю дядю Момчило, который первым показал мне, как красиво небо у тебя под ногами.

Дядя Момчило выстроил дом рядом с нашим. Но он у него не старый далматинский, а обычный, куда он летом селит отдыхающих. *Какая же тут эстетика*, ворчит бабушка, *кто раз нюхнул казармы, и дачу построит по ее образу и подобию*. Я не понимаю, о чем речь, а чего не понимаю, то и запоминаю с трудом. Я сижу на полу и строю дворец для Заборавки[3], и повторяю за бабушкой: *кто раз нюхнул каРАЗмы, и дачу построит*

1. Брач — остров в Адриатическом море. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Милован Джилас (1911–1995) — югославский политический деятель и литератор, соратник Иосипа Броз Тито, бывший Председателем Союзной народной скупщины — парламента Югославии. В результате возникших разногласий с Тито в конце 1956 г. получил тюремный срок и в общей сложности провел за решеткой семь лет.
3. Заборавка — персонаж детской сказки.

по ее образу и подобию... Замолчи, бесенок, и не вздумай болтать об этом, если услышу, на порог не пущу больше. Кроме того, говорится не каразма, а казарма.

Вот ведь она какая: скажет что-то, а если я повторю за ней или спрошу о чем-то, она мне грозит, что в дом не пустит или поколотит.

У дяди Момчило есть жена Мирьяна. Еще у него есть сын Бобан, правда, видел я его один раз в жизни. Бобан маленький, толстый, у него крикливый голос, и сам он совсем не похож на взрослого, хотя у него есть работа, и он ездит на зеленом "фиате 1300". Тетя Мирьяна печет лебац и варит пребранац. И то, и другое — самая вкусная еда на свете. Когда я спрашиваю: *тетя Мирьяна, а когда будет лебац?* — ей это приятно, и уже на следующий день она приносит лебац, а бабушка сердится и говорит: *вот ведь бесенок, женщина подумает, что ты хлеба не ешь досыта*, а я ей отвечаю, что хлеб и лебац — разные вещи. Хлеб продается в магазине самообслуживания, а лебац пекут в печке. Бабушка говорит, что лебац и есть хлеб на самом деле, и хлеб по-сербски то же самое, что и крух по-хорватски, только hleb покупают в Белграде, а kruh здесь в Хорватии. Она меня не обманывает, я это знаю наверняка, но я не верю в то, что разные слова могут обозначать одно и то же. Например, от слова "лебац" у меня сразу начинает сосать под ложечкой, а от *круха* со мной ничего не происходит.

Тетя Мирьяна научила меня ходить. Было мне девять месяцев, и я впервые оказался в Дрвенике, бабушка готовила обед, мама уехала в Макарску за чеками, а тетя Мирьяна отнесла меня к ним во двор. Держала меня за руки и говорила *айде левая ножка, айде правая ножка, айде левая ножка, айде правая ножка*, а потом как закричит: *Ольга, Ольга, Миленко пошел*; бабушка выскочила с ножом для чистки рыбы и сказала: *ух, ну надо же, чтоб Яворка именно сейчас уехала в Макарску... Давай не скажем ей, когда вернется*, предложила тетя Мирьяна. *Даже не думай, разве так можно? От матери таких вещей не скрывают*, заключила бабушка.

Мама вернулась на автобусе после полудня, тетя Мирьяна сказала ей: *взгляни-ка* — ухватила меня за кончики пальцев, а я и пошел себе. Мама расплакалась и взяла меня на руки, *мой сын, мой большой сын*, ну, тут уж и я разревелся. Вероятно, мама плакала от счастья, а отчего я сам, не знаю, я себя и не помню еще в то время.

Сейчас все говорят, что тетя Мирьяна научила меня ходить, и всем это кажется крайне важным, хотя для меня намного важнее тот самый лебац, а также то, что дядя Момчило научил меня видеть мир вверх ногами.

Жаль, если люди встречаются раз в году, они тогда друг для друга слишком быстро стареют, сказал дедушка. *Франьо, хотите верьте, хотите нет, Вы совсем не постарели*, сказал дядя Момчило. *Ну да, наш Франьо мумифицировался, как Тутанхамон*, сказала бабушка.

Но и вы, госпожа Ольга, с возрастом все интереснее... Будет вам, Момчило, морочить голову пожилым дамам. Каждую морщинку я ношу, как напоминание, а мне, знаете ли, есть о чем вспомнить, и каждая из них с чем- то связана.

И все это повторяется каждый год, хотя сначала про деда сказали, что он мумифицировался, как Тутанхамон, потом высох, как старая слива, а после забальзамировался, как Ленин, но все остальные реплики оставались без изменений. Все лгут, и всем это даже приятно, мне и самому порой нравится приврать, только на меня они сердятся за ложь, а их воспитывать некому.

И я не в праве осуждать их, потому что вижу, как грусть затаилась в уголках губ бабушки, в глазах дяди Момчило, на носу у деда. У каждого тоска проявляется в том месте, где она особенно видна, а горюют они оттого, что видят, как стареют их близкие и они сами.

Для взрослых старение – это повод, чтобы загрустили губы, глаза и носы, так как они свято верят в то, что лучше всего быть ребенком, и никому не дано их переубедить.

Мы не одни приехали, сказал дядя Момчило. *Вместе с нами Момир*, сложила руки тетя Мирьяна. *Кто такой Момир?* Они, видимо, думали, что я занят строительством дворца для Заборавки, быстро переглянулись, дед пожал плечами, тетя Мирьяна приподняла брови, а бабушка сказала: *знаешь, у тети Мирьяны и дяди Момчило теперь есть внук.*

Подумаешь, холодно отозвался я и продолжил работу над постройкой дворца, и вот уже целых три секунды его укрывал глубокий снежный покров.

Я не хочу его видеть, мне нет до него никакого дела...

Но почему не хочешь? Это же младенец, малыш Момир...

Ну и что? Вы идите, а я не пойду...

А тетя Мирьяна испекла лебац...

Ну и пусть, я не хочу есть, мне это неинтересно.

И бабушка с дедом ушли посмотреть на маленького Момира, а я остался со своим дворцом, а вокруг стало тихо-тихо. Я в жизни не слышал такой пронзительной тишины. Только где-то жужжала большущая летняя муха, и еще громко и нервно дышал я. Уставившись в стену, я напряженно вслушивался. Вдох, выдох, опять вдох и выдох до тех пор, пока вдох не сделался коротким и прерывистым, а выдох долгим, и все вдруг стало мокрым от слез. Я подумал про лебац, который вряд ли

когда-то еще попробую. Я остался один-одинешенек, только это больше не было одиночество, смешанное со страхом, страх заменила грусть. У меня загрустили губы, глаза и нос. Я весь, каждой клеточкой своей, затосковал, так как у меня никого не осталось, ведь все ушли смотреть малыша Момира.

Когда дед с бабушкой вернулись, я понуро сидел в кладовке, где дядя хранил весла и лодочный мотор. *Вот, это тебе тетя Мирьяна послала*, сказала бабушка и протянула мне лебац, завернутый в белую тканевую салфетку. Я взял его в руки и прижал к груди, ощущая, как он меня греет. Он был горячий и увесистый, но я не хотел есть этот лебац. В таких случаях мне не до еды. Я могу только рассматривать кончики пальцев на ногах и слушать свое дыхание, качать головой в ответ на любой вопрос и чувствовать себя ржавым куском металла, к которому даже свою лодку никто никогда не привяжет.

Хочешь погулять по облакам? — дядя Момчило пришел, как только я проснулся.

Я смотрел ему прямо в глаза и ничего не отвечал.

Конечно, хочешь. Это ведь между нами. Никто больше не знает, как это здорово...

Хочу, только пообещай мне кое-что...

Все, что в моих силах, могу тебе обещать, только имей в виду, что я не Блек Стена и не комендант Марк[1] *...*

Обещай мне, что ты никогда не покажешь Момиру, как гулять по облакам.

Дядя Момчило задумался, ухватил себя за нижнюю губу (он всегда так делает, когда думает) и сказал:

Знаешь, это довольно непростое дело. То есть ты меня опередил, так как и я хотел попросить тебя об одолжении, но теперь не нахожу слов...

Значит, не можешь мне обещать...

Да нет, тут речь совсем о другом. Мне понадобится твоя помощь, но как тебе сказать об этом...

Обещай мне, что ты никогда не покажешь Момиру, как гулять по облакам.

Я повторил еще раз уже сказанное мною — слово в слово, медленно, так как мои вдохи вновь стали прерывистыми, а лицо дяди Момчило начало распадаться на тысячи частей, и в него врезались солнечные блики, те самые, от которых так хочется плакать в ясный летний день.

1. Блек Стена и комендант Марк — персонажи комиксов, которые были чрезвычайно популярны в СФРЮ. Историями об этих "супергероях" зачитывались школьники. Сегодня захватывающие приключения и подвиги бесстрашных Блека и Марка активно переиздаются.

Конечно, я тебе обещаю, но просил бы, чтобы и ты мне кое-что пообещал...

Объясни, о чем ты?

Видишь ли, я уже пожилой человек, а когда Момир подрастет, буду еще старше и слабее, у меня не будет сил, понимаешь, так вот, я бы хотел тебя попросить об одолжении... Если это тебя не затруднит...

Ну говори, чего ты от меня хочешь, — я старался быть серьезным, видя, что дяде Момчило никак не дается эта просьба, а выходит, что, кроме меня, ему в этом деле помочь никто не может.

Хотел попросить тебя, чтобы ты иногда прогуливал Момира по облакам. Ты уже будешь взрослым и сильным и сможешь это сделать, а тебя я прошу об этом потому, что больше некого, а если б и было кого, то просить мне было бы очень неловко. А тебя ведь научил я, не так ли?

В тот вечер я расставил акценты в своих жизненных приоритетах в следующем порядке: нужно быть сильным, очень сильным, настолько сильным, чтобы маленького Момира, когда он чуть-чуть подрастет, научить гулять по облакам, потому что его дед будет не в силах сделать это сам по двум причинам: во-первых, он мне дал слово, что не будет учить внука этим чудесам, а во-вторых, люди, старея, теряют силы и в один день сами превращаются в детей, которых самих надо многому учить, в частности, как прогуливаться в облаках, только никому не придет в голову ухватить старца за лодыжки и перевернуть вниз головой. Многие на первый взгляд малопристойные вещи могли бы сделать мир гораздо счастливее. Я не говорю об отрыжке, например, так как это вряд ли могло бы кого-то осчастливить, кстати, из-за нее запросто можно и по физиономии схлопотать за обедом, я думаю о тех маленьких чудесах, которые старикам запрещены. Мой дед точно был бы очень доволен, если б его кто-то взял и перевернул вниз головой, чтобы он еще раз увидел, как красиво небо под ногами.

Я решил, не откладывая, пойти к тете Мирьяне и дяде Момчило, чтобы взглянуть на малыша Момира и постараться поточнее оценить, сколько еще времени осталось до начала обучения их внука прогулкам по облакам.

Мирча Кэртэреску

Рассказы

Перевод с румынского и вступление А. Старостиной

Мирча Кэртэреску принадлежит к поколению "восьмидесятников" в румынской литературе. Из знаменитых кружков Николае Манолеску и Овида Крохмэлничану, критиков и мэтров отечественной словесности, вышла целая плеяда ярких постмодернистов, среди них Мирча Неделчу, Кристиан Теодореску, Сорин Преда, Джордже Кушнаренку и другие (имена, мелькнувшие в "ИЛ" в1984-м, и в сборниках румынского рассказа: Худож. лит, 1986; Радуга, 1990). Восьмидесятые годы прошлого века, разгар "эры Чаушеску", — это голод с ночными очередями у черного входа в магазины, чуть теплящиеся зимой батареи в домах, засилье тайных агентов, гнет цензуры: обычный набор условий для расцвета литературы в странах соцлагеря. В отсутствие сколько-нибудь пристойного материального уровня художникам, которые не хотели сотрудничать с властью, ничего не оставалось как жить духом, так что Мирча Кэртэреску начинал жизнь в искусстве, пребывая в иных сферах, в перекличке с великими умами прошлого, в снах, на пересказе которых строил добрую часть своих сочинений, в постоянном оттачивании стиля — классический образ поэта. В самом деле ему не было равных по изощренности и красоте слога, и, начиная с дебюта, Союз писателей и Академия присуждали ему премии чуть ли не за каждую книгу. И революция мало что изменила в его творчестве. Поэма-эпо-

© Mircea Cartarescu 2004/2006
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2008
© А. Старостина. Перевод, вступление, 2010

пея "Левант" — чисто формалистическое явление, так же как сборник новелл "Ностальгия", которыми он встретил Новое время в истории Румынии после 1989-го. Чего угодно, только не разворота к коммерческому успеху, можно было ждать в судьбе этого авангардиста, не озабоченного тем, чтобы подстраиваться под вкусы публики. Книга в трех томах "Ослепительный" (1996—2007), жанр которой трудно обозначить, уводит в дебри психоанализа, в остроту чувств ребенка с его дотошным вниманием к физиологии, вокруг которой автор кропотливо воздвигнет самые причудливые умственные конструкции. Нелегкое чтение. Так что если Кэртэреску и "вытолкнуло на рынок", то скорее именно тем сборником, из которого взяты представляемые здесь рассказы и который носит завлекательное название "За что мы любим женщин". Особую пикантность книге придает тот факт, что ее реальные героини известны в литературных кругах Румынии. Перед нами собрание исповедей о сексуальной жизни автора образца "все на продажу". Если принять во внимание, что две трети этих историй опубликовал журнал "Elle", то можно, пожалуй, заключить, что автор не просто перестал гнушаться mass culture, но и что ее расхожая тематика ему по плечу, чем не всегда могут похвастаться большие поэты. Что касается духа книги, подхода к проблемам пола, то он ощутимо подростковый, сэлинджеровский. С приправой местного колорита, на подложке мировой культуры (Пруст, Ален-Фурнье, Генри Миллер), автор создает мифологию своей жизни, центрированную вокруг женщины. Что может быть в глазах публики любопытнее, чем личная жизнь писателя? Если же в его исповеди присутствует крайняя откровенность, юмор, налет китча, и если конкретность сдобрена мистикой, то такую исповедь книжный рынок принимает как вполне конкурентоспособную.

Пресса разделилась на два лагеря. Кто-то не на шутку шокирован — в румынской литературе, как и в русской, сильна традиция целомудрия. Возмущены феминистки. Уже существует пародия под названием "За что мы любим мужчин". Кто-то рьяно, с боевым кличем "Руки прочь от Кэртэреску!" защищает автора. Привкус скандальности добавляет книге очков. Кэртэреску же, как следует из недавнего интервью с ним в румынской прессе, полагается на свой внутренний счет и ищет золотую середину между рыночным и "нетленкой".

Международная репутация Мирчи Кэртэреску высока, и список переводов его книг на полтора десятка языков внушителен. В 1992 г. его номинировали во Франции на премию Медичи за лучшую книгу зарубежного писателя-авангардиста. В 2005-ом он получил премию Ачерби в Италии. В апреле 2010-го произведен в кавалеры французского ордена искусств и литературы.

Представляемая здесь подборка — первая публикация пятидесятичетырехлетнего автора в России. Книгу "За что мы любим женщин" готовит к печати издательство "Ад Маргинем".

Маленькая негресса

Я прошу утонченных читательниц этой книжки не наклеивать на меня вот так, сразу, ярлык зануды-педанта за то, что я начну с цитаты. В отрочестве у меня была дурацкая привычка говорить цитатами, из-за чего обо мне сложилась дурная слава в Кантемировском лицее. Одноклассники таскались в школу с десятикилограммовыми магнитофонами, ставили музыку и танцевали на уроке французского, пока наш учитель, тронутый тип, собирал в круг девочек и учил их, как называются по-французски все самые свинские вещи... Парочка учеников на задней парте листали шведские порножурналы... Один я, живущий исключительно в мире книг, норовил выписать на доске цитаты то из Камю, то из Т. С. Элиота, которые никак не вязались с разгульной атмосферой нашего облупленного и пропыленного класса. При виде этих цитат училки, сидящие нога на ногу за кафедрой, так что подолы их сарафанов задирались чуть ли не до ляжек, даже не давали себе труда скривиться или презрительно фыркнуть. Они привыкли. Они смотрели сквозь меня, как будто меня не было вовсе, и так я пролетел лицей: чудила в обтрепанной форме, который пишет какую-то заумь на доске и разговаривает с каштанами у ямы для прыжков в длину. Я говорил цитатами не из снобизма и не для того, чтобы придать себе веса (придать себе веса можно было только рок-музыкой и списком подружек, которых ты поимел, все остальное в счет не шло), а потому, что до безумия влюблялся в тех, кого читал, влезал в их шкуру и считал, что только те слова, что они некогда произнесли, выражают фундаментальную истину о мире, все же остальное — пустая болтовня.

Время шло, а я оставался все тем же jerk[1], которому все равно, во что одеваться, что есть и что произносить за кружкой пива или на коллоквиуме, однако я научился быть поосторожнее, по крайней мере, в двух вещах. Первое — это пересказ снов (но об этом у меня еще будет случай поговорить), второе — именно цитирование любимых авторов. И то, и другое наводит смертельную скуку как на письме, так и в любом разговоре, и создает тебе репутацию типа, с которым невозможно общаться. При всем том бывают минуты, когда мне кажется, что еще секунда — и я умру, если не перескажу свой сон или не извергну из себя цитату. Я, например, не

1. Придурком (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

представляю себе этих страниц без цитаты из Сэлинджера, которого я люблю и которым восхищаюсь больше всего, — она должна быть в начале, как будто рассказик состоит из нескольких вагончиков, а цитата работает локомотивом. Я чувствую, что не смогу говорить про стиль, про то, что значит иметь свой стиль, если не начну точно так, как начну.

Сначала мне казалось, что этот фрагмент я вычитал в "Тебе, Эсме, — с любовью и всякой мерзостью", но, к своему удивлению, нашел его в "Человеке, который смеялся". Вот что говорит Сэлинджер, прерывая рассказ о детях, которых везет развлекаться шофер пикапа и травит им историю за историей, как выпуски американских комиксов — про Человека-паука и Человека-летучую мышь: "Сразу, без раздумья, я вспоминаю только трех девушек в своей жизни, которые с первого же взгляда поразили меня безусловной, безоговорочной красотой. Одну я видел на пляже в Джонс-Бич в 1936 году — худенькая девочка в черном купальнике, которая никак не могла закрыть оранжевый зонтик. Вторая мне встретилась в 1939 году на пароходе, в Карибском море, — она еще бросила зажигалку в дельфина. А третьей была девушка нашего Вождя — Мэри Хадсон[1]".

Не стану сейчас пускаться в объяснения, почему эти flashes[2] чистой красоты так замечательны в литературном отношении (притом что кажутся на первый взгляд банальными), оставляю локомотив, как есть, и перехожу к вагонам, и первый вагон — тем более удивителен, что это самый настоящий вагон, в прямом смысле слова. Потому что именно в вагоне метро я встретил ту — вообще-то мне был дан шанс видеть ее несколько минут, — что осталась в памяти до сих пор самой красивой женщиной в мире. Может, конечно, ее великолепие смешалось в моем мозгу с неправдоподобием карусели на океанском берегу, с морскими львами, налезающими друг на друга у дебаркадера, с человеком-статуей, застывшим на постаменте (такое я увидел в первый раз, отсюда — идея целого эпизода из "Ослепительного"[3]), с бесконечными магазинами бижутерии, увесившими набережные золотыми цепочками, с автоматами, куда вставляешь центовую монетку, а ее тебе возвращают расплющенную в эллипс, с огромными секвойями Редвуда... С улицами, которые идут то вверх, то вниз, и с пальмами, лениво метущими небо (чье, пора уже раскрыть

1. Перевод Риты Райт-Ковалевой.
2. Кадры, вспышки (*англ.*).
3. Роман Мирчи Кэртэреску, построенный на описании снов.

тайну) Сан-Франциско — города, построенного вокруг маленькой негрессы из метро, по образу и подобию ее красоты.

Я жил на самом деле в Беркли, и каждое утро покидал этот пригород, где был свой "Кмарт" и свой "КейЭфСи", и садился в метро, которое доставляло меня, под океанским заливом, прямо в самое сердце Фриско. В 1990-м я был еще патлатым пареньком в коричневой кожаной куртке, который шляется по улицам, руки в карманы, воображая, что идет по следам Ферлингетти и Керуака. Метро, знаменитый Барт, само по себе создает впечатление изысканности. Какой контраст с мизерабельным, в грязи, масле и саже, нью-йоркским — зловещим пейзажем антиутопии! Легкий и белый, как молоко, Барт проходит под океаном так плавно, что его своды становятся стеклянными постепенно, и сквозь них виден зеленый, мутный свет моря и мельтешение серебристых рыб. Однажды утром, подремывая в его вагоне на пластмассовом стуле, я вдруг увидел ее. И не я один. Все до единого в этом ярко освещенном вагоне смотрели на нее.

Я не заклинен на негритянках. Я встречал трех-четырех на разных приемах — женщины как женщины, точно так же как китаянки и аравитянки. Стоит ли говорить, что у меня не было ни одной любовницы настолько экзотической, чтобы ее цвет кожи отличался от моего, хотя у многих был другой цвет ума, голоса, улыбки. Просто так получилось, что девушка, от которой я не мог оторвать глаз на протяжении целых двух остановок метро (как раз на том перегоне, где вагоны тащились по океанскому дну), оказалась негритянкой лет примерно шестнадцати. И одета она была в сари белого шелка с рассыпанными поверх чуть рельефными, нераспознаваемыми бледными цветами (да, именно *поверх*, как будто они витали в сантиметре от лучистой ткани). И на голове у нее был маленький тюрбан из той же ткани, который удлинял ей виски, как у египетских красавиц. И еще двойные проводки вокмена змеились из ее ушек и терялись под тканью сари — технологическая деталь в контрасте, но совершенно недиссонирующая с традиционным одеянием, — так что я поневоле задумался, не носили ли все ее африканские предки вокмен на поясе, начиная с ночи истории и по сей день. Одну лодыжку обвивал кожаный браслет с цитатой по-арабски, может быть, из Корана.

Девушка не то что была красива, она была просто осязаемым образом красоты. Мне не под силу разобраться, что это было: эстетический, вне психологии, объект или, наоборот, — продукт психики, ничего материального, в чистом виде проекция восхищенных взглядов тех, кто сидел в вагоне.

Глядя на нее, я понял, отчего говорят, что "красота забирает", мы все были ее заложники и как будто бы ждали, что с минуты на минуту свершится жертвоприношение — мы все по очереди пойдем под нож. И при всем том скромность и невинность были ее единственным оружием.

Не могу сказать, когда она появилась в вагоне, но вышла там же, где я, на площади Кеннеди, с магазинами-люкс и пальмами, и, держа осанку, ступая в сари, облегающем ее плечи и ягодицы, растворилась в многосложном свете дня. Не раз после того я думал, что, пойди я за ней и прикоснись к ее шелковой оболочке, она бы обернулась не от прикосновения, а оттого, что почувствовала бы, как перетекает от нее в меня, в мои пальцы, частичка ее неведомой и мистической внутренней силы...

Вот только сейчас я заметил, что как женщины, описанные Сэлинджером в двух словах (до чего экспрессивно: *она еще бросила зажигалку в дельфина*!), так и та, которую я не сумел описать на целой странице, являются вблизи моря. И так оно и должно быть, мне кажется, потому что при мысли о стиле (который есть грация, волнообразное движение в унисон с колыханием всего мира, когда плывешь по течению, нисколько ему не противясь, следуя меандрам пустот и полнот) один и тот же образ всегда возникает в мозгу: длинные водоросли, которые вздымаются и опадают, которые перегибает, вытягивает и сплющивает током зеленой студенистой воды на дне морей.

Ты ничего не можешь сделать, чтобы обзавестись стилем. Потому что к стилю применим не глагол "иметь", а глагол "быть". Стиль сидит энграммой в инженерии твоего позвоночного столба, в динамике флюидов твоего тела, в световом пятне на бархате твоего зрачка. В мудрости твоего разума, который подается вперед, когда подается вперед вселенная, и отступает, когда отступает вселенная.

Набоков в Брашове

НЕСКОЛЬКО дней назад я шел быстрым шагом, руки в карманы своей канадки, через индустриальный пейзаж, где-то в районе Тимпурь Ной, и мне было тошно до слез. Было очень холодно, хотя и солнечно, только-только стаял иней ноябрьского утра. Я думал о разных литературных бреднях, когда вдруг услышал оклик: "Эй, Мирча! Как жизнь, дорогой?" В двух шагах от меня, на обочине дороги, остановился массивный серебристый "БМВ", и из его ок-

на мне улыбалась какая-то совершенно незнакомая особа с вскинутыми на лоб темными очками. Я шагнул к машине, и особа вышла. "Ты меня еще помнишь? Помнишь, кто я?" Я смотрел на нее, решительно не узнавая, и ответил: "Не то чтобы" — в свою очередь улыбнувшись. На ней был шикарный, даже эпатирующий прикид, особенно на фоне убогих домов через дорогу, цементного заводика и кривых киосков на трамвайной остановке. "Я Адриана, сестра Ирины, ты раз приезжал к нам в Клуж!" О'кей, я видел ее раз в жизни, много лет назад, где мне было ее запомнить? Все нормально. Я изобразил радость встречи, и мы обменялись банальными фразами. "Ты еще ездила в Финляндию?" — спросил я, чтобы она уверилась, что я знаю, с кем говорю. "Да, я все время туда езжу, мы работаем с тамошней фирмой. Но лучше скажи, ты-то как? Дела идут? Я все слышу, что у тебя вышло то одно, то другое, но знаешь... столько работы, с чтением у меня в последнее время не того... Зато Ирина покупает все твои книжки, в память давних лет, сам понимаешь..." Я мялся, но наконец почувствовал, что нельзя не задать вопрос. "А как Ирина?" На что совершенно, совершенно незнакомая мне женщина пустилась в наивную похвальбу: было видно, что ее сестра — гордость семьи. "О, Ирина — очень хорошо, она уже несколько лет как обосновалась в Брюсселе, у нее муж — большая шишка, член европейского парламента..." "...ибо так пишется история", — мелькнуло у меня в голове. Еще два-три слова, "держим связь" (какую еще связь?), "была очень рада тебя повидать", и человек за рулем потянулся и открыл для нее дверцу. Потом пространство сомкнулось вокруг исчезнувшей машины, как закрывается модный журнал с безупречно сфотографированными объектами. Остались мокрые блочные дома под коркой грязи, дыры в асфальте, плохо одетые и глядящиеся больными люди на перекрестке.

Я забыл, в какой нотариат или суд направлялся, какие бумаги должен был оформить, и примерно с полчаса бесцельно шлялся по тем местам из черной утопии. Ирина в европарламенте? Важная мадам в Брюсселе? Жена крупного чиновника? А я-то боялся расспрашивать ее сестру из жалости, чтобы не ставить в неловкое положение. Все эти годы я представлял себе Ирину опустившейся, может быть, алкоголичкой, затравленной неотвязным прошлым. Может быть, бездомной, вроде тех, от которых так жутко несет в трамваях... Потом я понял, что так и должно было быть, что жизнь, которая несколько лет назад дала мне прямо в руки готовый сюжет, теперь предлагает и финал к нему — естественный, а то и обязательный. Я далек от "реализма", и сюжетную прозу тоже не

пишу, поэтому никогда и не касался тех двух-трех по-настоящему интересных вещей, которым был в жизни свидетель. Но вот сегодня у меня наконец-то есть кое-какой покой (увы, не внутренний: просто покой, просто уединение в самом конкретном смысле — закрытая дверь в кабинет, младший спит в своей кроватке за стеной, старшая чем-то занята в гостиной...), чтобы подумать об Ирине, моей "первой женщине", и о ничтожестве ее тайны. О жалкой тайне жалких времен.

Я был студент филфака, графоман, слегка сдвинутый, как положено поэту (по моим понятиям), но притом такой блеклый, плюгавый, мелкий, что единственная часть человечества, которая меня интересовала, девушки, смотрела сквозь меня, как сквозь стекло. Одиночество мое было безысходным. Даже когда, походив по кружкам, я приобрел некоторую литературную известность, мне не удалось привлечь внимание ни одной из коллег. Среди моих приятелей самые страховидные, самые последние болваны хвастались своими беспримерными эротическими успехами, на "чаепитиях" рассказывали во всех подробностях, что происходит на их сексодромах, как они называли топчаны на мансардах или в подвалах, где ютились. А мне было двадцать три года, и на мой сексодром не приземлилась еще ни одна женщина... Так что весной 79-го, когда я поехал в Клуж на коллоквиум по Эминеску, мне на миг показалось, что я, наконец-то, ухватил Господа Бога за ногу. Я встретил там особу, которая подала мне что-то вроде знаков симпатии. Она была года на четыре старше, уже кончила университет и получила распределение в один ардяльский городишко, преподавать английский и румынский. Страшненькая, одета кое-как, будто свитера и юбки набрасывали на нее вилами, и, когда шла, у нее заплетались ноги. Поначалу нам было хорошо вместе: парочка сумасшедших, много о себе мнящих. Я вещал только цитатами из своих любимых авторов, она — только параболами, и все время иронизировала, так что иногда, посреди наших пространных и ученых дискуссий на улицах Клужа, мы вдруг понимали, что каждый говорит исключительно о своем, без оглядки на другого. В какой-то момент она остановилась под фонарем и спросила: "Тебе не кажется, что весь этот Клуж — только игра ума? Сон, от которого нам придется когда-то очнуться?" Тут даже я почувствовал всю идиотскую книжность этой фразы и ответил саркастически: "А тебе не кажется, что Борхес уже говорил что-то подобное про Буэнос-Айрес?" — "Нет, нет, я правда в это верю. Я даже верю, что ни в чем нет смысла, что все есть наш сон или чей-то сон про нас..." Мне не удалось сбить ее с таких вот экстравагантностей. На коллоквиуме я сделал доклад, из которого никто ничего не понял. Мы обсудили его потом с

Ириной, одни в купе, сварганив для водки чаши из двух половинок апельсина. Я был очень удивлен: она поняла. Я был очень удивлен и когда она позволила себя поцеловать, и вообще подпустила к себе... Но не слишком близко...

Дома мне стали приходить от нее письма, примерно в две недели раз. Письма были чисто интеллектуальные, без всяких сантиментов. Что она читает, что переводит.... Ей очень нравились Набоков и Д. Г. Лоуренс, она читала по-английски американских постмодернистов, ее страстью был Роберт Кувер. В ней бесспорно жил талант критика, наблюдения были отнюдь не расхожими. Только в конце писем проскальзывала нотка нежности, очень чистой. "Good night, sweet prince"[1], — так она неизменно их завершала. Но я тем временем влюбился в одну свою бухарестскую однокурсницу, и история с Ириной как-то расплылась, потеряла контуры. Вышла, однако, осечка. Моя однокурсница тоже была девица и таковой намеревалась оставаться по крайней мере еще несколько лет. Мы, как безумные, тискались в подъездах старых домов, но мой "послужной список" оставался по-прежнему нетронуто белым, а ведь мне, о Господи, исполнилось уже двадцать четыре года! Я прибег к эксцессам эротической лирики — в качестве компенсации. Плохая компенсация. Я бы переспал, несмотря на мою абсолютно реальную любовь к однокурснице, с кем угодно, даже со старухой! Тем более что старухой была для меня любая женщина за тридцать. Поэтому мои надежды возродились, когда я снова встретился с Ириной на следующий год, тоже в Клуже, на сей раз на фестивале поэзии в рамках "Воспевания Румынии"[2]. Я завидел ее издалека, в толпе, которая поджидала у входа легендарную Аризону (весьма, впрочем, вульгарную диву). Она вышла мне навстречу, спотыкаясь больше, чем обычно. У нее была теперь короткая стрижка, сальные прядки волос падали на щеки. Всякий раз как я видел ее после перерыва, меня передергивало от ее некрасивости: тонкие сухие губы, до невозможности курносый нос, пергаментная кожа. Но глаза выдавали все же живой ум и еще нечто, своего рода романтическое безумие, отрыв от всего, что вокруг. Когда она пригласила меня к себе домой, я вдруг почувствовал игру гормонов в зоне ниже пояса: готово, адье, детство, "this time nothing can go wrong!"[3] Но — ничего подобного. Потому что дома у Ирины оказалась и Адриана, ее сестра, которая только что вернулась

1. "Доброй ночи, милый принц" (*англ.*). Аллюзия на "Гамлета".
2. Грандиозный ежегодный фестиваль "народно-патриотических" распевов вперемешку с восхвалением Чаушеску.
3. "На этот раз все получится!" (*англ.*)

из Финляндии, и весь этот несчастный вечер мы провели за рассматриванием толстенных альбомов с фотографиями финских сумерек, финских елей, финских северных оленей. Сибелиус и Берцелиус и прочее занудикус и черталысикус... Несколько часов подряд я ждал, пока уйдет Адриана и начнется то, что надо, но в конце концов ушел сам, вне себя от унижения и ярости, и так прошел еще год. Единственным моим утешением, и то довольно слабеньким, было признание Олдоса Хаксли из книжки "Гений и богиня", которую я тогда читал, что он оставался девственником до двадцати шести лет! Так что могли быть случаи и потяжелее моего. Но я дал себе клятву, что я так низко не скачусь. Лучше смерть, чем бесчестье...

Сегодня-то я думаю, что лучше бы было погодить, потому что несчастный день, когда "я стал мужчиной", до сих пор остается одним из самых моих гнусных и мерзких воспоминаний. Ирина позвонила, что она в Бухаресте (Как это? А ее учительство в Ардяле? Уволилась? И даже если так, что ей делать в Бухаресте?) и что хочет посоветоваться со мной по очень важному делу. Я ехал на метро долго, до дурноты, вышел на "Защитниках Отечества", нашел блочный дом, поднялся по лестнице, провонявшей помоями, вошел в однокомнатную квартирку, где густо пахло луком и перцем из токаны, и поцеловал Ирину, пропитанную тем же запахом. На ней был халат в цветочек. Есть я отказался, мне надо было решить мою проблему. С дурно сыгранным выражением роковой женщины она расстелила на кровати полотенце и легла на спину. Я растянулся рядом. Заботливо продуманным сюрпризом оказалось то, что под халатом не было трусов... В меру помаявшись, я стал мужчиной, но вместо счастья и облегчения, которые предвкушал, осталось только сильнейшее отвращение от запаха токаны, досада, что я кончил в первую же минуту, а главное — гадливость от всего, что имело отношение к тому дню, к лежащей рядом непривлекательной и пропахшей кухней женщине, к кособокой квартиренке и даже к сумеркам, испариной проникавшим из-за штор. Я ни о чем не мог думать — только как бы поскорее убраться оттуда и никогда больше не видеть Ирину. Она исчезла в клозете по своим интимным делам и вернулась в серый воздух комнаты, крупная, грудастая, с густыми волосами на лобке (я представлял себе женщин совсем по-другому), с мускулистыми бедрами. Накинула халат и закурила.

Здесь тону моего повествования положено было бы смениться с патетического скерцо на что-то посерьезнее, на что-то, может быть, даже зловещее и уж по крайней мере мрачное. Но тот вечер не принес никакого резкого перелома.

Разве что стемнело, разве что плотнее стали тени. Если чего и не хватало для полной связности, как в кинофильме (думал я после), так это именно того, что она мне тогда и сказала, все еще стоя, все еще с дымящей сигаретой. "Я, Мирча, хочу, чтобы ты помог мне в одном... деле. Я не знаю, как быть". — "То есть?" — Меня все еще разнимало отвращение. Штаны у меня вывернулись наизнанку, когда я вылезал из них, не помня себя, и сейчас я выковыривал из штанин носки. "Скажу тебе все прямо. — Но вместо того чтобы так прямо все и сказать, она пристроила сигарету в равновесии на подоконнике и принялась мастерить пепельницу из тетрадного листа, исписанного карандашом. Справившись, она стряхивала в нее пепел, пока чистое пламя не ушло полностью из своей рассыпающейся оболочки. — Мне предложили сотрудничать с секуритате..."

Мозг у меня неповоротлив и почти всегда пребывает где-то далеко, так что я обычно упускаю нужный момент. Самые серьезные моменты своей жизни я пережил так, как будто бы это было не со мной, а с кем-то другим, и что-то неважное. Так и на этот раз. Сообщенное до меня не дошло. "И что ты ответила?" — спросил я формально, как будто она пересказала мне какой-то свой сон. Ирина в первый раз взглянула мне прямо в глаза, пусть с опаской, но с вызовом. "Я сказала *да*". Последовало долгое бла-бла-бла, как речитатив, отрепетированный перед зеркалом: чем оставаться на всю жизнь жалкой провинциальной учительницей, лучше пойти туда, где ее достоинства будут оценены... молодые и интеллигентные люди изменят положение дел изнутри... она сможет путешествовать по заграницам... получит доступ к библиотекам... она воспользуется своим положением, чтобы делать добро...

Я перестал ее слушать, постепенно стряхивая с себя дурман. Интересно, что, когда я услышал про секуритате, у меня в голове закрутились самые дурацкие и разрозненные картинки: длинная, человек в сто, очередь за пивом в "Букур Оборе", где какой-то тип, крайне нервозный, принялся в голос возмущаться, когда какие-то цыгане полезли без очереди. "Это секурист, я его знаю, — сказал тогда, прямо-таки с уважением, один старичок. — Все в его руках, он наведет порядок". У меня в доме многие из соседей были секуристы, в детстве я играл с их детьми. Я помнил и анекдоты с "не кучкуйтесь, ребята"[1], и советы мамы не говорить, "чего не следует", потому

1. Присказка секуристов, внедряемых в толпу, — не кучковаться: во-первых, чтобы не "светиться" компактной группой, во-вторых, чтобы иметь больший обзор происходящего.

что секуристы кишмя кишат вокруг. Что такое были секуристы и секуритате? И почему мне, как в дурном анекдоте, выпало стать мужчиной через секуристку, пусть даже только начинающую? Я не стал ее перебивать, пресекать попытки убедить меня (а скорее саму себя), что она поступила хорошо, и оправдательная речь лилась впустую еще долго, после того как она поняла, что я больше не слушаю. Я едва различал ее лицо. Тонкие, как бумага, стены блочного дома пропускали все: спуск воды в унитазе, телевизионные голоса, музыку... Кончив "речь", она снова закурила и в молчании докурила сигарету до конца. Потом "сладострастно" растянулась подле меня, "смачно" меня поцеловала, непристойно приласкала — да, без кавычек — и захотела, чтобы мы повторили все сначала. Тогда я отбросил ее руку и сказал, как автомат, абсолютно не ощущая "драматизм" момента, что она идиотка, что она разобьет свою жизнь, а может, и чужие жизни, что я знать ее не хочу, если она сделает этот шаг. Да и вообще, раз она уже приняла их предложение, чего она хочет от меня? "Но мне не с кем было поговорить, Мирча, не с кем посоветоваться. Я тут никого не знаю, у меня нет близких... Я *должна была* поговорить с кем-то, кому можно доверять..." Я ушел от нее, когда была уже ночь, и пошел домой пешком по лужам, меся грязь, под подозрительными взглядами бдительной милиции. Только дома, в своей постели, я прочухал все безумие того вечера. "Сумасшедшая", — подвел я черту, но, странным образом, идиотом я чувствовал *себя*, как будто это я сделал величайшую глупость... Я уснул с тяжелой от табака головой, в решимости все забыть.

Потом дела с моим сексуальным послужным списком пошли лучше. До двадцати шести лет, судьбоносного возраста Олдоса Хаксли, я внес в него, огненными буквами, четыре имени. Успокоившись в этом отношении, я начал писать стихи с более философским уклоном. Несколько месяцев спустя после того вечера, когда "я стал мужчиной", поздно ночью мне позвонила Ирина. Она была в отчаянье, плакала и кричала в трубку. Напилась? Что-то я не помнил, чтобы за ней такое водилось. Попытавшись составить связный рассказ из ее более чем бессвязных выкриков, я получил такую картину: ее подселили, на конспиративном положении, в одно общежитие, на Эйфории. Она жила в комнате с двумя соседками, "это такие курвы, Мирча, они меня бьют и таскают за волосы". Ей промыли мозги, "мне приходится делать такие кошмарные вещи, Мирча, сил нет, Мирча!" Она рыдала и шмыгала носом, как ребенок, у которого текут сопли. Ей едва удалось сегодня вырваться, и она звонит из первого попавше-

гося телефона-автомата. Ей нужно бежать куда угодно, ей нужно скрыться. "Приезжай ко мне!" – крикнул я, но она вдруг повесила трубку. Я прождал ее потом напрасно весь вечер.

В наступившие затем годы дела приняли плохой оборот. Стало холодно и голодно. Секуритате из объекта для шуточек превращалась в зловещий миф. Страх распространялся безостановочно, как психоз. Я все чаще думал об Ирине. Что она делает, бедолага? Выполняет какое-то из их извращенных заданий? Или сама стала орудием террора? Она, та, что не верила в реальность, та, что была влюблена в Набокова? После долгой паузы ее звонки ко мне возобновились. Всегда поздно ночью и всегда с просьбой одолжить денег. Раз от разу голосом все более хриплым, все более шалым – наверняка поддавала. Я не мог одолжить ей денег, потому что был гол как сокол, но я всегда спрашивал, как она и что. "Не могу тебе ничего сказать", – отвечала она и вешала трубку. Я, как все мужчины, в бессонные ночи дотошно перебираю список (у кого-то он короче, у кого-то длиннее) женщин, с которыми имел дело, галлюцинирую на тему, что и как было с каждой из них, но мне не забыть ту, которая все-таки была номером первым и таковым останется, независимо от того, насколько вытянется в длину список. Несмотря на ее чудовищный выбор, а может, как раз из-за него, я ловил себя на сочувствии и нежности к ней. Я был готов когда угодно встретиться с Ириной, чтобы помочь ей, несмотря на все риски. Я знал, что мне она не причинит зла. Но года с 86-го звонки прекратились. Ирина ушла на дно, и я решил, что навсегда.

Однако мне довелось встретить ее при таких обстоятельствах, что я и представить себе не мог. Через несколько недель после революции мы с друзьями, Неделчу и Ханибалом, сидели в комнатушке на втором этаже Союза писателей, где у меня был "служебный кабинет". Я отвечал за дома творчества, но поскольку служба у меня была сезонная, то с осени до весны я просто-напросто был безработный. К тому же я ухитрился устроить пожар в кабинете – ушел как-то вечером и забыл погасить горящую печку. Так что сейчас застекленная часть двери была разбита, печка стояла почерневшая, паркетные доски перед ней обуглились. У нас шел треп про нашу новую газету "Контрапункт", когда по узкой крутой деревянной лестнице застучали чьи-то шаги. Я не поверил глазам, когда появилась, с тающим на волосах снегом, в обсыпанной снегом белой дубленке женщина, в которой с большим трудом узнавалась Ирина. Ее плоское лицо арделянки было щедро размалевано. Волосы были подстрижены совсем уж под корень, но до невозможности не-

лепая челка падала на сильно подведенные глаза. Поскольку наша печка уже снова раскочегарилась, снег, бывший легким пушком, немедленно превратился в обильные струйки воды. Женщина выглядела теперь, как мокрая кошка, и в те несколько минут, что пробыла с нами, вела себя тоже нервно, как кошка. Говорила шизофренично, перескакивая с одного на другое. Мои приятели переглядывались и пересмеивались. Я вывел ее, "тут не поговоришь", повел по Нуферилор, и мы дошли до Атенеума. Сыпал частый мелкий снег. Там, в сквере перед Атенеумом, при статуе Эминеску, покрытой снегом, мы поговорили. Все вокруг сверкало белизной. Она сказала, что ей страшно, что она в отчаянье. Что за ней следят, она чувствует ("Я была замешана в Брашове, в восемьдесят седьмом...[1]"). Что она может разговаривать с людьми только на открытом пространстве. Именем нашей прежней дружбы просила подыскать ей какую-нибудь работу, местечко, где о ней забудут. "Ты теперь работаешь в Союзе. Мне бы тоже туда, кем угодно. На синхронный перевод, на корректуру, просто секретаршей, я все умею, абсолютно все..." Тут я принялся самым дурацким образом читать ей мораль: "Вот видишь, Ирина, я тебе с самого начала говорил, что ты сделала глупость. Посмотри на себя. Что сталось с твоим талантом, со всеми твоими замыслами?" Я думал, она покаянно опустит голову и заплачет, но она вдруг бросила на меня взгляд вызывающий и надменный, как будто говорила: "Ладно, слыхали мы все эти сопли-вопли". Как будто под ее минутным отчаянием еще крылась какая-то мощная темная сила. Однако она тут же вернулась к жалобному тону: "Ну, так как? Замолвишь за меня словечко? Я могу надеяться?" Я объяснил ей, что я тут мелкая сошка, служу два месяца, что у меня нет никаких зацепок у начальства. Это была чистая правда. Она больше ничего не сказала. Мы прошли еще несколько шагов и распрощались. Я вернулся в жарко натопленную каптерку. "Кто такая?" — спросил меня Неделгу. "Так, одна..."

Потом я ушел из Союза и поступил в "Критические тетради". Там переругался со всеми и перешел на филфак, ассистентом. В последующие одиннадцать лет, когда жизнь моя наполнялась всяким-разным и усложнялась, мне было как-то не до Ирины. Все же я думал о ней в те долгие ночи на Университетской площади, когда вместе с другими десятками тысяч людей, стоящих под балконом геофака, скандировал до хрипоты:

1. Имеется в виду бунт рабочих в Брашове 15 ноября 1987 года, жестоко подавленный властями.

Секуристов всех сослать
В шахты уголь добывать!

И я вспоминал о ней во время каждой минериады[1]. Мысль написать что-нибудь о ней постоянно сидела в голове в числе прочих туманных проектов. Набоков, брошенный на репрессии в Брашов, Роберт Кувер, сжигающий документы в Беревоешти[2], Д. Г. Лоуренс, терроризирующий интеллектуалов. И жуткая, чудовищная, всепроникающая секуритате, желающая мне каждый вечер: "Good night, sweet prince".

Интересно, что в те редкие минуты, когда я вспоминаю о ней, Ирина является мне не в своем доме, увешанном фотографиями с пейзажами Финляндии, не в засаленной квартире на Защитников Отечества, не в зимнем свете у Атенеума, а такой, какой я увидел ее в первый раз, когда мы вдвоем шлялись по улицам Клужа, болтая на литературные и метафизические темы. Я вижу, как она криво ступает на каблучках, вижу ее силуэт, будто бы наобум стертый ластиком. Да вот и сейчас, когда я пишу эти строки, я отчетливо слышу, как она говорит, пока мы идем вдоль цветных фасадов и ворот ардяльского полиса: "Тебе не кажется, что все вокруг — только игра ума? Знаешь, для меня ни в чем нет смысла, ничего по правде не существует..."

Irish cream[3]

НЕ знаю, доводилось ли вам когда-нибудь путешествовать на машине с правым рулем, которая едет по левой стороне дороги, то есть на британский манер. Мне доводилось, и должен вам сказать, что это ощущение — одно из самых странных. Есть такие болезни мозга — Оливер Сакс перечисляет их в своей знаменитой книге, — которые

1. Когда студенты и интеллектуалы Бухареста в апреле 1990 года, в преддверии выборов, объявили площадь перед университетом "зоной, свободной от коммунизма", и разбили там палатки в знак протеста против прокоммунистического правительства Илиеску, на их усмирение были призваны шахтеры из Валя Жиулуй (в ряды которых было внедрено множество секуристов). Акция называлась по-румынски *минериада* (по-русски прибл. *шахтериада*) и отличалась крайней жестокостью в подавлении оппозиции. *Минериад* было всего шесть.
2. В 1991 году компрометирующие правительство материалы о подавлении оппозиции на университетской площади были сначала закопаны, а потом сожжены в местечке Беревоешти, что вызвало скандал в СМИ.
3. Irish cream — сливочный ликер с разными ингредиентами, иногда с кофе (*англ.*).

провоцируют иллюзии, от забавных до кошмарных. Ощущения могут быть разные: что у тебя пропала половина тела, или что самые близкие тебе люди, жена, например, или отец, это не они, что их подменили, и они замышляют что-то против тебя, или что ты видишь самого себя со спины, на расстоянии метра, как в некоторых компьютерных играх. Что-то такое ты чувствуешь, и когда сдвиг происходит не в твоем мозгу, а в окружающем мире. Когда едешь не по той стороне шоссе, это — как сон. Что-то не в порядке, что-то, на первый взгляд, незначительное, но оно ставит под вопрос весь универсум и в конце концов твое собственное в нем положение. Съежившись на заднем сиденье огромного "ровера", я не мог, в тот ирландский вечер, подавить в себе ощущение, что мы едем по встречной полосе и что с минуты на минуту попадем в лобовое столкновение.

Мой мозг не так уж невинен, как вы можете подумать. В одном придорожном пабе, на выезде из Белфаста, я заказал ирландский кофе. Я понятия не имел, что это такое (дело было в 93-м). Мне просто хотелось чего-нибудь автохтонного, раз уж я оказался в первый раз в стране друидов, пива "Гиннесс" и Джойса. Мне принесли большой, как для коньяка, стакан с горячим кофе и на блюдечке две ароматные штучки *After eight* в темно-зеленой обертке. Когда я поднялся из-за стола, я почувствовал, не веря себе, что иду сразу в разные стороны. Потому что в Ирландии ирландский кофе — гораздо больше виски, чем кофе. И вот по мере того как густели сумерки и мимо нас скользили населенные пункты, спутанность моего сознания усугублялась.

Мы пересекли границу, чисто условную, с республиканской Ирландией и пустились, между ее холмов, к Аннагмакерригу. Настала ночь. Шофер тоже был не очень-то трезв и перешел на какой-то свой личный язык. Из десяти якобы английских слов я понимал одно. Счастье, что одна из двух моих сопутниц-поэтесс сидела рядом с ним, и они вроде бы веселились вовсю, хотя она не знала по-английски — или именно поэтому. Вторая сидела со мной на заднем сиденье, но у другого окна, и смотрела в него не отрываясь. Я был пацан по сравнению с ними. Не знаю, кто придумал такую специфическую румынскую комбинацию. Эти две ненавидели друг друга смертельно и до сих пор, от самого аэропорта Отопень, во время перелета "Таромом" до Хитроу и, наконец, "Лингусом" до Белфаста, не обменялись ни единым словом. Если бы так пошло и дальше, это было бы забавно. Мы направлялись в глубь Ирландии, в культурный комплекс Аннагмакеррига "Tyron Guthrie Center", где нам предстояло прожить две недели.

Дорога оказалась неожиданно долгой для такой маленькой страны. Мы подъехали к замку в полночь, сделав только еще одну остановку на пиво "Гиннесс", ледяное и водянистое, в огромных кружках. Когда шофер выключил мотор, высветив фарами глухую, очень высокую стену, вдруг наступила полная тишина, и такая целительная после непрерывного рева "ровера", что жаль было ее нарушать. Как только и фары погасли, мы вышли из машины под самое фантастическое звездное небо, какое я когда-либо видел. По-моему, я пишу эти строки не ради любовной (правда, не вполне) истории, которая последует, — не с одной из тех двух поэтесс и не с ними обеими сразу, упаси бог, — а ради безумного удовольствия еще раз описать это ноябрьское небо, это ирландское, белое от звезд, небо. Свод был отчасти перекрыт стеной замка. Но за темным прямоугольником стены небо становилось всеобъемлющим, на нем было больше пятен света, чем прочерни между ними, разбросаны они были неравномерно, где-то теснились, где-то разъезжались в стороны по ледяному воздуху. Сделалось ужасно холодно, но я не спешил к воротам, а стоял у машины, глядя на это магическое небо, на этот космос, выгнувшийся над абсолютно темным миром, на эти переливы света, как будто там, над нами, дробились друг о друга световые льдины и льдинки.

Мы наскоро поужинали пудингом, который поделила на всех полусонная повариха, и были разведены по апартаментам. Впервые я употребляю это слово без всякой иронии. Замок был огромный и изукрашенный, как наш Пелеш. Мы шли по бесконечным коридорам среди зеркал, и канделябров, и аллегорических картин. Поднимались по лестницам вдоль полок со старыми книгами вперемежку с коллекциями оружия. Миновали великое множество громадных комнат в два этажа высотой, полутемных и уставленных старинной мебелью, промозгло-студеных, потому что в замке было холоднее, чем снаружи. Как мы будем спать в такой стуже четырнадцать ночей подряд? Наконец, после того как вышеуказанных поэтесс расположили, по их заслугам, в своего рода мавзолеях, меня тоже отвели в отдельный трехкомнатный склеп. Он состоял из гостиной, кабинета (с большим глобусом из майолики в углу и с коллекцией древних гравюр и подзорных труб) и спальни, достойной короля или, по меньшей мере, барона, с кроватью под балдахином посередине. Я пожелал спокойной ночи поварихе, которая уже просто засыпала на ходу, и остался один в полной темноте. Добрался на ощупь до спальни, и там оказалась синеватая подсветка, потому что окно наполняли черные деревья и звезды: *свет печальный и чистый. Я плюх-*

нул чемодан у постели и открыл замочки. Не снимая канадки (от одной мысли о том, чтобы раздеться, мне делалось дурно), я порылся в вещичках, ища пижаму, но скоро бросил эту затею. От холода у меня потек нос и заслезились глаза. Руки окоченели, как не бывало давно, со времен армии. Нет, надо было спать одетым, по-другому никак.

Я присел на край кровати, затерроризированный мыслью о полярной стуже предстоящей ночи. И вдруг от покрывала повеяло теплом — вероятно, галлюцинация. Я ощупал его рукой и дернулся. Оно в самом деле было теплым! И кроме того, под ним как будто лежало что-то большое, как будто кто-то спал, свернувшись калачиком в моей постели. Самые дурацкие мысли проносились в голове. Я ошибся спальней, меня подселили к кому-то. Мелькнуло даже видение трупа с недавно перерезанным горлом. Я встал с кровати. Теперь я дрожал по-настоящему, и не только от холода. Что мне было делать? Я не мог никого позвать и даже не знал, где тут выключатели. Кто был там, в сердце Ирландии, в недрах замка, в недрах комнаты и моей постели? Я подошел к окну, ища — инстинктивно — свет. Но картинки памяти из "Грозового перевала"... Бледный призрак, стучащий кулаками в стекло: впусти меня, впусти меня... Стекло вдруг запотело от моего испуганного дыхания. Содрогнувшись, я мгновенно решился. Подошел к постели, с храбростью человека, загнанного в угол, откинул в сторону покрывало и разинул рот, по-дурацки уставясь на зрелище, открывшееся мне под балдахином. Потому что в моей постели, утопая в перине, лежала овца!

Она спала на боку, большая, шерстистая и пухлая, вытянув раздвоенные копытца к краю кровати. Сон? Обман рассудка? Я попал в руки каких-то фигляров-сюрреалистов? Мне подсыпали что-то в пудинг? Вспомнился пришедший в упадок дворец из "Осени патриарха", где ходили куры и где коровы забирались на главный балкон отечества. "What now?" — прошептал я. Надо было прогнать ее, выгнать по крайней мере из спальной комнаты. Но как, к черту, это сделать? Меня страшил момент, когда она апокалиптическим блеянием нарушит гробовую тишину, соскакивая с постели. В конце концов я схватил ее за ухо, и ухо показалось мне тряпичным. Я потряс овцу, и в ее брюхе что-то лениво булькнуло. Я ощупал овечьи ноги, вытянутые ко мне. Это были безжизненные трубочки, обернутые фланелью. Ха, овца-то ненастоящая!

Да, это оказался всего лишь резиновый бурдюк с горячей водой в форме овцы, обернутый синтетикой, отлично имитирующей шерсть в завиток. Бурдюк — вот и весь секрет, как пе-

режить морозные ночи, — проще, чем обогреть гигантские ангары, набитые старой мебелью. Смеясь, как дурачок, я разделся, лиловый от холода, вытащил из чемодана пижаму, напялил ее на себя и, весь трясясь, залез под одеяло, под бочок к моей горячей овечке. Пока я не уснул с ней в объятьях, у меня под веками маячила долгая дорога на машине, призрачные здания с непременным пабом на первом этаже, мелькающие мимо, нематериальные деревья, на миг как бы ослепляемые фарами, чтобы после скрыться в пульсации ночи.

На рассвете овечка была еще теплой, но вам пора уже выкинуть ее из головы, потому что не она тут героиня. У меня бывают разные эротические фантазии, но не такого сорта. Если бы я нашел под одеялом резиновую женщину вместо волшебной овечки, может быть, кто знает... Но хватит тянуть резину. В то утро я познакомился с ирландскими поэтами, которые собирались перевести наши стихи на свой язык. Эти парни все две недели пили-гуляли и хором распевали зловещие баллады:

There's a puuub where we all long to gooo
Its naaame is Heaaaven...[1]

Еще они развлекались так: по туману, который можно было резать ножом, и в холод не хуже крещенского, они, как умалишенные, не меньше десяти раз на дню делали пробежку вокруг близлежащего озера. С ними приехали девицы, типичные хиппи, рассыпавшиеся по комнатам и коридорам замка. Первоначально рыжие и веснушчатые, как положено ирландкам, они были все перекрашены в акажу, в голубой и зеленый. Лахудры лахудрами. И говорили — тоже ничего не понять. В основном fuck up да fuck down — вот и весь разговор, на три четверти. По ночам, в совершеннейшей тишине, кое-когда слышно было, как они мурлычат от удовольствия где-то в недрах замка. Кроме этой фауны, был в замке еще один персонаж, Билли, которого все хлопали по плечу, проходя мимо, и который имел обыкновение поливать из шланга кусты шиповника вдоль стен. Он носил драный и ветхий комбинезон, таскал хворост для топки — я думал, это садовник или работник на все руки. Только в конце я узнал, что Билли на самом деле директор центра "Tyron Guthrie", который нас приютил, и драматург с мировой известностью.

1. Есть пааab, куда мы все хотим пойти,
И имя ему Нееебеса... (*англ.*).

Он-то и рассказал мне историю с графиней. На третий или на четвертый день я оказался рядом с ним за столом. Пока я ковырялся ложкой в вечном пудинге, он спросил с полным ртом: "You doin' OK?" – "Yeah, fine"[1], – ответил я на своем английском айовского разлива. Как со стихами? Ну... Со стихами был напряг, потому что наши поэтессы были претенциозными до черта, их никогда не удовлетворяла окончательная форма перевода, хотя они ни бельмеса не смыслили в английском. Им, видите ли, казалось, что нехорошо звучит. Зато мои сырые самопереводы в высшей степени удовлетворяли безалаберных ирландских поэтов: они переиначивали их, как Бог на душу положит. Поэты были такие смурные от постоянного похмелья, что им только стихов не хватало. Постой в Аннагмакерриге свалился на них, как выигрыш в лотерею, они о таком и не мечтали. И тут уж отрывались по полной. "Have you met the countess yet?"[2] Какая графиня? Как, эти паршивцы (ирландские поэты, "those buggering bastards") мне еще ничего не сказали? В Аннагмакерригском замке живет привидение, оно прошло аттестацию у десятков свидетелей и имеет самый настоящий диплом. Я не видел на третьем этаже диплома в рамке, на северной стене? Нет, не видел. "Гм... это, знаешь ли, долгая история, я постараюсь покороче". Говорят, что в шестнадцатом веке владелицу замка зарезали кинжалом в одной из комнат (в которой? Секрет. Каждый гость должен считать, что именно в его спальне). С тех пор она не знает покоя. Время от времени является кому-то из гостей, которые здесь ночуют. К сожалению, она националистка до мозга костей ("сегодня ее назвали бы right-wing extremist", – осклабился Билли), является только чистокровным ирландцам... "О!" – сказал я, пытаясь изобразить разочарование. "Но. Не все потеряно". Ты можешь в любой момент стать, хотя бы на одну ночь, ирландцем чистых кровей: достаточно выпить зараз бутылку ирландского виски! Тогда не исключена возможность, что призрак графини явится и иностранцу... "I'll buy you a bottle sometime, Mirsea"[3], – пообещал мне Билли, вставая из-за стола. "Fuck the countess", – проговорил я себе под нос, через силу уминая пудинг, не имеющий ни вкуса, ни цвета, ни запаха, и стараясь произносить "fuck", как пишется.

По утрам я натужно делал подстрочники, все бредовее и бредовее, после обеда сидел между двумя поэтессами, чтобы они не подрались, как дикие кошки (они по-прежнему не раз-

1. "У тебя все в порядке? – Да, все отлично" (*англ.*).
2. "Вас уже посетила графиня?" (*англ.*)
3. "Я как-нибудь поставлю тебе бутылочку, Мирча" (*англ.*).

говаривали друг с другом, только по очереди фыркали с презрением, когда читались стихи другой, и по временам отводили меня в сторонку, чтобы поведать о компромиссах товарки, политических и сексуальных, во времена ушедшего режима), а вечерами только и ждал, как бы вернуться к моей овечке, терпеливой и жаркой. Через десять дней я был сыт по горло видами Ирландии (то есть ноябрьским инеем и туманом). Только ее звездные ночи были по-прежнему несравненными и пугающе прекрасными. Хоть умри под этим крутым небом, по которому звезды были рассыпаны, как порошок чистого героина... Дело шло к концу: сборник стихов готов и искусно введен в один из первых лэптопов, которых я раньше не видел. Толстый, как полено, и с черно-белым экраном, мне он все равно казался чудом. Переводы, конечно, удивляли, но не больше, чем дети, сделанные по пьянке. Если перевести наши стихи обратно на румынский, получилось бы нечто невиданное в румынской литературе... Но какая разница? В последний вечер ребята пришли навеселе с электрическими гитарами и подружками, которые едва держались на ногах, и спели нам не что иное, как

There's a puuub where we all long to gooo
Its naaame is Heaaaven...

Но это прозвучало гениально по сравнению с нашим ответом — потому что и нас призвали спеть что-нибудь специфически румынское... В ходе поспешного совета с поэтессами-антагонистками выяснилось, что единственная песня, которую мы знаем все трое, это "Люди добрые так пьют", которую мы в конце концов и исполнили на три голоса, разнящиеся еще больше, чем наши поэтические стили. У одной поэтессы было контральто, напоминающее звуки пилы, а другая, более мужеподобная, удивила ирландцев голосом кавернозным и разухабистым. *Братцы-святцы, луны-буны* — вероятно, это звучало дико для слуха земляков Леопольда Блума... Потом мы разгулялись, побратались, расцеловались и плясали глубоко за полночь. Билли, который сдержал слово относительно бутылки виски (*Джеймсон*) продекламировал нам без счету стихов на гаэльском, которые звучали так же дико, как наши "люди добрые". Я тоже, сев в уголок, приложил все силы, чтобы стать чистокровным ирландцем "хотя бы на одну ночь", но вышел разве что в полукровки.

Однако похоже, что моя добрая воля была оценена, потому что... в ту ночь меня навестила графиня! Легенда подтвердилась, ей-богу! Графиня не была туманной и нематериальной, не звенела цепями и не стучала кулаками в стекло (let me

in, let me in etc.), но все же была по-своему из ряда вон выходящей. Примерно через час после того как я плюхнулся, на сей раз одетым, к моей овечке под балдахин, меня разбудил скрип тяжелой двери в спальню. И тут я увидел графиню, скользнувшую внутрь, с одной стороны ее ярко освещали звезды, с другой она оставалась темная и загадочная. Овца полетела в сторону и с глухим стуком упала на пол. Графиня забралась ко мне в постель, от нее убийственно разило виски. Графиня положила руку мне между ног и сунула мне в рот свой язычок с железякой посередине. Я прижал к груди голову графини и обнаружил, что ее прическа разделена на множество жестких прядей с высохшим фиксатором. Я нащупал под блузой графини ее соски, и в одном из них обнаружил медное колечко. Я стащил с графини трусы и тронул жесткий и лохматый пучок волос. Я слушал шепот графини, хриплый и страстный: fuck up, fuck down. Я сжал в ладонях ягодицы графини, и они были ледяные (правда, потом согрелись). Всю ночь я входил в графиню, много раз и с разных сторон, пока графиня не заурчала от удовольствия в недрах постели, в недрах спальни, в недрах замка в недрах Ирландии, страны друидов, пива "Гиннесс" и Джойса. Утром графиня елозила с голым задом по постели, ища чулки. У нее были зеленые волосы. На одной ягодице графини было жирно написано маркером TAKE, а на другой ME, потом надпись исчезла под одной одежкой, колечко под другой, железяка еще раз блеснула в "Bye!", и призрак испарился, как не бывало.

Потом у каменных стен замка я обнял на прощание Билли, единственного, кто встал на рассвете, чтобы проводить нас. На миг он отложил ножницы для подрезки живой изгороди и сердечно спросил меня: "Have you finally seen the fucking countess?"[1] Я еле видел его сквозь утренний туман. "I believe I did"[2], — ответил я и направился к мощному "роверу", ждавшему нас у ворот. Поэтессы, которые так и не заговорили друг с другом, уже сидели в машине. Шофер пробормотал что-то на своем неразборчивом английском и включил зажигание. Мы пробили туман въездной арки и выехали на шоссе. Опустевший замок Аннагмакеррига остался позади, а мы снова, как нелюди, двинулись по встречке, по извилистым дорогам Ирландии.

1. "Так вы видели эту чертову графиню?" (*англ.*)
2. "Думаю, что да" (*англ.*).

Меир Шалев

Впервые в Библии

Главы из книги

Перевод с иврита Р. Нудельмана и А. Фурман

Предисловие

Первая книга Библии называется на иврите "Бэрейшит", то есть "Вначале", — таковы первые ее слова. Но хотя слова эти относятся в Библии только к сотворению мира, мы находим в ней и многие другие "начала", то есть то, что происходило в первый раз — первую любовь, первую смерть, первый смех, первый сон, а также тех, что были избраны первыми испытать те или иные чувства: рождение первенца, первую ненависть, первый обман, — равно как и тех, что удостоились звания первого в истории музыканта, царя, кузнеца или шпиона.

Эти "первые разы" могут порой озадачить. Например, первая смерть в Библии — смерть не естественная. Первый плач — не плач новорожденного, и не слезы родителя, потерявшего сына, и не рыдания обманутого влюбленного; первый в Библии сон приснился второстепенному филистимскому царьку, а не какому-нибудь памятному историческому деятелю;

© Meir Shalev, 2008
© Р. Нудельман и А. Фурман. Перевод, 2010
Печатается в редакции переводчиков.
Полностью книга выйдет в издательстве "Текст".

первыми поцеловались не двое влюбленных, а сын с отцом, и поцелуй этот был не выражением любви, а знаком подозрения и способом проверки. И даже первое появление в Библии слова "любовь" связано не с любовью мужчины к женщине, или женщины к мужчине, или ребенка к матери, или матери к ребенку — нет, первой была любовь отца к сыну.

В этой книге рассказывается о нескольких таких "первых разах" в Библии, и от каждого из них я переходил к размышлениям о других, связанных с ним сюжетах, так что порой, наверное, слишком увлекался. Я, однако, поставил себе за правило: каждый "первый раз", послуживший мне отправной точкой, должен быть назван в Библии своим именем. Поэтому первую любовь и первую ненависть, например, я нашел не по указке комментаторов, а благодаря тому, что искал те истории, в которых слова "любовь" и "ненависть" впервые появляются как таковые.

Это моя вторая книга, посвященная Библии; ей предшествовала "Библия сегодня", недавно вышедшая по-русски вторым изданием. Я, однако, не пытаюсь заменить этой новой книгой, равно как и той, предыдущей, чтение самой Библии. Напротив, я настоятельно рекомендую читателям снова и снова перечитывать Первоисточник, всякий раз открывая новое — в нем и в себе.

Меир Шалев

Первая любовь

КАК-ТО раз я попал в рыбачью деревню в Андаманском море. В отличие от обычных деревень, эта не тянулась вдоль берега, а плавала в открытом море. Ее дома были построены на заякоренных плотах, которые соединялись друг с другом канатами и деревянными переходами.

Деревня мирно качалась себе на волнах, то подымаясь, то опускаясь. Меня охватило странное чувство. Обычно, сходя с лодки на причал, сразу ощущаешь приятную, прочную устойчивость суши, а тут одно покачивание просто сменилось другим.

Жили в этой деревне мусульмане, рыбаки из Малайзии. Я долго бродил среди их плавучих домов, пока не увидел приоткрытую дверь и сидевшего за ней худощавого мужчину. Мы обменялись взглядами, он улыбнулся и жестом пригласил меня войти. Мы пили чай. На стене висели фотография и рису-

нок. На фотографии был запечатлен пейзаж, как будто бы европейский, — зеленые долины, коричнево-красноватые фрукты, водопады и заснеженные вершины. Рисунок показался мне более знакомым: юноша лежит на жертвеннике, старый человек занес над ним нож, сверху парит ангел, а сзади, в кустах, — баран со связанными рогами.

На мгновенье я подумал, что обнаружил одно из десяти затерянных колен[1], и уже начал было мысленно сочинять письма в Главный раввинат и в Сохнут, чтобы там поторопились вернуть это колено домой, в Израиль. Все же перед тем, как упасть в объятья новообретенного брата, я поинтересовался, что это такое изображено на его рисунке. Гостеприимный хозяин указал пальцем на старика с ножом и со странным акцентом сказал: "Абрагим". Потом показал на мальчика и сказал: "Асмаил". Я не стал спорить, но по возвращении в Иерусалим проверил и нашел, что так действительно написано в Коране. Измаил, а не Исаак, — вот тот сын, которого, согласно Корану, Бог велел Аврааму принести в жертву[2]. Мне немного стыдно рассказывать сейчас об этом: следовало знать это раньше.

Казалось бы, такая подмена должна была меня удивить, но вместо этого я почувствовал горечь. Наш конфликт с мусульманами, понял я, возник не только из-за страны и даже не из-за ее святых мест. Мы не поделили любовь. А еще точнее — отцовскую любовь. И что еще больше усложняет дело — не ту любовь, что выражается в предпочтительном благословении того или иного сына или в каком-нибудь подарке (например, в той полосатой рубашке, которую праотец Иаков подарил любимому сыну Иосифу), а ту, что выражается в поступке, и притом самом страшном из всех поступков в книге Бытие, — принесении в жертву собственного сына. В Библии сказано: "Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во

1. Еврейская традиция считает, что из двенадцати колен, то есть потомков двенадцати сыновей Иакова, десять были уведены в плен при завоевании ассирийцами Израильского царства и затерялись на чужбине. *(Здесь и далее – прим. перев.)*

2. Большинство имен и географических названий в данном переводе дается в соответствии с их написанием в русском каноническом — синодальном — переводе. Во многих случаях, однако, эти имена и названия в их оригинальном произнесении являются значимыми, как, например, здесь. Так, Измаил в оригинале — это Ишма-эль, т. е. "услышит Бог", а Исаак — это Ицхак, т. е. производное от "цхок", или, по-русски, "смех", в память о том, как засмеялась престарелая Сарра, когда Бог обещал ей сына. Во всех таких случаях мы считаем необходимым дать в сноске соответствующее разъяснение.

всесожжение"[1]. Так вот — потомкам Измаила довольно трудно видеть после слов "твоего единственного" и "которого ты любишь" имя Исаака.

Кстати, сами Измаил и Исаак отнюдь не были врагами или соперниками. Уж, во всяком случае, не так, как Каин и Авель, Иаков и Исав, Иосиф и его братья. Настоящая борьба в семье шла между матерями — Саррой и ее рабыней Агарью. И тот факт, что от этих двоих, Измаила и Исаака, впоследствии возьмут начало две религии, тоже был тогда неизвестен. Но когда Бог сказал "твоего единственного" и "которого ты любишь" именно об Исааке, а Измаил и его мать уже были изгнаны к тому времени из дома Авраама, возникло эмоциональное основание для того конфликта, от которого мы страдаем по сей день.

Есть тут, однако, и нечто иное. Эти слова: "Которого ты любишь" — знаменуют первое появление в Библии слова "любовь". И тут можно подметить две интересные особенности. Во-первых — это любовь мужчины к сыну, а не любовь мужчины к женщине. Любовь мужчины к женщине в Библии отодвинута на второе место, и это будет любовь Исаака к Ревекке. А во-вторых — это любовь отца, а не любовь матери. Первой материнской любовью будет любовь Ревекки к ее сыну Иакову. Она появится лишь на третьем месте, и в нее тоже будет вплетен мотив дискриминации братьев: Ревекка будет любить Иакова, а Исаак будет любить Исава.

И то, и другое представляется странным. Сегодня материнской любви придается большее значение, чем отцовской, — что в литературе, что в социальной и юридической практике. Что же до любви мужчины и женщины, то нынешняя литература ставит ее выше родительской любви, да она и естественным образом предваряет родительскую любовь. Без любви мужчины и женщины не будет детей, а стало быть и родительской любви. Но для Библии всего важнее род и семья, а в данном случае — семья, которая станет народом. Поэтому любовь Авраама к Исааку она ставит на первое место. Любовь родителя к дочери, кстати, не упоминается в Библии вообще.

1. Быт. 22:2. Библейские цитаты в тексте приводятся, в основном, по синодальному переводу (и снабжаются точным указанием на соответствующую книгу, главу и стих Библии), однако в тех случаях, когда синодальный перевод уходит от желаемой точности или теряет важные смысловые оттенки, мы позволяем себе заменить отдельные слова или фразы более точным переводом Института рава Кука (так называемым Иосифоном) или дать свой собственный вариант. Тем самым, все фразы в кавычках, если они описывают библейские события, но не снабжаются сносками, являются переводом с иврита, выполненным Р. Н. и А. Ф.

"Ада и Цилла"

Любил ли Адам Еву? Любила ли Ева Адама? Вполне возможно — но их отношения не удостоились в Библии названия "Любовь". А жаль. Романтический читатель был бы рад впервые встретить слово "Любовь" именно в этом случае, потому что Адам и Ева были парой в своем роде уникальной. И не только из-за их привольной жизни в раю, не только из-за их близости к Богу, но и потому что они были вообще единственной парой во всем мире. Только им одним дано было испытать во всей полноте и длительности то блаженное состояние, которое лишь изредка доводится испытать другим счастливым парам, да и то немногим. Но Библия ни словом не упоминает о "любви", царившей между первым мужчиной и первой женщиной. Она упоминает стыд, познание, работу, печаль, власть, роды и потомство. Она сообщает, что Ева "хотела" Адама, и что Адам "познал" ее, но ни слова не говорит об их "любви". Может быть, любовь и не нужна, когда в мире нет другой женщины и другого мужчины?

И вот так, без любви, Адам познал Еву, и Ева родила Каина. Каин познал свою жену — чье имя неизвестно, — и она родила Еноха. У Еноха родился сын по имени Ирад, и этот Ирад родил Мехиаеля, а Мехиаель родил Мафусаила, и Мафусаил родил Ламеха. Так и написано — "родил". Обычно мужчина "порождает", а женщина "рожает", а здесь рожают мужчины. Может быть, в те далекие дни так и было? Но в любом случае — были мужчины, были женщины, рождались дети, но любовь — нет, "любовь" все еще не упоминалась.

И о Ламехе не сказано, что он любил, но у его жен, в отличие от других женщин тех поколений, были имена, и Ламех даже сочинил для них песню, которая, по его мнению (так я себе представляю), должна была им понравиться:

Ада и Цилла, слушайте мой голос,
Жены Ламеха, внимайте моим словам,
Ибо человека убил я за рану свою
И отрока за свой синяк.
Если за Каина отмстится всемеро,
То за Ламеха в семьдесят семеро[1].

1. Последние четыре строки в синодальном переводе звучат несколько иначе:

Я убил мужа в язву мне
и отрока в рану мне.
Если за Каина отмстится всемеро,
то за Ламеха в семьдесят раз всемеро. (Быт. 4:23–24.)

Слово "песня" здесь не упоминается, но ритм и рифма (в ивритском оригинале) говорят сами за себя, и, следовательно, Ламеха можно считать первым человеком в Библии, создавшим подлинно литературное произведение. К большому моему сожалению, это была не песнь любви, а песнь хвастовства. Если Ламех и любил кого-либо, то всего лишь самого себя.

По одной из версий, Ламех породил Ноя, того самого Ноя из рассказа о потопе и ковчеге, и у того тоже была жена. Библия ничего не рассказывает о ней, но я не сомневаюсь, что она любила Ноя большой любовью. Как обычно в Библии, центральный герой рассказа и здесь мужчина. Ной славился в своем роду как человек "праведный и непорочный": он говорил с Богом, он построил ковчег. Но жене Ноя, пока ее муж полностью отдавался этому своему новому хобби, довелось, надо думать, заниматься каждодневной жизнью семьи.

Об этом ничего не написано, но жена Ноя явно была очень любящей женщиной и, безусловно, самой терпеливой из всех многотерпеливых библейских жен. Вначале она безропотно сносила строительство ковчега, потом длительное пребывание в этом тесном и вонючем, грязном и шумном плавсредстве: животные и птицы внутри, нескончаемый ливень снаружи — и не только сотни животных и птиц, но еще и муж, и три сына, и три невестки. Некуда бежать, негде уединиться — нет, будь моя воля, я бы назвал этот рассказ и этот ковчег в ее честь. Не Ноев ковчег, а ковчег Ноевой жены — увы, без имени, ибо ее имя, так же как и ее любовь, не упомянуто в Библии.

Библия не описывает тяжелую жизнь внутри ковчега. Но ее легко себе представить, судя по тому, сколько времени им довелось потом приходить в себя на суше. Когда потоп прекратился, и земля высохла, и все вышли из ковчега, Бог снова напомнил Ною и его семье обязанность рода человеческого — плодиться и размножаться. Но сын Ноя Сим лишь через два года после потопа породил собственного сына. Похоже, что жизнь в замкнутом тесном пространстве ковчега породила в их сердцах склонность к обособленности, а может быть, даже к сексуальному воздержанию, и прошло много времени, прежде чем им удалось прийти в себя.

Сына Сима звали Арфаксад. Арфаксад родил Салу, и Сала родил Евера, и Евер родил Фалека, и Фалек родил Рагава, и Рагав родил Серуха, и Серух родил Нахора, и Нахор родил Фарру, и Фарра родил Нахора, и Арана, и Аврама — того Аврама, который позднее будет переименован в Авраама, и про-

зван "праотцем нашим", и возьмет в жены Сару (в оригинале Сарай, то есть "моя владычица"), которая будет переименована в Сарру (в оригинале — в Сару, то есть просто во "владычицу") и родит ему Исаака.

Сара (Сарра) была женщина "прекрасная видом"[1], и поскольку я вообще занимаюсь здесь всем, что "впервые", то отмечу, что она — первая "прекрасная женщина" в Библии. Но даже сейчас, когда перед нами, наконец-то, впервые появляется мужчина с такой красивой женой, мы все равно еще ничего не слышим о "любви". Уже миновали многие поколения, люди уже изрядно расплодились и размножились, они уже не раз гневались и убивали, творили грехи и бывали наказаны, уже построили город, и башню, и ковчег, пили и плакали, изгоняли других и бывали изгнаны сами, смеялись и смешили, лгали и боялись, сажали виноград и копали колодцы — но они все еще не знали любви. Все упомянутые выше слова уже появились. И только это: "любовь" — еще нет.

И тут — неожиданность. Страшная неожиданность. "Возьми-ка сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и пойди в землю Мория и принеси его там в жертву всесожжением".

Принято думать, будто история жертвоприношения Исаака имеет целью разъяснить, что Бог Израиля возражает против человеческих жертв — засвидетельствованного в Библии и широко распространенного тогда обычая. Так, Месса, царь моавитян, принес в жертву Богу своего старшего сына, когда израильтяне разгромили его армию. Но такие же ужасы происходили в те времена и у нас, евреев. О царе Ахазе сказано: "И своего сына тоже предал огню, подражая мерзости других народов"[2].

Наиболее известный и печальный случай такого рода — это история Иеффая Галаадского, одного из героев книги Судей, который поклялся принести в жертву — если победит в войне — первого, кто встретит его по возвращении. Первой вышла ему навстречу, с барабанным боем и танцами, его дочь — и он выполнил свой обет. Наши мудрецы[3] поспешили объяснить, что, дескать, Иеффаю просто недостало знания Торы, а то бы он, мол, мог освободиться от своего обета, но

1. Быт. 12:11.
2. В синодальном переводе: "И даже сына своего провел чрез огонь, подражая мерзостям народов" (4 Цар.16:3).
3. Здесь и далее принятое в иудаизме выражение "наши мудрецы" отсылает к великой плеяде древних еврейских толкователей и комментаторов Библии.

я не буду рассказывать подробно эту историю — читатель может сам прочесть ее в конце одиннадцатой главы книги Судей и понять, что в определенном смысле история Иеффая и его дочери еще страшнее истории Авраама и Исаака. Что же касается самого жертвоприношения Исаака, то лично я полагаю, что этот рассказ был предназначен не для осуждения человеческих жертвоприношений, а для того, чтобы показать, до каких мрачных глубин может дойти послушание самого послушного верующего в Библии.

Так или иначе, но в той же фразе, где Бог требует принести ему в жертву Исаака, в Библии впервые появляется любовь. Ее упоминание заслонено ужасом жертвоприношения, она почти не заметна, но это не причина игнорировать ее. Она появилась, и, кроме того, что это именно любовь отца к сыну, есть в ней еще одна любопытная особенность: она появляется не в словах рассказчика и не в словах Авраама. Не Авраам говорит Исааку, что он его любит, и не автор рассказывает читателю, что Авраам любит своего сына, а Бог говорит об этом Аврааму, как будто сообщая об этой первой любви не только нам, но и самому "первому любящему".

В сущности, Бог возвращается здесь к Своему замечательному занятию времен Сотворенья — давать имена. Это хорошо и это также полезно — для всех тех, кто с давних и до нынешних дней вопрошает: "А что это такое — любовь?" По моему скромному мнению, такой вопрос свидетельствует о кокетстве. Что такое любовь, понимают все, особенно, когда она заполняет сердце, а также когда ее в нем недостает. Я осмелюсь предположить, что даже Бялик[1], хотя и вопрошал: "Что такое любовь?" — тоже способен был распознать ее, когда она приходила к нему и когда уходила, хотя даже он затруднялся выразить свой ответ в словах.

Хорошо, что Богу нравилось такое занятие — давать имена. В силу этого он и любви дает имя уже при первом ее появлении. Бог назвал свет "днем", а тьму назвал "ночью", и суше дал имя "земля", а собраниям вод — имя "моря", и своду над нами — имя "небо", а вот это, Авраам, это чувство, которое ты испытываешь к своему сыну, называется "любовь". А сейчас, после того как я дал твоей любви это имя, возьми своего сына, которого любишь, и принеси его мне в жертву всесожжения.

1. Хаим-Нахман Бялик (1873–1934) — выдающийся еврейский поэт. Автор имеет здесь в виду строки из его стихотворения "Приюти меня под крылышком": "И еще поверю шепотом: / И во мне горела кровь; / Говорят, любовь нам велена — / Где и что она, любовь?" (Перевод Б. Камянова.)

И вот так начинается первый библейский рассказ о любви. "Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двух из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог".

Любящий отец старателен и прилежен. Работа успокаивает его, дает ему душевный покой и утешение. Он появляется на сцене первым, ибо он главный герой и к тому же только он знает, куда и зачем они пойдут. Вслед за ним упоминаются осел и два отрока, его слуги, и все трое не знают ничего, кроме своих обязанностей — нести и служить. После них появляется Исаак, второй герой рассказа, который тоже не знает правды, а под конец возникает и все необходимое для предстоящего действа: дрова для всесожжения — безмолвные, возбуждающие удивление и тревогу поленья, — к которым позже присоединятся огниво и нож для убоя. Как мы помним, в заключение Бог пошлет еще агнца и ангела, которые, по Его мнению, решат все проблемы, но на самом деле породят другие трудности, которые никоим образом не будут устранены.

А что же Сарра? Где она? Понимает ли, о чем речь? Попрощалась ли с сыном? Похоже, что нет. Сарра уже показала в прошлом, что умеет навязать свою волю Аврааму и способна усомниться даже в словах самого Господа. И если она молчит, то это молчание свидетельствует о том, что она ничего не знает. Авраам, очевидно, придумал для нее какую-то отговорку, и даже ей, в свое время принудившей мужа выгнать сына-первенца в безводную пустыню, не может прийти в голову такая чудовищная мысль: на сей раз речь идет о принесении в жертву их общего сына.

Три дня шли они вместе, любящий отец и любимый сын, и не обменялись ни единым словом. На третий день Авраам увидел место жертвоприношения и велел отрокам подождать с ослом "...а я и сын пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам".

Авраам здесь лжет дважды. Он говорит о поклонении Богу, а не о жертвоприношении Ему, и он говорит о возвращении во множественном числе, своем и сына. Если бы он заговорил сейчас о жертвоприношении, отроки наверняка задали бы ему тот же вопрос, который задаст ему потом Исаак: "Где же агнец для всесожжения?" А если бы он сказал "возвращусь" в единственном числе, а не "возвратимся" во множественном, слуги поняли бы, что с Исааком что-то

должно случиться. Кто знает, может быть, именно это он сказал и Сарре: "Ты тут займись чем-нибудь, а мы с Исааком пойдем поклониться Богу. Пойдем и вернемся, не волнуйся, Сарра".

"И шли далее оба вместе". Любящий отец и его любимый сын. И на этом этапе на сцену выходят те предметы, которые не появлялись в первом акте: нож и огниво, два специальных орудия, ранее, очевидно, спрятанные, а теперь снимающие всякие сомнения и подтверждающие все подозрения.

"И шли далее оба вместе". Любящий отец нес орудия всесожжения: нож, чтобы зарезать им своего сына, и огниво, чтобы разжечь огонь и изжарить на нем сыновнюю плоть. Любимый сын нес то, что предстояло сжечь: дрова и себя. Кто знает, может быть, Авраам извлек нож и огниво из потайного кармана, чтобы намекнуть сыну, что его ожидает, и дать ему возможность спастись бегством? Даже если так, Исаак все равно пошел с ним. Возможно, он не убежал, потому что не понял, возможно, понял и все же не убежал. Но сейчас, когда слуг с ним нет, он осмелился выразить тревогу, гнездившуюся в его сердце с самого начала.

"Отец мой", — обратился любимый сын к своему любящему отцу, словно желая подтвердить, что человек с ножом — действительно его отец, а не кто-то чужой, задумавший лишить его жизни. "Отец мой" — это первые слова, сказанные между ними после трех дней пути.

"Это я, сын мой", — ответил любящий отец, словно желая подтвердить существование семейных уз между ними.

"Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?"

Ему трудно упомянуть нож, но он там, у отца в руках.

"Бог усмотрит себе агнца для всесожжения *сын мой*".

Так ответил Авраам, и читатель не знает, какие знаки препинания поставить в этой фразе — запятую или двоеточие? То ли "Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой", то ли "Бог усмотрит себе агнца для всесожжения: (это) сын мой". Что такое "сын мой" — обращение к Исааку или объяснение предназначенной ему роли?[1]

Но кроме того (и читатели поймут это вскоре, а сами Авраам и Ицхак — лишь много лет спустя), слова "отец мой" и "сын мой" будут последними словами, которыми обменяются эти двое, — не только здесь и сейчас, на месте и во время жертвоприношения, но также отныне и далее до конца их

1. Эта неоднозначность определяется грамматикой древнееврейского языка.

жизни. Отныне они продолжат идти к назначенному месту в полном молчании. Отец соорудит там жертвенник, не сказав сыну ни слова. Он свяжет его, не сказав ему ни единого слова. И он занесет над ним нож, тоже в полном молчании.

И Исаак тоже не скажет ни слова, даже не крикнет. Ни в ту минуту, когда отец будет связывать его веревками, ни в ту минуту, когда он занесет нож над его шеей. Эта полная пассивность невольно вызывает недоумение. Библия не говорит, сколько лет Исааку, ясно, однако, что он не был тогда маленьким и слабым мальчиком. Он шел три дня пешком, а потом еще поднялся на вершину со связкой дров на спине. Аврааму же давно перевалило за сто.

По мнению наших мудрецов, Исааку было тогда тридцать семь лет. При желании он мог убежать от отца или схватиться с ним и без труда одолеть. Но похоже, что, когда он понял, чему предстоит произойти, его сковал невыразимый ужас. Возможно, однако, что в этом есть и более глубокий смысл: жертвоприношение было испытанием не только для отца, но и для сына. А кроме того, не следует забывать, что у этого рассказа, кроме героев, есть и рассказчик, и, как у всех рассказчиков в Библии, у него есть свои цели, и он мог с самого начала предназначить Исааку одну-единственную роль — быть покорной жертвой в пьесе жертвоприношения.

Более того, этот автор даже заостряет обычную для библейского рассказа установку на детальное описание действий и максимальную сдержанность в передаче мыслей и чувств. В истории Авраама и Исаака, как уже не раз отмечалось, нам вообще не рассказывают, что думают оба героя, только то, что они говорят, да и это передано с предельным лаконизмом.

Как я уже сказал выше, выражение "сын мой" было последним в этом их кратком разговоре. И не только потому, что то была ужасная минута, а, когда она миновала, отец и сын больше не разговаривали друг с другом, но еще и потому, что с тех пор они больше и не виделись. Библия не говорит этого открытым текстом, но и написанного достаточно. Там, где говорится, что Исаак и Авраам расстались со слугами и направились к месту жертвоприношения, сказано: "И шли далее оба вместе". А после жертвоприношения говорится: "И вернулся Авраам к отрокам". А где же Исаак? И где "вместе"? Отныне слово "вместе" будет относиться лишь к возвращению Авраама со слугами: "И встали и пошли вместе в Беер-Шеву". А это означает, что Исаак не вернулся с отцом, а ушел с горы Мориа один.

Из последующего рассказа выясняется еще одно любопытное обстоятельство: со дня жертвоприношения и до самой смерти Авраама, то есть в течение многих лет, мы вообще уже ни разу не встречаем его с Исааком "вместе". Исаака можно понять. После того как твой отец скрывает от тебя правду, связывает тебя на жертвеннике и заносит над тобой нож, ты вряд ли захочешь еще раз оказаться с ним в той ситуации, которая описывается словом "вместе". С того дня и до самой смерти Авраама Исаак избегал встречи с отцом, и, только когда тот умер, похоронил его с помощью Измаила (которого тот же отец когда-то выгнал в пустыню). Читателю неясно даже, пришли они отдать ему последние почести или убедиться, что отец действительно умер и наконец засыпан землей.

Тут стоит отметить, что жертвоприношение это разделило не только отца с сыном, но и мужа с женой. Сарру мы тоже больше не встретим рядом с Авраамом. Авраам после жертвоприношения поселился в Беер-Шеве, а она, сразу же в начале следующей главы, умерла в Кирьят-Арбе — и, возможно, именно потому, что ей стала известна вся эта история. Библия говорит: "И пришел Авраам рыдать по Сарре и оплакивать ее". Выясняется, таким образом, что он не был рядом с ней, когда она умирала. Он пришел из Беер-Шевы в Хеврон, чтобы похоронить ее в пещере Махпела.

Кстати говоря, всем этим трагическим последствиям жертвоприношения Исаака можно найти весьма многочисленные, хотя и не столь драматичные аналогии, потому что такая история могла бы случиться и во многих других семьях, похожих на семью Авраама, — в семьях каких-нибудь революционеров, живописцев, исследователей и других выдающихся людей, которые безоглядно служат своей мечте, своей вере, своему идеалу, будь то искусство, наука или революция. И в этом смысле жертвоприношение Исаака — не только теологическая притча, но еще и пример того, что может грозить близким людям подобных фанатиков. Эти близкие не выбирали себе такую дорогу и тем не менее им приходится расплачиваться за навязанные им идеалы и чуждую им революцию.

И наконец, жертвоприношение Исаака вызвало еще один разрыв — на этот раз между Авраамом и его Богом. Раньше эти двое имели обыкновение часто встречаться и беседовать. Бог явился Аврааму в Харране и сказал ему: "Пойди из земли твоей" в Ханаан. Он несколько раз обещал ему Страну Израиля, потом снова явился ему и заключил с ним союз, пройдя в виде огня и дыма между рассеченными на куски жертвенны-

ми животными (так называемый "союз рассечения"), изменил ему имя и потребовал обрезать крайнюю плоть, обедал у него и повторил Свое обещание, что у них с Саррой родится сын по имени Исаак. Он спорил с ним о количестве праведников в Содоме, велел ему слушаться Сарру и выгнать Измаила и Агарь и, наконец, потребовал у него принести Исаака в жертву.

Теперь все это кончилось. Начиная с жертвоприношения и дальше, Библия больше не рассказывает о встречах и беседах Авраама с его Богом. Авраам выдержал испытание, но похоже, что оба они предпочли больше не встречаться и что жертвоприношение было переломным событием для них обоих. Бог больше не являлся Аврааму и не говорил перед ним, и Авраам тоже не обращался больше к Нему и не искал встречи с Ним. Смерть жены и отдаление сына показали ему, как велика цена, которую близким людям пришлось уплатить за его веру. И кто знает, может, и у Бога появились дополнительные соображения. Может быть, Он раскаялся в содеянном, может быть, понял, что не заинтересован в такого рода вере и в такого рода верующем.

"И *стала она ему женой, и возлюбил он ее*"

Время прошло, но, вопреки расхожим утешениям, не взяло свое. Не излечило рану, не умерило боль. Мать умерла, а любимому сыну уже исполнилось сорок, но он все еще одинок, живет без жены. Отец знает, почему он стал таким замкнутым, но знает также, что после жертвоприношения уже не может запросто поговорить с ним об этом, да и ни о чем другом.

Поговорить нельзя, но можно сделать. И Авраам, чьи отношения с сыновьями свелись к изгнанию одного и попытке принести в жертву другого, решился на нечто новое. До сих пор, в соответствии с волей и намерениями Бога, он был отцом нации, а также отцом множества народов. Теперь он по собственной инициативе решил быть отцом Исаака и только его одного. Да, вред причинен, но Авраам хочет хоть немного возместить его.

И вот он впервые после долгих лет послушания и повиновения совершает, наконец, что-то по собственной воле, а не во исполнение указаний своего Бога или своей жены. И в отличие от двух злодеяний, которые он совершил по их приказу, изгнав Измаила и собравшись принести в жертву Исаака, этот его поступок был хорошим: он послал своего слугу к се-

бе на родину, в Харран, чтобы найти и привезти жену для младшего сына. Жену, которая украсила бы его жизнь, утешила и наполнила любовью его сердце. Разрыв между отцом и сыном был таким глубоким и непреодолимым, что Авраам не мог послать туда самого Исаака, как сделает в следующем поколении Ревекка, послав в Харран Иакова. Он даже не мог рассказать ему об этом. Слуга отправился в путь без ведома Исаака.

Маленький караван — несколько погонщиков с доверенным слугой Авраама во главе и десяток верблюдов, нагруженных провизией и дорогими подарками, — прибыл в Харран. Слуга остановился у колодца за стенами города, распряг усталых верблюдов и попросил у Бога послать ему знак. Он даже подсказал Ему этот знак. Он сказал Богу, что будет просить у девушек, приходящих к колодцу за водой, дать ему попить, и выберет ту, что скажет: "Пей, я и верблюдам твоим дам пить".

Надо заметить, что Авраам послал в Харран не своего надежного домоправителя Элиезера, как обычно считают, а другого слугу. Не приходится, однако, сомневаться, что и этот слуга был человеком серьезным и проницательным. Знак, который он придумал, чтобы найти подходящую жену для сына своего хозяина, был весьма разумным и соответствующим цели. Девушка, которая скажет: "Пей, я и верблюдам твоим дам пить", наверняка будет хорошей женой, потому что эти слова удостоверят, что ей присущи щедрость, инициатива, сила, доброта и уверенность в себе. Так и случилось. Когда Ревекка, дочь Вафуила, внучка Авраамова брата Нахора, пришла к колодцу с кувшином на плече и слуга попросил у нее воды, она сказала: "Пей, господин мой, — а, напоив, добавила: — Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются". Ее слова не были точно такими, как загадал слуга, но не точность слов была здесь важна, а характер, за ними стоявший.

Снова и снова выливала она кувшин в корыто, пока не напоила всех верблюдов. А ведь для этого нужно было раз за разом вытаскивать этот кувшин из колодца — работа тяжелая и утомительная. Десять верблюдов после далекого перехода способны выпить очень много воды. Слуга был растроган. Он подарил ей золотое кольцо, чтобы вдеть в нос, и золотые браслеты на запястья, а она поспешила домой и рассказала обо всем матери. Ее брат Лаван, тот самый, что в следующем поколении обманет Иакова, очень воодушевился при виде этих дорогих подарков. Он помчался к колодцу и пригласил гостя в дом, вместе с его людьми и верблюдами.

Эта часть рассказа[1] — одна из самых подробных повествовательных глав Библии. Самое интересное в ней — двукратное повторение всех деталей рассказа: один раз в третьем лице, когда автор рассказывает о походе слуги в Харран и о его встрече с Ревеккой и членами ее семьи, и второй раз в первом лице, когда слуга сам рассказывает семье Ревекки ту же историю.

Я не буду входить во все те детали, которые с таким вкусом и удовольствием повторяет талантливый и опытный рассказчик, но хочу подчеркнуть, что слуга Авраама придумал для себя действительно разумный знак. Ревекка оказалась не только щедрой и сильной, но также весьма независимой и решительной девицей. Мать и брат, надо думать, хорошо знали ее характер, и, когда слуга попросил их поскорее отпустить его с невестой в обратный путь, они сказали нечто, для Библии необычное: "Призовем девицу и спросим, что она скажет".

"И призвали Ревекку и сказали ей: пойдешь ли с этим человеком?"

"Она сказала: пойду".

Ревекка и ее служанки сели на верблюдов и поехали следом за слугой, и он привел их прямиком к Исааку, который жил тогда в земле Негев, возле источника Беер-лахай-рои. А Исаак "с наступлением вечера вышел в поле поразмыслить", сообщает нам рассказчик. Исааку, как мы помним, уже сорок лет, но он еще холостяк — ситуация, которая и сегодня обратила бы на себя внимание читателей, друзей и родственников, что уж говорить о библейских временах. Его вечерняя прогулка свидетельствует об одиночестве и отшельничестве, о свободном, ничем не заполненном времени, о давно установившихся и успокаивающих привычках. Все это изменится с появлением Ревекки, и Библия описывает их первую встречу так красиво, что я хочу привести это описание дословно и полностью:

С наступлением вечера вышел Исаак в поле поразмыслить. И возвел очи и увидел: вот, идут верблюды. Ревекка взглянула, и увидела Исаака, и спустилась с верблюда.

И сказала слуге: кто тот человек, что идет по полю навстречу нам?

И сказал слуга: это господин мой.

И она взяла покрывало и накрылась.

1. Быт. 24.

И рассказал слуга Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей, и взял Ревекку, и она стала ему женой, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по Сарре, матери своей[1].

И вот так, с помощью одного-единственного и простого глагола, который, однако, вместил в себя множество смыслов: чувство (любовь), порядок событий (после того как она стала ему женой), мужчину ("он возлюбил") и женщину ("возлюбил ее"), — мы пришли к первой в Библии любви мужчины и женщины — к любви Исаака и Ревекки.

"*Не бывать такому в наших местах*"

Фраза, заключающая первую встречу Исаака и Ревекки: "И утешился Исаак в печали по Сарре, матери своей", — очень трогательна. Она указывает — причем только после смерти Сарры — на глубокую связь, которая существовала между сыном и матерью. Она также показывает, как не просты и не однозначны отношения в любой семье. Многим читателям, да и мне, должен признаться, Сарра нередко кажется дурным человеком, иногда даже настоящей ведьмой. Она издевалась над Агарью и мучила ее, она вынудила Авраама изгнать Агарь с маленьким Измаилом. Но Исаака она любила и была ему хорошей матерью. Возможно, ее требование изгнать Измаила, которое в глазах Авраама (и наверняка в глазах части читателей) было жестоким, Исаак воспринял как доброе дело, которое мать сделала ради него. Сарра, в отличие от Авраама, ни за что не согласилась бы с требованием Бога принести сына в жертву, и, несомненно, поведение отца доказало Исааку, что только к ней он может испытывать доверие и любовь. Ее смерть была для него тяжелым ударом, тем более что этот удар постиг его сразу же после испытания на горе Мориа.

"И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей, и взял Ревекку, и она стала ему женой и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по Сарре, матери своей". Так выясняется, что Исаак сохранил шатер своей умершей матери и, можно предположить, что он сохранил и ее вещи тоже. Иными словами, он устроил в память матери нечто вроде мемориального шатра, с которым кочевал повсюду. Можно также предположить, что он иногда уединялся там, чтобы вспоминать о ней,

1. Быт. 24:63–67.

и, возможно, даже жил там подолгу, чтобы сохранить ощущение ее присутствия.

Введя Ревекку в этот шатер, сын символически представил избранницу своего сердца умершей матери и тем самым попросил ее согласия и одобрения. Но есть в этом и дополнительный смысл: этим поступком Исаак показал Ревекке, что его мать, которую ей не довелось узнать, — очень важный для него человек, присутствующий в его жизни и после своей кончины. Этим он как бы сказал Ревекке: надеюсь, что ты займешь теперь ее место.

До сих пор я говорил лишь о частной истории Ревекки и Исаака. Но в этой частной истории нашел выражение также общий и принципиальный подход Библии к любви. Порядок действий Исаака: сначала ввести Ревекку в шатер Сарры, потом взять ее в жены и лишь потом полюбить ее — это, с точки зрения библейского подхода, необходимый и правильный порядок. Исаак получил жену, выбранную по желанию Бога и в соответствии с Его знаком, затем он привел ее в шатер своей матери, потом женился на ней и только после всего этого полюбил.

Этот рассказ невольно вызывает в памяти совершенно другой порядок действий в следующем поколении, при встрече Иакова и Рахели[1].

Иаков встретил Рахель возле колодца, поцеловал ее еще до того, как представился ей и членам ее семьи, полюбил ее еще до того, как она стала его женой; семь долгих лет неутоленной любви ждал назначенного времени свадьбы, и при этом страсть его была так велика, что он забыл о вежливости и сказал ее отцу: "Давай мою жену, ибо исполнился мой срок, и я войду к ней". Это нарушение порядка не прошло без последствий. Бог позволил Лавану обмануть Иакова и дать ему вместо нее Лею.

Принято говорить, и это справедливо, что Иаков был наказан за то, что обманул своего отца. И действительно, легко увидеть сходство между этими двумя поступками. Иаков прикинулся (перед отцом) своим братом, а Лея прикинулась (перед Иаковом) своей сестрой. Иаков сделал это по наущению матери, Лея сделала это по наущению своего отца. И оба обмана были совершены под покровом темноты — в случае Иакова это была темнота слепоты Исаака, в случае Леи — темнота первой брачной ночи. Но воспитующее наказание Иакова было двойным. Он был наказан не только насильственной женить-

1. В синодальном переводе Рахель именуется Рахилью, а Лея — Лией.

бой на нелюбимой женщине, но и ее плодовитостью в противоположность бесплодию любимой: "Господь узрел, что, нелюбима Лея, и отверз утробу ее, а Рахель была неплодна"[1].

Все это было предназначено разъяснить Иакову надлежащий порядок вещей и порядок предпочтительности — в Библии на первом месте стоит семья и деторождение и только потом любовь. Нам, романтичным и эгоцентричным современным читателям, для которых личное счастье важнее всего, это кажется ужасным. Но, согласно воззрениям тех давних дней, именно так и должно было быть.

То утро, когда Иаков проснулся, открыл глаза и увидел: "И вот — это Лея", — потрясает читателя и сегодня. Легко понять его гнев и обиду и даже, возможно, проникнуться ненавистью, которую он испытывал к Лее потом. Но Библия, причем именно устами Лавана, хочет объяснить Иакову, что существует установленный порядок, даже в любви.

"Не бывать такому в наших местах, — разъяснил Лаван, — чтобы отдать младшую прежде старшей". А в отношении Иакова это "не бывать такому в наших местах" указывает еще и на другие правила, не ограниченные матримониальными обычаями Харрана. Здесь выражен библейский подход к любви вообще: лоно важнее сердца. Семья предпочтительнее любовной пары. В этом причина того, что первым повелением, которое Бог дал человеку, было "плодитесь и размножайтесь", и именно потому родительская любовь появляется в Библии первой и только за ней следует любовь мужчины к женщине.

Израильский поэт Иегуда Амихай отметил еще один интересный аспект этой истории. Хотя Рахель и Лея — два разных существа, воплощающие в себе две разные идеи, в любой женщине можно обнаружить и ту, и другую. "Всякая любящая женщина, — писал Амихай, — это одновременно и Рахель, и Лея, они меняются телом и душой, временами и платьями, сурьмой и духами, дневными вкусами и ночными специями, ночными звуками и дневными голосами, бедрами и грудями, становятся одним телом, "Рахлеей", и Иаков как будто возлежит с ними обеими сразу. Одна — бурная и горячая, знающая о своей близкой смерти при родах, другая — спокойная, и мягкая, и тяжелая. На все поколения, вплоть до меня"[2].

И действительно, при повторном прочтении библейского рассказа, особенно его продолжения, когда ненавистная

1. Быт. 29:31.
2. Из стихотворения "Язык любви и чай с жареным миндалем".

Лея рожает, а любимая Рахель остается бездетной, начинаешь понимать, что не только в этом конкретном рассказе мужчина обнаруживает утром "и вот — это Лея". С точки зрения Библии, каждый мужчина в каждую первую брачную ночь ложится в постель с Рахелью, которую он ждал семь лет любви, и на каждое следующее утро просыпается с пониманием "и вот — это Лея". Лея, чье призвание — рожать детей и создавать семью. Не романтично. Не приятно. Но такова любовь с точки зрения Библии.

Слова "и вот — это Лея" сказаны не в осуждение. По мнению библейского рассказчика, речь идет о необходимой метаморфозе. Как я уже говорил, Библия, а особенно книга Бытие, восхваляет не любовь в начале отношений, а любовь, которая развивается между людьми после свадьбы и строится вместе со строительством семьи. В этой связи можно вспомнить печальную судьбу двух других библейских пар, отношения между которыми начались не со свадьбы, а с любви: вожделение Амнона к Фамарь[1], которое привело его к насилию и ненависти, и страсть Самсона к Далиле[2], которая привела его к пленению и смерти.

Экклесиаст сказал: "Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь"[3]. Но голос Экклесиаста выделяется и во многих других отношениях, а библейская "норма" — другая. Бог велел Адаму и Ною плодиться и размножаться, а не искать идеальное супружество, и Аврааму он обещал многочисленное потомство, а не жизнь в любви с Саррой. И то же проявляется в любви Ревекки к ее сыну Иакову. Она обманула своего мужа, который любил ее, чтобы облегчить жизнь сыну, которого любила она.

Библия рассказывает: "Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу ему, а Ревекка любила Иакова"[4]. Это описание указывает сразу на несколько вещей. Во-первых, Библия более откровенна и честна, чем многие из ее читателей. Она признает возможность того, что муж и жена могут любить разных детей, пусть и одинаковой любовью. И во-вторых: любовь Исаака к Исаву была любовью, имевшей некую практическую причину. Исаак любил Исава из-за вкуса мяса, который тот для него добывал. Но "Ревекка любила Иакова" любовью, не требующей причин, не зависящей ни от чего и уж конечно не от вкусной пищи.

1. 2 Цар. 13.
2. Суд. 16.
3. Еккл. 9:9.
4. Быт. 25:28.

Более того. Отношение Исаака к Исаву описано в Библии глаголом прошедшего времени — "любил", то есть как нечто, происходившее в прошлом, по ходу сюжета — "ушел", "поел", "кушал", "любил". Но для любви Ревекки к Иакову в оригинале выбран глагол настоящего времени — "любит". То есть тут перед нами описание ситуации длящейся, постоянной, как бы одного из явлений миропорядка: Солнце восходит поутру, Луна растет и убывает, реки текут в море, и Ревекка любит своего сына Иакова. И действительно, когда придет время испытания и нужды, эта любовь — любовь матери к любимому сыну — превозможет ее любовь к мужу и к другому сыну.

Что же касается Исава — что ж, возможно, что предпочтение, которое отдавал ему отец, связано также со старой неприязнью, которую сам Исаак испытывал к своему отцу Аврааму, и даже выражает эту неприязнь. Исаак отдал свою любовь тому сыну, который и по внешности, и по роду занятий отличался от Авраама и от него самого. Сыну волосатому и рыжему — необычная внешность в семье праотцев, сыну — земледельцу и охотнику (необычное занятие в семье праотцев-скотоводов), короче — сыну, который с этой точки зрения напоминал не деда, а, скорее, своего дядю Измаила. Впрочем, нельзя недооценивать также и запах добытого на охоте, а потом хорошо и вкусно приготовленного мяса.

Того, кто думал, что жертвоприношение превратит Исаака в вегетарианца, ожидало разочарование. Как рассказывает Библия[1], запах мяса вызывал у праотца изрядный аппетит, как из-за его склонности к дичи, приносимой Исавом, так, возможно, и в силу слепоты, поразившей Исаака в старости и обострившей другие чувства — обоняние и вкус. Нет сомнения, что в тот день, когда Иаков обманул отца, не одна только коварная хитрость Ревекки, но и чревоугодие самого Исаака склонили чашу против сына, которого он любил. Несмотря на все подозрения, несмотря на безошибочно угаданный им голос Иакова, страсть к мясу настолько затуманила его разум, что он позволил Ревекке и Иакову обмануть его и тем самым навеки оттолкнул от себя Исава.

Это напоминает описанную двумя главами ранее продажу самим Исавом своего первородства за чечевичную похлебку. Выясняется, что Исаак передал старшему сыну как свою необузданную страсть к еде, так и неспособность отказаться от удовлетворения этой страсти, а Ревекка передала младшему сыну склонность к злоумышлению и обману. Может быть, в

1. Быт. 27.

этом и крылась причина того, что Ревекка любила Иакова, а Исаак — Исава. Каждый из них любил сына, похожего на него самого.

"И *взял Авраам еще жену*"

Вернемся к Аврааму. Даже сейчас, когда его план удался: Исаак женился на Ревекке и утешился после смерти матери, — отец и сын не воссоединились. Пропасть между ними не исчезла. Можно предположить, что Исаак знал, что за сватовством к Ревекке стоял его отец. Ведь слуга Авраама рассказал ему "все, что он сделал", а кто же не поймет, что слуги сами ничего не решают, самовольно в дальние страны не отправляются и не привозят оттуда по своему усмотрению жен для сыновей своих господ. И тем не менее отношения между Исааком и его отцом не возобновились.

К чести Авраама надо сказать, что он избрал разумный и благородный способ помочь сыну. Возможно, он надеялся этим вернуть его. Но, даже если он обманулся в своих ожиданиях, он этого не показал. Напротив, он еще раз поступил хорошо, не потребовав у Исаака какого-нибудь вознаграждения, — например, возобновления отношений или выражения благодарности. Он довольствовался сознанием, что сделал сыну добро, и читатель тут же понимает, что тем самым Авраам сделал добро и себе самому.

И, действительно, сразу же после того как Исаак взял в жены Ревекку и полюбил ее, Авраам тоже взял себе жену — женщину намного моложе него по имени Хеттура. И пока его сын и невестка двадцать лет ждали первой беременности, этот старик без промедления удостоился множества сыновей от своей новой жены.

Не относитесь к этому легкомысленно. В возрасте ста лет Авраам сомневался в своей способности зачать сына с Саррой. А сейчас, когда ему больше ста сорока, он родил с Хеттурой — к тому же без всяких провозвестий от Бога или появления ангелов — шестерых сыновей одного за другим: "И родил себе Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха"[1].

Женитьба престарелого отца, почти сразу же после женитьбы сына, и эта его неожиданная плодовитость, намного превышающая сыновнюю, да к тому же симпатичные рифмующиеся имена его маленьких сыновей: эти Зимраны и Ме-

1. Быт. 25:1–2.

даны так и катаются на языке — все говорит о радостной метаморфозе. И действительно, старик-отец явно изменился к лучшему. Жертвоприношение развело его с любимым сыном, но зато избавило наконец от требовательного присутствия Бога и жены — тех двух начал, что так жестко правили всей его жизнью и заставили совершить два страшных поступка: изгнать первого сына и едва не принести в жертву второго.

Сейчас, когда Бог уже не говорит с ним, а Сарра умерла, и даже Исаак нашел утешение в своей любви к Ревекке, Авраам впервые получил возможность пожить в свое удовольствие. На склоне лет он стал весьма деятельным и плодовитым. У него появились и другие наложницы, кроме Хеттуры, и с ними он тоже родил многих детей. Библия подчеркивает, конечно, что Исаак как был, так и остался его любимым сыном и что именно ему Авраам завещал все свое имущество, тогда как сыновей всех своих наложниц он отослал на восток, в землю Кедем, чтобы они не конкурировали с сыном Сарры. Но важно не это. Важна та метаморфоза, что произошла с Авраамом в этом преклонном возрасте. Он наконец-то покончил с миссией отца нации и столпа веры, перестал быть знаменем и символом и стал просто частным лицом. И хотя в его жизни снова происходят большие перемены, на сей раз это перемены чисто личные, и для него они явно радостней и прекрасней, чем предшествовавшие им метаморфозы национального и религиозного характера — переход из страны в страну, изменение имени, завет и обрезание.

И словно в подтверждение этих радостных перемен не только сам Авраам, но и его настрадавшийся, обрезанный член тоже освободился от необходимости быть символом союза с Богом и вернулся к выполнению своих обычных приятных обязанностей. Ему уже не нужно было непрерывно служить вещественным доказательством этого союза и производить из себя семя всего еврейского народа разом. Теперь это был просто веселый половой орган мужчины, освободившегося от своего требовательного Бога и своей суровой, трудной жены. А вместо двух утраченных в прежней жизни сыновей — изгнанного и принесенного в жертву, — которым суждено будет соперничать из-за его любви с того времени и по сей день, Авраам рожает теперь для себя просто веселых младенцев. Из "отца множества народов" он превратился в мужа множества наложниц и отца множества детишек.

Он встретил смерть, убеленный благородными сединами, "старый и сытый", как пишет Библия, и читатель чувствует,

что этот Авраам наконец-то доволен, спокоен и даже счастлив. И кончина у него была счастливая. Измаил, сын, которого он изгнал по приказу своей жены, и Исаак, сын, которого он возложил на жертвенник по приказу своего Бога, похоронили его сообща. Я сказал раньше, что, возможно, они пришли убедиться, что он и вправду умер, но сейчас я на себе ощутил, что хорошая старость Авраама смягчает читателя и меняет его понимание вещей. Сейчас мне кажется, что эти совместные похороны свидетельствуют скорее о том, что сыновья простили своего отца, а может быть, даже пожалели, что не примирились с ним при его жизни.

Они похоронили отца возле Сарры, изгнавшей одного из них и любившей другого, в той пещере Махпела, которая многие столетия спустя тоже станет предметом яростных споров. Сомнительно, однако, мог ли Авраам предвидеть эти будущие раздоры, а если бы и мог — не думаю, что это его бы взволновало. Свои последние, добрые годы он прожил в тепле и покое, с новой женой, и с новыми наложницами, и с новыми детьми, а после смерти снова обнаружит себя рядом с Саррой, которая с трудом опознает его — уж слишком хорошо он выглядит.

Первый сон

Когда мы вспоминаем, где в Библии впервые упомянуто слово "сон", нам на ум тотчас приходит та уходящая в небо лестница с ангелами на ней, что приснилась праотцу Иакову во время бегства в Харран. Либо же нам вспоминается сын Иакова Иосиф, вся дорога которого буквально вымощена снами. Увы, к великому нашему разочарованию, самый первый сон в Библии в действительности приснился не Иакову и не Иосифу, а некоему малоизвестному филистимлянину по имени Авимелех, который был царем древнего ханаанейского города Герар к югу от Газы. Героиней же этого сна — и я уж не знаю, обрадует это читателя или огорчит, — была праматерь Сарра, жена Авраама.

Праматерь Сарра именуется в Библии "прекрасной", и у праотца Авраама была странная и предосудительная привычка то и дело передавать ее во временное пользование чужим царям под видом своей сестры, дабы они из-за нее "не причинили ему вреда". В первый раз он поступил так в Египте, отдав ее египетскому фараону, а вторично — как раз в Гераре, отдав ее этому Авимелеху. Кстати, согласно хронологии книги Бытие, Сарре было тогда девяносто лет, но не исключено,

что Авимелех предпочитал именно зрелых женщин. А может, ему самому было лет этак двести, — возраст, весьма распространенный среди героев Библии, — и поэтому он любил молоденьких. Так или иначе, Авимелех взял Сарру в свой дворец и в ту же ночь увидел первый из снов, упоминаемых в Библии.

"Вот, ты умрешь за женщину, которую взял, — сказал ему во сне Бог, — ибо она имеет мужа"[1].

Насколько мне известно, это первый раз, когда в языке появляется выражение "умереть за женщину", причем появляется в непривычном для нас смысле. И это не "помирать", не "сохнуть" по ней и тому подобные современные выражения, а "умереть" из-за нее в буквальном смысле слова, то есть расплатиться смертью за грех обладания замужней женщиной.

И филистимский царь действительно испугался. "Неужели Ты погубишь и невинный народ? — спросил он Бога. — Не сам ли он сказал мне: 'Она сестра моя'? И она сама сказала: 'Он брат мой'. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих".

Авимелех тотчас вернул Сарру законному супругу и тем самым спасся от наказания, но следует отметить еще один немаловажный факт — у них с Саррой "не было консумации", как говорила моя бабушка в таких случаях. Иными словами, Авимелеху так и не удалось совершить желаемое с праматерью Саррой, и это очень хорошо, потому что следующая глава начинается сообщением о ее беременности. Не хватало нам еще, чтобы праотец Исаак оказался незаконнорожденным сыном какого-то необрезанного филистимлянина и чтобы его статус законного сына Авраама был поставлен под сомнение. Я уж не говорю о возможном влиянии такого события на весь нынешний ближневосточный конфликт!

Возвращаясь, однако, к нашей теме, приходится констатировать, что первого в Библии сна удостоился именно этот Авимелех, а не такие важные персоны, как Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф. И хотя еврейского читателя это может огорчить, тем не менее в этом рассказе впервые дается простое и изящное определение функции библейского сна: сообщать повеление Господне. Не все библейские сны столь же ясны и прямолинейны и далеко не в каждом из них Господь появляется собственной персоной. Но любой сон в Библии — это не отмычка психоаналитика, а практичный и весьма простой

1. Быт. 20:3.

прием, посредством которого Бог выражает Свою волю. Именно это и сказал два поколения спустя Иосиф-"сновидец", как его назвали братья, когда толковал сновидения царя Египта: "Что Бог сделает, то Он возвестил фараону"[1].

"И *лег в том месте и видел сон*"

Что же до первого еврейского сна, то о нем я уже бегло упоминал — то был сон Иакова по пути в Харран[2]. Бежав от гнева обманутого им Исава, Иаков впервые в жизни оказался вдали от матери и вынужден был провести ночь в чистом поле, а не в ее шатре. "И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег в том месте. И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней"[3].

Описание "И верх ее касается неба" напоминает слова "И вершина ее в небе", которыми описана в Библии Вавилонская башня. Но, как и в других местах, автор создает это подобие между двумя рассказами именно для того, чтобы подчеркнуть разницу между ними:

Вавилонская башня была построена на самом деле, а небесная лестница Иакову снится;

Вавилонская башня была построена до того, как род человеческий разделился на народы, а эта лестница — чисто "еврейская работа";

Вавилонская башня была воздвигнута руками множества людей, имевших общий язык и общую цель, а эта лестница — частный сон одного человека;

Наконец, Вавилонская башня была выражением борьбы с Богом, а лестница Иакова символизирует связь с Ним.

Однако сновидение Иакова не ограничилось только лестницей и ангелами. Бог также явился нашему праотцу. И поскольку то была их первая встреча, Он представился первым: "Я Господь, Бог Авраама и отца твоего Исаака" — а затем повторил обещание, которое в свое время дал двум вышеупомянутым: "Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему"[4].

Суть обоих обещаний сходна, но в нынешней формулировке есть красивое и волнующее новшество. Обещая землю

1. Быт. 41:25.
2. Быт. 28.
3. Быт. 28:11–12.
4. Быт. 28:13.

Аврааму, Бог сказал ему: "Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и твоему потомству навеки"[1]. В то же время землю, которую Бог обещал Иакову в его сне, Он определил как "землю, на которой ты лежишь". Клочок земли, на котором мы лежим, много меньше пространства, осматриваемого взглядом, но в таком взгляде нет никакой интимности. Иными словами, связь Авраама с обетованной ему землей — это связь беглого, холодного взгляда, сторонняя и абстрактная, как вообще свойственно зрению, с видимым вокруг. Напротив, у лежащего на своей земле Иакова связь с ней — полная и тесная связь прикосновения тела к телу, человека к почве.

Я боюсь, однако, что некоторых читателей могут встревожить слишком малые размеры "земли, на которой ты лежишь". Могу их утешить: мудрецы Талмуда тоже были весьма обеспокоены этим обстоятельством, но в конце концов сумели его обойти и притом вроде бы вполне удовлетворительным образом. В ту ночь, объяснили они, Бог "свернул" землю под телом Иакова, а наутро снова ее "развернул". Объяснение изящное, бесспорно, жаль только, что оно не отвечает подлинному смыслу описываемой ситуации. На самом деле, Бог здесь вообще не говорит о границах земли, потому что эти границы невозможно установить ни стоя, ни лежа. Речь идет именно о характере связи с землей. Господь обещает Иакову землю, с которой у него будет физическая близость, тесное любовное объятие.

По этому поводу стоит напомнить еще два обетования этой же земли, тоже очень похожие друг на друга. Одно — это обещание Бога Иисусу Навину (Иошуа Бин-Нуну в ивритском оригинале) накануне его вступления в Страну Обетованную: "Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам"[2]. И другое — клятва, которую дал Моисей Халеву, сыну Иефоннии: "...земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим..."[3]. Замечу в скобках, что похожи здесь не только два обещания, но и те двое людей, которые их получили, ибо Иисус Навин и Халев были единственными из посланных Моисеем в Ханаан разведчиков, которые не испугались ханаанейцев и призывали воевать с ними. А сорок лет спустя именно Иисус Навин руководил народом во время

1. Быт. 13:14–15.
2. Иис. Н. 1:3.
3. Иис. Н. 14:9.

завоевания и заселения Страны, а Халев собственными силами завоевывал земли для своих детей.

Так вот, в отличие от "глядящих" глаз Авраама и "ступающих" стоп Иисуса Навина, то есть в отличие от обетования той земли, что охватывается взглядом или захватывается мечом, обещание земли, данное Иакову, — это провозвестие его будущего интимного контакта с ней, полного чувственной связи между человеком и его землей. А может быть, смысл этого различия еще глубже? Может быть, тот Бог, что давал обещание Аврааму и Иисусу Навину, — это Бог первой главы книги Бытие, Тот, что создал весь мир и все живое в нем с помощью абстрактного повеленья: "Да будет" — и приказал человеку владеть всем этим? А Бог из сна Иакова — это, напротив, Бог из второй главы той же книги Бытие, Тот, что собственными руками вылепил человека из земли и дал ему ее имя?[1]

"Если Бог *будет со мной*"

Итак, во сне Иакова Бог снова повторил знакомую формулу: "И будет потомство твое, как песок земной" — и обещал своему слушателю, что от него родится великий народ. Судя по предыдущим разговорам Бога с Авраамом и Исааком, можно предположить, что, если бы это зависело лишь от Него, сон на этом бы и закончился. Но, к большому нашему счастью, Иаков вспомнил, что этот сон принадлежит и ему, поэтому Бог вынужден был перейти от торжественной общенациональной декларации, провозглашавшей судьбы народа Израиля в туманном будущем, к весьма конкретному и более интересному для Иакова в данный момент вопросу — об опасностях предстоящего ему трудного пути из Ханаана в далекий Харран.

"Вот, я с тобою, — успокоил Он Иакова, — и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя до тех пор, доколе на исполню того, что Я сказал тебе"[2].

Слова эти неожиданны и волнующи. Даже Авраам не получал такого глубоко личного обещания перед отправлением в свой поход, который он некогда совершил в обратном направлении — из Харрана в Ханаан. И не забудем, кстати, что

1. Имя первого человека, Адам, происходит от ивритского наименования земли — "адама".
2. Быт. 28:15.

Авраам вышел в путь по прямому Божьему приказу ("Встань и иди"), в то время как поход Иакова был всего лишь инициативой его матери Ревекки.

Иаков пробудился ото сна. "Воистину, Господь присутствует в этом месте, — сказал он, — а я и не знал". Он встревожился: "Какое страшное сие место!" — и понял: "Не иначе, как это дом Бога, а это — врата в небо". Так он пролежал до утра и, возможно, снова уснул, а окончательно поднявшись, плеснул масла на камень, что был у него в изголовье, и изменил имя места с Луз на Бейт-Эль[1], что и означало Обитель Бога.

А затем Иаков, в свою очередь, дал обет, и обет этот важнее речей Бога в его сне, потому что те речи не содержали ничего принципиально нового и не особенно отличались от всего, что Господь говорил в прошлом, тогда как обет Иакова, напротив, заново определил отношения между Богом и человеком. Из глубин веры и страха, радости и трепета, витавших над этим сном и пробуждением от него, вырвался вдруг человеческий голос, и это был голос новый и смелый, подобного которому не слышали до сих пор не только читатели, но и сам Господь.

"Если Бог будет со мной и будет охранять меня на том пути, по которому я иду, и даст мне хлеб поесть и одежду надеть, и вернет меня с миром в дом отца моего, то будет Бог мне Богом".

Казалось бы, перед нами всего лишь уточнение нескольких технических деталей, связанных с походом. Но на самом деле это заявление много глубже. Уже первое слово Иакова: "Если..." сообщает Богу, что перед Ним верующий нового типа. Действительно, это слово, во-первых, подвергает вежливому сомнению Его речи и содержит молчаливое допущение, что может получиться и иначе — то есть Божье обещание может и *не* исполниться. И во-вторых, поскольку "если" соответствует условному наклонению, оно означает некое условие: если Бог сдержит свое слово, то он будет для меня Богом. А если нет? Ответ не произносится, но витает в воздухе, ясный и логичный: тогда Он *не* будет мне Богом. Может быть, Он будет Богом кого-то другого, но не моим. Я найду себе иного Бога.

Речь Иакова произвела на Бога такое сильное впечатление, что даже пятьсот лет спустя, уже на горе Синай, Он начал Десять заповедей словами: "Я Господь, Бог твой, кото-

1. В синодальном переводе — Вефиль.

рый вывел тебя из страны Египетской, из дома рабства" — и только потом сказал: "Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим"[1]. То есть Он сначала сообщил, что сдержал уговор и выполнил то, что обещал, и только после этого потребовал — да буду Я единым Богом Израиля. Он запомнил и усвоил урок той давней беседы с Иаковом, праотцем тех людей, которые стояли теперь у подножья горы. Он говорил с ними так, чтобы не смогли и они сказать ему "если" и поставить свои условия, как это сделал когда-то Иаков.

"*Хлеб поесть и одежду надеть*"

Но Иаков не ограничился своим первым условием. Как хороший адвокат, он взял текст предложения, сделанного ему во сне, прошелся по нему и вернул с исправлениями. Его предусмотрительность и педантизм несомненно доставят читателю большое удовольствие.

Вначале вернусь и повторю то, что Господь предложил Иакову во сне: "Вот, я с тобой, — успокоил Он его, — и буду охранять тебя, куда ты пойдешь, и верну тебя на эту землю, ибо не покину тебя до тех пор, доколе на исполню того, что Я сказал тебе".

А теперь ответ Иакова Богу: "Если Бог будет со мной и будет охранять меня на том пути, по которому я иду, и даст мне хлеб поесть и одежду надеть, и вернет меня с миром в дом отца моего, то будет Бог мне Богом".

Исправления принадлежат Иакову, и они весьма поучительны.

Бог предложил: "И буду охранять тебя всюду, куда ты пойдешь".

Иаков исправил: "И будет охранять меня на том пути, по которому я иду".

То есть я не заинтересован в общих словах, мне нужна охрана и защита именно в этом конкретном походе, отсюда в Харран и обратно.

Бог сказал только: "Буду охранять тебя", а Иаков добавил к охране еще два пункта: "И даст мне хлеб поесть и одежду надеть". Иными словами, мне мало того, что Господь будет заботиться о сохранении моей жизни — пусть позаботится также о ее уровне и качестве.

Бог обещал: "И верну тебя на эту землю".

1. Исх. 20:2–3.

Иаков исправил: "И вернет меня с миром в дом отца моего".

Он добавил слова "с миром", чтобы разъяснить, что не довольствуется просто возвращением, но хочет вернуться целым и невредимым. И так же как в вопросе о пути в Харран, уточнил расплывчатую формулировку обратного пути на конкретную: не "на эту землю", а "в дом отца моего". То есть он не довольствуется возвращением в какое-нибудь место в пределах Страны вообще. Он хочет вернуться именно в тот дом, который вынужден был покинуть. В сущности, он говорит, что отцовский дом и семья в его глазах важнее, чем Страна, которую только что обещал ему Бог.

Более того: слова Бога "на эту землю" можно ведь понимать и как возвращение на то место, где Иаков находится в данный момент. А поскольку он только что назвал это место Бейт-Эль, то есть Дом Божий, то можно понять его слова и так: я не в Твой дом хочу вернуться, а в свой.

Предложения Бога и исправления Иакова явно говорят о противоречии интересов. У Бога есть большой план, этакий "гранд дизайн", и Он от раза до раза углубляет и расширяет его масштабы. Авраам, Исаак и Иаков для Него не более, чем верстовые столбы в намеченном Им направлении, ступени на Его лестнице, и не более того. Но, в отличие от Авраама, Иаков не готов взять на себя такую роль. Он разъяснил Богу то, что следовало разъяснить Ему уже давно: не только у Бога, но и у определенного человека, стоящего перед Ним, есть требования, с которыми нужно считаться. И даже если этому человеку предназначена важная историко-национальная роль, у него, кроме того, есть свои сиюминутные потребности, и его беспокоят свои сиюминутные проблемы. "Всюду, куда ты пойдешь" — это общий, широкий взгляд Бога. А вот "на том пути, по которому я иду" — это конкретная реальность, и именно она занимает сейчас Иакова больше всего, вплоть до таких "мелочей", как одежда и пища, которые Бога вообще не беспокоят.

Еще более важным в речи Иакова является второй пункт — начальное слово "если". Как я уже сказал, оно содержит открытое условие и скрытое предупреждение: если Бог не выполнит это условие, Ему придется искать другого верующего. По существу, этот пункт выражает четкое понимание, что Бог нуждается в Иакове так же, как Иаков нуждается в Нем. И, что не менее важно, отныне Бог знает, что и Иаков это знает.

Такое толкование делает понятным смысл появления "Ангелов Божиих", которых Иаков видел во сне. Они то поднимаются, то опускаются по лестнице, а потому становятся как

бы символом двусторонней, симметричной связи. Они движутся от Бога к Иакову и обратно, тем самым намекая, что каждая из сторон что-то дает и что-то получает. Конечно, вершина лестницы в небе, на земле лишь ее подножье, но двустороннее движение ангелов говорит об определенной симметрии обеих договаривающихся сторон.

К чести Бога будь сказано — несмотря на неожиданность, Он не среагировал на дерзкие слова Иакова с обычной для него суровостью. По моему скромному мнению, после первого потрясения у Него даже шевельнулась симпатия к стоявшему перед Ним человеку. У Него уже были всякие верующие, — глупые и инфантильные, как Адам и Ева, обидчивые и дикие, как Каин, праведные и послушные, как Ной и Авраам, наглые, как строители Вавилонской башни, злобные и грешные, как люди перед Потопом и жители Содома, — и вдруг перед ним появился верующий с совершенно иным складом ума, сомневающийся и требовательный, почти непочтительный, но до чего же смелый, оригинальный и занятный!

И тут Иаков добавил еще одну фразу: "А этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим", то есть в этом месте я построю Тебе Храм.

Вполне возможно, что эти последние слова автор рассказа вложил в уста Иакова по той простой причине, что жил в более позднюю эпоху, во времена регламентированной и истеблишизированной религии, и должен был думать о доходах служителей культа. Но мне бы хотелось думать, что он намеренно завершил рассказ еще одним дерзким подмигиванием Иакова в сторону неба. В самом деле, когда Иаков обещает Богу построить Ему храм, он тем самым снова указывает на их с Ним сходство. Он как бы говорит Ему: "Различие между нами не так уж велико. У обоих у нас есть материальные потребности. И если Ты позаботишься о пище и крове для меня, я обеспечу дом и жертвы для Тебя".

И действительно, сразу же вслед за тем он заявляет: "И все, что ты дашь мне, десятую часть отдам тебе". Тем самым Иаков разъясняет Богу: размер того, что я дам Твоим служителям, зависит от размера того, что Ты дашь мне. Можно ощутить улыбку на его лице, как будто он говорит: "Господи, давай не будем притворяться наивными, давай не будем прятаться за общие фразы 'к западу и к востоку', и 'как песок на морском берегу', и прочие громкие слова и щедрые обещания. Мы оба знаем, что религия — это не только вера и предвидение, и не только Земля Обетованная, и не только избранный народ и этические поучения пророков. Она также — Храм, священнослужители и жертвенники. Она —

жертвы и десятины. И нужно позаботиться о заработке для всех".

В скобках добавлю, что интерес Иакова к исчислению десятин говорит кое-что и о его характере. Его первые слова в Библии — это предложение: "Продай мне теперь же свое первородство", обращенное к Исаву[1]. А его последними словами было: "Похороните меня... в пещере... которую купил Авраам с полем у Ефрема Хеттеянина в собственность для погребения"[2]. Это он наказал сыновьям, когда они стояли вкруг его смертного ложа. В жизни Иакова были любовь и страсть, утраты и тоска, потери и боль, страх и его преодоление. Но Библия предпочла подчеркнуть его деловую сторону, начать рассказ о его жизни с разговора о продаже и закончить упоминанием о покупке. И точно так же, деловым и договорным образом, не как слепой фанатик и не как чрезмерно послушный исполнитель, а так, как он стоял против Исава и как будет стоять против Лавана и против Того, с Кем ему предстоит бороться на переходе через Иавок, он предстал в этом сне и против Бога.

"*Упаси тебя*"

Иаков, однако, не был ни единственным, кто спорил с Богом, ни даже первым. Первым был Авраам, который спорил и торговался с Богом о количестве праведников, ради которых Господь мог бы простить Содом. Казалось бы, тут обнаруживается сходство между двумя праотцами — дедом и внуком, но на самом деле куда более интересно как раз различие между ними, четко выразившееся в различии обоих споров.

Как мы помним, к Аврааму пришли в гости "три мужа" — известить о предстоящем рождении Исаака. Двое гостей — ангелы Божьи — пошли оттуда в Содом, чтобы его истребить. Третьим был Бог, который остался с Авраамом для короткого разговора. Начало их беседы было неожиданным и многообещающим. Авраам осмелился спросить Бога, почти упрекнуть Его: "Неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели Ты погубишь и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников в нем? Не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то

1. Быт. 25:31.
2. Быт. 49:30.

же было с праведником, что с нечестивым, не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно"[1].

Продолжительность речи Авраама, ее ритм и интонация свидетельствуют о сильном волнении. Это была не первая его встреча с Богом, но обычно Бог говорил, а он слушал. Сейчас ему представилась новая возможность. Бог гостил в его шатре, ел у него обед, значит он может обратиться к Нему с просьбой. Истинной причиной, подвигшей Авраама на этот разговор, была, как мне кажется, озабоченность судьбой его племянника Лота, жившего в Содоме. Но было у него, естественно, и стремление обсудить с Богом принципиальную сторону проблемы греха и воздаяния, а также желание критически обсудить решение Бога, а возможно — даже изменить его.

Однако, разволновавшись, Авраам смешал воедино самые разные аргументы и соображения. Его первый вопрос: "Погубишь ли праведного с нечестивым?" — был похож на вопрос, заданный Авимелехом, царем Герара: "Убьешь ли и невинный народ?" Иными словами, Авраам не возражал против уничтожения грешников Содома. Его заботила лишь судьба тамошних праведников. Но тут ему пришла в голову новая идея: а не простит ли Бог весь город вместе с грешниками ради пятидесяти праведников, которые, возможно, живут в нем? Однако, задав этот вопрос, он сразу же забыл о нем и вернулся к первому своему аргументу: "Упаси Тебя сделать такое, умертвить праведника с нечестивым".

"Если найду в Содоме пятьдесят праведников в городе, пощажу все это место ради них", — сказал Бог.

Иными словами, Он предпочел игнорировать вопрос о приемлемости коллективного наказания и решил испытать Авраама в менее принципиальном споре — о числе праведников, ради которых можно пощадить город.

Авраам тотчас попался в ловушку. Он начал торговаться, как покупатель на рынке. "Вот, я удостоился говорить с Владыкой, и я прах и пепел. Может быть, не достанет пятидесяти праведникам пяти, истребишь ли из-за пяти весь город?"

"Не истреблю, если найду там сорок пять", — сказал Бог.

"Может быть, там найдется сорок?" — сказал Авраам.

"Не сделаю ради сорока", — ответил Бог.

"Не прогневается Владыка и я скажу", — испытывал Авраам свою удачу, — "может быть, найдутся там тридцать?" Так и слышится, как он бормочет про себя: "Мне самому этого ма-

1. Быт. 18:24–25.

ло", — но Бог и сейчас проявляет терпение: "Не сделаю, если найду там тридцать".

"Вот, я удостоился говорить с Владыкой, — снова заводит свое Авраам, — может быть, найдутся там двадцать?"

"Не истреблю ради двадцати", — говорит Бог, недоумевая, когда же Авраам дойдет до главного.

"Не прогневается Владыка и я скажу и на этот раз, — снова просит Авраам, — может, найдутся там десять?"

"Не истреблю ради десяти", — сказал Бог, поднялся и ушел. Так и написано: "Не истреблю ради десяти. И пошел Бог, перестав говорить с Авраамом"[1].

В уходе Бога ощущается нетерпение. Он как бы говорит: "Ближе к делу, Авраам. Хватит отнимать Мое время, торговаться со Мной о мелочах и глупостях". Но есть в этом уходе и разочарование. Бог ожидал, что Авраам честно скажет, что его беспокоит судьба Лота, и перестанет прятать личный интерес за теологическими рассуждениями. Но даже если Авраам был всерьез заинтересован в теологической проблеме воздаяния и милосердия, он должен был вести ее, как подобает, то есть использовать этот редкий случай для подлинного идейного спора.

На самом деле, в торге между Авраамом и его Богом смешались сразу две проблемы: вопрос о коллективном наказании, то есть о наказании праведника заодно с грешником, с которого Авраам начал, но не продолжил, и вопрос о "стоимости" одного-единственного конкретного праведника, то есть Лота, до которого Авраам хотел добраться методами мелочного торга.

Смысл нетерпеливого ухода Бога в том, что нет разницы между сорока праведниками, или двадцатью, или десятью. Есть разница между многими и одним. Об этом свидетельствует также оставшееся в иврите выражение: "Один праведник в Содоме".

Но Авраам не занялся этой проблемой, и, когда Бог увидел, что он просто старается сбить цену и не возвращается к выяснению этого действительно важного вопроса — Ему надоело: "И пошел Бог, перестав говорить с Авраамом".

Кстати, на вопросы, заданные Авраамом, в прошлом уже был дан ответ. Если бы он прочел историю потопа, произошедшего за несколько поколений до него и описанного несколькими главами раньше, он бы уяснил себе, что Бог действует иначе: Он спасает одного праведника, но не прощает

1. Быт. 18:33.

из-за него всех нечестивцев. Во время потопа Он спас Ноя, единственного праведника в своем поколении, и уничтожил всех грешников. И так же Он поступит сейчас: Его ангелы спасут единственного праведника, Лота, и истребят весь город со всеми его грешными жителями. Короче говоря, весь этот торг из-за числа праведников был с самого начала излишним, и Авраам пропустил случай провести с Богом настоящую дискуссию.

Вернусь к Иакову. Когда впервые читаешь рассказ о его разговоре с Богом, возникает впечатление, что он, в отличие от своего деда, вообще не заинтересован в обсуждении принципиальных вопросов и торгуется исключительно из-за технических деталей и своих личных потребностей. Но хотя Иаков говорил вроде бы только о своих сиюминутных проблемах, а Авраам — как будто бы о высоких вопросах морали, оказалось, что именно Иаков был глубже и принципиальней. Он не только разъяснил Богу, что отношения между Всевышним и человеком всегда обоюдны и симметричны, потому что Бог тоже нуждается в своих верующих, а не только они в Нем. Он пошел дальше — объяснил Ему, что человек нуждается в своем Боге, чтобы тот защитил его в пути и дал ему пищу для насыщения и одежду для обогрева, а Бог нуждается в Своих верующих для самого Своего существования.

И в результате Бог понял, что прежние инструкции типа "Встань и иди" и эксперименты вроде принесения в жертву любимого сына, так хорошо сработавшие в случае послушного Авраама, не будут приняты верующим нового типа. И хотя Он и Иакова поставил перед испытанием, это испытание было совсем иного рода. Он не потребовал, чтобы тот совершил мгновенный страшный поступок. На долю Иакова выпали длительные испытания. Первым из них стал поход в Харран, и эту проверку он прошел успешно. Он начал этот поход испуганным и неуверенным в себе юношей, а закончил смелым и сильным мужчиной, который легко отбросил от устья колодца тяжелый камень и дерзко поцеловал девушку в первую же их встречу. Вторым его испытанием было долгое ожидание любимой, и этот экзамен он выдержал тоже. Третьим было долгое бесплодие Рахили, и, хотя на сей раз Иаков оказался не на высоте, это испытание помогло ему лучше понять и себя самого, и свою любимую жену. Четвертым его испытанием стала утрата любимого сына, который, как ему сказали, был растерзан хищными зверями. Иакова обманули не только сыновья — даже Бог не явился ему во сне и не открыл, что Иосиф жив.

Но Иаков выдержал еще одно, пятое испытание. Им стала ночная схватка на переходе через Иавок, один из самых загадочных и интересных эпизодов всей истории праотцев.

"*Как имя твое?*"

По возвращении в Ханаан, в преддверии неминуемой встречи с Исавом через двадцать лет после бегства от него, Иаков попросил помощи у Бога. Он покинул материнский шатер поспешно, как был, без всяких пожитков: "Со своим посохом перешел я этот Иордан", – описывал он свое тогдашнее положение двадцать лет спустя. Теперь он возвращался во главе большой семьи и с большим имуществом. Но и сейчас он боится беды. Тогда его страшили трудности и опасности похода, теперь – предстоящая встреча с братом. Раньше он потребовал от Бога добавить к договору между ними обязательство вернуть его домой "с миром", теперь он напоминает Ему об этом обязательстве: "Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава; ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал: 'Я буду благотворить тебе, и сделаю потомство твое, как песок морской'"[1].

Но как и тогда, Иаков, этот вечно томимый опасеньями библейский герой, не полагается на одну лишь Божью помощь. Едва вступив в Ханаан, он загодя посылает Исаву богатые дары, стада овец, верблюдов и другого скота, детально инструктирует своих посланцев, какие в точности слова сказать брату, чтобы задобрить его, а накануне встречи, дойдя до ручья Иавок, под покровом темноты переправляет все свое имущество и "двух своих жен, и двух рабынь, и одиннадцать детей" на другой берег. Ручей бурный, переправа опасная, особенно во мраке, но Иаков страшится предстать перед Исавом и его людьми, отягощенный семьей и имуществом.

И вот теперь, после рассказа об этой ночной переправе, звучит одна из самых таинственных и великолепных библейских фраз: "И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари"[2].

Многие и до меня уже задавались вопросом, в чем состоял смысл этой борьбы и кем был боровшийся с Иаковом. В начале рассказа он назван "Некто", в конце говорится: "Ибо боролся ты с Богом и людьми" – словно речь идет о борьбе с не-

1. Быт. 32:11–12.
2. Быт. 32:24.

ким божественным существом. Это заставляет вспомнить тех гостей, которые пришли к Аврааму перед истреблением Содома и Гоморры. Они тоже поначалу были названы "тремя мужами", а потом оказалось, что этими гостями были два ангела и Бог собственной персоной.

Некоторые комментаторы полагают, что этим "Некто" был сам Исав. Другие утверждают, что это был ангел, ответственный за него. А третьи говорят, что Иаков боролся со своей собственной сущностью. Я предпочитаю и здесь буквально придерживаться того, что написано, и думаю поэтому, что речь идет о Божьем ангеле. Во-первых потому, что читатель имеет дело с Библией, а не с "Войной и миром", а на страницах Библии вполне естественно встретить ангелов. Особенно, когда речь идет о Иакове, который уже встречал их в самых разных своих снах. В первом (перед походом) он видел, как они поднимались и спускались по лестнице; в другом (уже в Харране) он встретил ангела, который представился ему Богом, благословил его стада плодовитостью и велел ему вернуться в свою страну. Еще раз Божьи ангелы явились ему, когда он расстался с Лаваном, в том месте, которое он назвал Маханаим; и вот сейчас он с успехом борется "с Богом и с людьми" на переходе через Иавок.

Таинственный соперник, который не сумел одолеть Иакова и даже освободиться из его обхвата, попросил его: "Отпусти меня, ибо взошла заря".

Иаков не согласился. Хоть и повредив в борьбе бедро, он тем не менее предъявил свои требования и поставил условия, точно так же как требовал и ставил условия Исаву, покупая у него первородство за чечевичную похлебку, и как делал это в разговоре с Богом во сне с ангелами и лестницей.

"Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня".

"И сказал: как имя твое?"

"Он сказал: Иаков".

"И сказал ему: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь"[1].

"Спросил и Иаков: скажи, как имя твое?"

"И сказал: на что это ты спрашиваешь имя мое, оно чудесно. И благословил его там".

Эта ночная схватка на переходе через Иавок тоже происходит словно бы во сне, и хотя прямо так о ней не говорится, но подтверждается ее особенностями. Она происходит ночью, с

1. В оригинале новое имя Иакова — Исра-эль. Первая часть этого имени образована от ивритского глагола "лисрот" — бороться, вторая — "эль" — одно из наименований Бога.

одним человеком, никто другой при этом не присутствует. Она представляет собой очередную встречу и разговор с Богом или Божественным посланником. И точно так же, как в предыдущих снах Иакова, в ней есть важная весть, касающаяся его страхов накануне опасного и серьезного испытания. В первый раз так было перед походом в Харран, второй раз – перед побегом от Лавана и сейчас – перед встречей с Исавом. И, наконец, здесь снова повторяется ситуация сна о лестнице: силы равны – ангел и человек борются и не могут победить друг друга, – и оба задают друг другу один и тот же вопрос: как тебя зовут? Кстати, вопрос Иакова: "Скажи имя твое?" – и ответ соперника: "На что ты спрашиваешь имя Мое, оно чудесно" – тоже свидетельствуют в пользу того, что речь идет о Божьем ангеле, потому что точно те же вопросы повторяются в Библии еще раз, много позже, при встрече родителей Самсона с Божьим ангелом, посланным известить их о рождении сына. Там Маной, отец Самсона, спрашивает ангела: "Как тебе имя?" – и ангел отвечает: "Что ты спрашиваешь об имени моем? оно чудно"[1].

Но окончательное доказательство Божественной природы загадочного соперника содержится в названии, которое Иаков дал месту их борьбы после ее завершения. Он назвал это место Пниэль[2] (на иврите "лицо мое к Богу"), объяснив: "Ибо видел я Бога лицом к лицу и спаслась душа моя". То есть Иаков знал, что боролся с Божьим посланцем, а не со смертным существом, и важнее всего, в конечном итоге, что это не вызвало у него ни робости, ни малодушия.

"*Отныне имя тебе будет не* Иаков"

Но не одна лишь успешная борьба с Божьим ангелом важна в этом рассказе. Важно также благословение, полученное Иаковом в результате этой борьбы, и изменение его имени. Возьму на себя смелость сказать, что изменение имени Иаков на Израиль имеет иной и даже более глубокий смысл, чем изменение имени Аврам на Авраам. У этого последнего есть лишь национальное значение, ибо Аврам – это просто имя собственное, а Авраам – "отец множества народов". Но переименование Иакова имеет еще и личный смысл, представляющий не меньший интерес, чем официальное библейское объяснение.

1. Суд. 13:17–18.
2. В синодальном переводе – Пенуэл.

Библейское объяснение, напомню, дано в словах ангела: "Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо боролся ты с Богом и с людьми". Израиль, или ивритское Исраэль, как мы уже говорили, произведено от глагола "лисрот", а точнее — от корня "с-р-э", из которого в иврите производятся также такие слова, как "сар" — министр и "срара" — буря, так что корень этот означает, в общем, силу и власть. В соответствии с этим, Израиль — это действительно тот, кто боролся и одолел своего противника. Но если бы это объяснение было единственным, ангел не спрашивал бы Иакова о его прежнем имени. Поскольку же он спросил и получил ответ, можно предполагать, что в имени Иаков тоже есть особый смысл, принципиально отличающий его от имени Израиль.

Имя "Иаков" объясняется в Библии дважды. Один раз оно относится к особому рождению: "Следом вышел брат его, держась рукой своею за пятку Исава, и наречено ему имя Иаков". Здесь корень "а-к-в" использован в своем значении "следовать", "идти по следам". Второе же объяснение, более близкое к нашему предположению, опирается на другое значение того же корня, который означает еще и "обходить, идти окольными путями". Это объяснение впервые появляется в словах Исава после эпизода с переодеванием, с помощью которого Иаков украл благословение отца: "Не потому ли дано ему имя Иаков, что он обошел меня уже два раза?"[1]

С точки зрения лингвистической вполне возможно, что оба эти значения связаны: например, поначалу ивритский глагол "лааков" означал "ходить по следам другого" (как ходит охотник по следам животного, замышляя убить его), а впоследствии приобрел более общее значение, вроде "действовать хитростью, обходить с помощью лукавства", — и тогда имя Иаков стало означать "непрямой" — как в смысле телесного изъяна (намек на поврежденное в борьбе с ангелом бедро), так и с точки зрения нравственности, ведь Иаков обошел брата и получил отцовское благословение с помощью той же "не-прямоты", на которую намекает это имя.

(Пророк Иеремия не зря предупреждал: "Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому и всякий друг разносит клеветы".)

Сейчас, удерживая ангела и не давая ему уйти, Иаков потребовал: "Не отпущу тебя, пока не благословишь меня". Он

1. В синодальном переводе сказано не "обошел", а "запнул", т. е. поставил подножку, что имеет, по сути, тот же смысл, что "обошел хитростью".

мог потребовать богатства и счастья, здоровья и мудрости. Мог потребовать главного, в чем тогда нуждался, — защиты от брата. Но он попросил благословения и, что ему не свойственно, даже не детализировал его содержания по пунктам. Это свидетельствует о том, что не суть благословения была ему важна, а обстоятельства и сам факт его получения. Поскольку Иаков знал, что благословение отца он получил обманом, теперь он хотел благословения, полученного честно.

И действительно, ангел благословил его не чем-нибудь обычно принятым — плодовитостью, или землей, или властью и тому подобным. Его благословение состояло в том, что Иаков был переименован: "Не Иаков будет отныне имя тебе, а Израиль". Официальное объяснение, как я уже отмечал, звучало: "Ибо боролся ты с Богом". Но нельзя не заметить, что подобно тому, как в имени Иаков слышится "акав", смысл которого "обходной путь или обман", в имени Исраэль (так звучит Израиль на иврите) слышится отзвук слова "яшар", что означает "честный". Отныне Иаков уже не будет считаться обманщиком. Новое благословение он получил по праву и по чести. Понятно, что это имеет особое значение именно перед его встречей с Исавом, которого Иаков когда-то обманул.

Кстати, переименование Иакова в Израиль вновь описывается еще через несколько глав, но там ему уже не дается никакого объяснения. Однако со временем выясняется нечто интересное. После изменения имени Аврама на Авраам мы уже не сталкиваемся больше с прежним именем Авраама. После изменения имени Сары на Сарра ее всегда называют Сарра, и только так. Но Израиль еще много раз именуется Иаковом. Даже в устах Бога, как например: "И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал: вот я"[1].

Похоже таким образом, что, несмотря на Божье решение переназвать его Израилем, Иаков так и не избавился от прежнего имени. Возможно потому, что в отличие от Аврама и Сары имя Иаков определяет также характер и личность, а они не могли измениться с переменой имени. Однако Страна Обетованная все же называется Страной Израиля, а не "Страной Иакова", и евреи тоже Сыны Израиля, а не Сыны Иакова. Тут Библия предпочитает новое и чистое имя, которое дал Иакову Бог, а не родители.

Есть и еще одна интересная деталь: Страна Израиля, на земле которой спавший Иаков видел свой первый сон, не на-

1. Быт. 46:2.

зывается ни Страной Авраама, ни Страной Исаака, хотя она была обещана и этим двум праотцам, и даже раньше, чем была обещана Иакову. И Сыны Израиля тоже не называются сыны Авраама или сыны Исаака. Разумеется, это можно объяснить тем, что потомки Измаила тоже имеют право называться сынами Авраама, а потомки Исава — сынами Исаака, так что, если евреи хотят иметь имя, отличающее их от всех остальных, им следует называть себя только сынами Израиля. Но одновременно это свидетельствует еще и о том, что Иаков — не только один из трех "праотцев", как мы торжественно и высокопарно их величаем, но и просто отец в самом прямом и трогательном смысле этого слова. Отец, чьи качества, хорошие и плохие, можно найти в каждом из нас и поныне.

Первая любящая

Во всей Библии упоминаются только три "любящие" женщины: Ревекка, любившая своего сына Иакова, Руфь Моавитянка, любившая свою свекровь Ноеминь, и Михаль[1], дочь Саула, любившая своего мужа Давида. Это означает, что Михаль не только первая, но и единственная в Библии женщина, о которой сказано, что она любила мужчину. Во всем библейском тексте такая любовь упоминается всего один раз, и это призвано подчеркнуть не только ее силу, но и трагичность. Ибо, к большому сожалению, эта единственная в Библии любовь женщины к мужчине — не только "одноразовая", но и односторонняя. Впрочем, зная, каким человеком был ее муж, иного и нельзя было ожидать.

Как мы помним, о Давиде в Библии говорится, что он "человек храбрый, и воинственный, и разумный в речах, и видный собою, и умеющий играть", и что "с ним Господь". Но у него было еще одно качество, не поименованное в этом перечне, но вытекающее из всех рассказов о нем, — он был человеком, которого любили. Более того, он самый любимый человек в Библии. Возможно, подлинная трагедия Михали как раз и состояла в том, что она любила мужчину, любимого столь многими людьми, человека, который, и пальцем не шевельнув, завоевывал сердца ближних и чувственный мир которого стал поэтому извращенным и порочным.

1. Мы будем пользоваться этим широко распространенным и в современном Израиле женским именем, означающим "ручей", а в народной этимологии — "кто как Бог". В синодальном переводе оно заменено греческим Мелхола.

Первым, полюбившим Давида, был отец Михали, царь Саул. В Первой книге Царств (глава 16, стих 21) сказано: "И пришел Давид к Саулу, и служил ему, и очень понравился ему". Вторым был Ионатан[1], сын Саула, брат Михали. В той же Первой книге Царств (глава 18, стих 1) говорится: "И душа Ионатана прилепилась к душе Давида, и полюбил его Ионатан, как свою душу". Позднее в этой же главе появляются и другие любящие: в шестнадцатом стихе "весь Израиль и Иудея любили Давида, ибо он выходил и входил перед ними"; в двадцатом впервые возникает Михаль: "И полюбила Давида другая дочь Саула Михаль"; в двадцать втором Саул велит сказать Давиду, что "все слуги его (Саула) любят тебя", а в Третьей книге Царств (5:1) о неком Хираме говорится, что он "любил Давида всю свою жизнь".

Этот Хирам, кстати, был царем соседнего с Израилем Тира, и хотя его любовь к Давиду не имеет для нас особого значения, она свидетельствует о том, что обаяние израильского царя одолевало даже государственные границы. Действительно, во всей Библии нет другого человека, рядом с именем которого так часто спрягается глагол "любить". Однако, всматриваясь в текст, вдруг замечаешь, что интересно не только это обилие изъявлений любви, но также — что куда существенней — ее однонаправленность. Она всегда направлена к Давиду и ни разу — от него к кому-нибудь другому. Нигде и никогда не упоминается любовь, идущая от Давида к ближнему. Все любят его, а он не любит никого.

Но вершин трагической иронии достигает в этом плане любовь к Давиду царя Саула и его детей, Михали и Ионатана. Саул долгие годы продолжает любить своего врага и соперника, хотя тот в конце концов доводит его до безумия и лишает трона. Михаль долгие годы любит мужчину, который сначала отступился от нее, потом затребовал ее обратно, затем рассорился с ней, а под конец вообще отказал ей в близости. А Ионатан так беззаветно полюбил человека, который в конце концов захватил трон, предназначенный ему самому, что принял эту узурпацию без всякой борьбы и возражений. Более того, подобно своей сестре Михали, он однажды помог Давиду спастись от убийц, подосланных их собственным отцом. Этот поступок трудно переоценить. К тому времени Ионатан уже прославился и как воин, и как вождь и вполне мог по справедливости и с успехом наследовать Саулу. Но он отказался от трона из любви к Давиду. Он

1. В синодальном переводе — Ионафан.

сам сказал ему: "...ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это"[1]. А когда перед этим Ионатан заставил Давида поклясться, что, став царем, он не обидит сауловых потомков, клятва эта тоже была особого рода, ибо Ионатан и тут заклинал Давида своей любовью: "И снова заклинал Ионатан Давида своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу" (1 Цар 20:17; в синодальном переводе наоборот: "Ионатан клялся Давиду своей любовью к нему").

Любовь Давида и Ионатана вошла в историю как символ любви и дружбы между двумя мужчинами. Но лишь немногие обращают внимание на то, что даже эта любовь была односторонней. То была любовь Ионатана к Давиду, но не Давида к Ионатану. Это обнаруживается самым неожиданным и трогательным образом в словах самого Давида, в его плаче по Саулу и Ионатану после их смерти в битве на горе Гильбоа[2].

Плач этот, один из самых известных и красивых текстов ивритской поэзии, поистине великолепен в своем сочетании искренности с прагматизмом, подлинного горя с продуманной расчетливостью. Конечно, прославляя погибшего царя Саула, Давид наверняка уже думал о собственном воцарении, которому предстояло произойти в ближайшем будущем. Но, оплакивая Ионатана, он говорил от души, и у него вырвалась правда.

"Скорблю о тебе, брат мой Ионатан... — сказал он, — любовь твоя была для меня превыше любви женской"[3].

Внимание читателя, естественно, привлекает выражение "женская любовь", но по-настоящему важные слова здесь — "любовь твоя". Они дают точную характеристику отношений между этими двумя людьми, подтверждая, что речь идет о любви Ионатана к Давиду, но не о любви Давида к Ионатану.

"Превыше... была любовь твоя", — говорит Давид, а не "превыше была моя любовь". "Твоя любовь", — говорит он — и даже не "наша любовь". Иными словами, Давид и сам сознавал, что в их паре Ионатан всегда был любящим, а он, Давид, — любимым.

Что же, Давид просто проговорился ненароком, или и здесь говорил с тайным расчетом? Безусловно, когда речь идет о Давиде, второе вполне допустимо. Но так или иначе, факты налицо. Давид был любим, но не любил, был объектом

1. 1 Цар. 23:17.
2. Это название сохранилось и на сегодняшних географических картах и в справочниках. В синодальном тексте это "гора Гелвуйская".
3. 2 Цар. 1:26.

ухаживаний, но не ухаживал, и при этом хорошо понимал и использовал ситуацию. Эта избалованность мало-помалу породила в нем ощущение вседозволенности, а чувство вседозволенности способствовало его провалам и под конец привело к жалкой кончине.

"Сто краеобрезаний филистимских"

Подобно тому как Давид не любил ни одного из любивших его людей, так не любил он и Михаль. Но тут дело обстояло куда хуже, поскольку Михаль, как мы уже говорили, была, по словам Библии, первой женщиной, любившей своего мужчину. Любящих мужчин в Библии немало, и ее авторы изрядно потрудились, повествуя нам о них во всех подробностях. Исаак любил Ревекку, Самсон любил Далилу, Артаксеркс (Ахашварош) любил Эсфирь, Иаков любил Рахель, Роваам любил Махалафу, Элькана любил Анну, и во всех этих случаях используется слово "любовь". Оно употребляется даже в отношении двух библейских насильников: Амнон "любил" Фамарь и Сихем, сын Еммора, "любил" Дину. Но вот о Давиде не сказано, что он любил Михаль, и его отношение к ней тоже не свидетельствует о любви. Хотя, как я уже говорил, оба они, она и ее брат Ионатан, в двух разных ситуациях помогли Давиду бежать от убийц, подосланных Саулом, но с Ионатаном Давид хотя бы попрощался с плачем и поцелуями, а уходя от Михаль, он даже не оглянулся. С Ионатаном он продолжал встречаться тайком, но с Михалью, своей женой, даже не попытался встретиться. При желании он вполне мог найти способ. Он уже совершал во много раз более дерзкие поступки. Но он не возражал и не противился, даже когда Саул отдал ее другому мужчине.

По одной версии, Давид получил дочь Саула как награду за победу над Голиафом. По другой версии – дал за нее выкуп особого рода: крайние плоти ста филистимлян (см. главу "Первый царь"). Так или иначе, с точки зрения Михали, это была романтическая любовная история. Но с точки зрения Давида, женитьба на Михали была попросту выгодной политической сделкой. Она была дочерью царя, и брак с ней повышал его статус в настоящем и открывал перспективы в будущем. И эти же низменные соображения ожили в его уме годы спустя, уже после смерти Саула и воцарения самого Давида в Иудее, когда Авенир Бен-Нер, военачальник Саула, предложил ему свою поддержку в борьбе за Саулов трон. Давид тогда согласился, но тотчас выставил четкое условие.

"Хорошо, я заключу союз с тобою, — ответил он Авениру на его предложение, — только прошу тебя об одном, именно — ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Михаль, дочь Саула, когда придешь увидеться со мною"[1].

И то же самое требование он предъявил через своих послов Иевосфею, сыну Саула, которого Авенир посадил было на трон Израиля. "Отдай жену мою Михаль, — сказал он ему, — которую я получил за сто краеобрезаний филистимских"[2].

Эти слова позволяют понять истинные мотивы Давида. Он требует вернуть ему Михаль лишь потому, что она принадлежит ему согласно договору с ее отцом, Саулом. Не любовь движет им. Он ссылается на условия договора. А кроме того, он хочет показать всем и каждому, что теперь он преемник Саула и вправе предъявить свои требования последнему царю из дома Саулова. И Михаль действительно была тотчас отправлена к своему любимому мужчине. Только этот мужчина, который никогда ее не любил, вернул ее себе в совсем другой ситуации, весьма отличной от той, которую она помнила. Разлука с ним, произошедшая за несколько лет до того, представляла собой завершение драматической истории, в которой сплелись предательство и коварство, смертельная опасность и самоотверженная любовь. Саул послал тогда людей, чтобы убить Давида, и Михаль, как я уже упоминал, спасла его. Она спустила веревку или скрученную простыню из окна их спальни и держала ее, пока Давид спускался по ней. Он ушел, а она стояла у окна и смотрела, как он удалялся, пока не исчез совсем. Прошли годы, он взял себе многих других жен, а она все продолжала держать простыню, ожидая того дня, когда сможет снова расстелить ее на их супружеском ложе.

Отец отдал ее Фалтию, сыну Лаиша из Галлима, а, когда ее забрали у Фалтия и вернули Давиду, тот уже был царем Иудеи, и у него уже был гарем, и в этом гареме были разостланы шесть постелей и в каждой постели — новая жена: Авигея, вдова Навала Кармилитянина, Ахиноама из Изреэля, Мааха, дочь царя Гассурского, Агиффа, Авитала и Эгла. И шестеро маленьких сыновей тоже были там, по одному от каждой, и, вероятно, немало дочерей, которые, как это принято в Библии по отношению к большинству дочерей, не упоминаются, в счет не идут и имен не имеют.

1. 2 Цар. 3:13.
2. 2 Цар. 3:14.

Почва для конфликта была налицо, и страшная ссора не заставила себя ждать. Она произошла в тот торжественный день, когда Давид перенес в Иерусалим Ковчег Завета Господня. Как известно, ранее Ковчег был захвачен филистимлянами в бою при Афеке. Это было еще до воцарения Саула. Оказавшись в чужих руках, Ковчег вызвал многочисленные бедствия и эпидемии в филистимских городах. В результате он был возвращен евреям и помещен в Бейт-Шемеше[1], а потом взят оттуда и установлен в Кириат-Яарим. Теперь, спустя много лет, Давид решил с большой пышностью перенести Ковчег в свою новую столицу, только что захваченную у иевусеев[2].

Не будем вдаваться в подробности — их можно найти в 6-й главе Второй книги Царств, — достаточно сказать, что после ряда новых несчастий и остановок процессия с Ковчегом прибыла, наконец, в город, и все это время Давид, нарядившись священнослужителем, изо всех сил прыгал перед своим Богом, а "Михаль, дочь Саула, смотрела через окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, презрела его в сердце своем"[3].

Так, из окна, она смотрела на него многие годы назад, когда он убегал от Саула, и так же, из окна, она смотрела на него сейчас. "Сцена в окне" повторилась, только тогда она видела Давида убегающего, а сейчас — скачущего и пляшущего перед всем народом. Ей не понравились оба зрелища. Поэтому по окончании церемоний и торжеств, когда Давид вернулся во дворец, она сама вышла ему навстречу. Но не для того чтобы поздравить, а затем, чтобы выразить отвращение и осудить непристойные пляски и прыжки, которые показались ей недостойными царя. Читателю, впрочем, ясно, что не это было истинной причиной ее гнева, и уж конечно не единственной его причиной. Она воспользовалась случаем, чтобы посчитаться с Давидом и излить на него всю свою горечь.

1. В синодальном переводе это название (означающее Дом Солнца) передано греческим словом "Вефсамис".
2. Иевусеи — одно из ханаанейских племен, оставшееся в Палестине после ее завоевания евреями. В книге Судей (1:21) сказано: "Но иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы". Сам Иерусалим тоже поначалу именуется в Библии "Иевусом" (Суд. 19:10). Давид захватил город силой, а потом уплатил его жителям-иевусеям "отступные" и тогда превратил Иерусалим в свою столицу.
3. В синодальном переводе: "...уничижила его в сердце своем" (2 Цар. 6:16).

То была ссора из ссор, одна из самых прославленных во всей истории Израиля. Не распря священнослужителя с пророком или спор военачальника с царем, всего лишь ссора между супругами, но этими супругами были царь и царица, оба к тому же острые на язык, и вдобавок ко всему нам рассказал о них замечательный писатель, которого мог бы пожелать для себя каждый литературный герой.

Михаль не была какой-нибудь простолюдинкой. Она была дочерью царя. Поэтому ее обращение к мужу было выдержано в отточенном стиле хорошо воспитанных людей. Это было обращение уважительное, в третьем лице, что в данных обстоятельствах лишний раз подчеркивало насмешливое презрение. "Как отличился сегодня царь Израилев, — произнесла она негромко, сдержанно и язвительно, — раскрывшись[1] перед глазами рабынь рабов своих, как раскрывается какой-нибудь ничтожный человек".

Глагол "раскрыться" она выбрала не случайно. Этот глагол напоминает о праотце Ное. Спасшись от потопа, он на радостях выпил вина, "и опьянел, и лежал раскрывшись в шатре своем". Вполне вероятно, что Михаль имела в виду, что во время своих непристойных танцев перед Ковчегом Давид тоже самым нескромным образом "раскрывал" свою наготу. Действительно, глагол "раскрыться" в самых различных формах то и дело появляется в Библии именно в связи с наготой, а также в связи с запретными сексуальными контактами. Так, эксгибиционизм на иврите именуется "раскрытием срама", а термин "кровосмешение" передается выражением "раскрытие наготы". На тот же смысл слова "раскрыться" намекает и наряд Давида — он танцевал в льняном эфоде, верхней одежде священнослужителей. Сразу же вспоминается указание, содержащееся в книге Исход (28:42), где священникам, "сынам Ароновым", велено одевать под этот эфод "нижнее платье от чресл до голеней" именно "для прикрытия срамной плоти".

Не исключено также, что дочь Саула особенно коробило, когда люди обнажались в моменты религиозного экстаза — ведь именно в такие минуты зачастую "раскрывался" сам Саул. Так случилось, кстати, и в тот день, когда она спасла от него Давида. Саул встретил тогда группу пророков во главе с Самуилом. "И на него сошел дух Божий... и снял и он одежды свои, и

1. В синодальном переводе стоит "обнажившись", что близко к тексту, но лишает его важных нюансов, о которых автор говорит чуть дальше. Аналогично приведенная далее автором цитата из рассказа о Ное тоже содержит (в оригинале) глагол "раскрывшись", а не "обнажившись".

пророчествовал пред Самуилом, и весь тот день и всю ночь лежал обнаженный"[1]. В отношении ее отца о постыдном обнажении тела сказано прямым текстом, и возможно, что Михаль с ужасом увидела своего мужа в точно таком же состоянии.

Так или иначе, но Давид тоже не был простым рыночным скоморохом, и он ответил Михаль с тем же насмешливым остроумием, с которым она обратилась к нему. "Пред Господом, — сказал он, — Который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля, пред Господом играть и плясать буду"[2].

Давид, как известно, был наделен музыкальным талантом, и я не сомневаюсь, что он сумел найти подходящую мелодию и произнести эту свою фразу так, что не только ее слова, но и интонация обжигали ненавистью и желанием причинить боль. Он, наверное, еще и подчеркнул слова "меня" и "отцу твоему", чтобы задеть побольнее.

Михаль тоже способна была выбрать обидные слова и попасть в цель, но Давид был куда грубее и безжалостнее. Он не преминул помянуть родителей своей жены и всю ее семью ("отцу твоему и всему дому его"), как поступают и сегодня супруги во время яростной ссоры. А затем продемонстрировал не меньшую, чем у нее, способность приправить слова ядом и подать его в точной дозировке: "И я еще больше уничижусь, — продолжил он, — и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен"[3]. Иными словами — я готов и еще больше унизиться и умалиться, ибо общество упомянутых тобою наложниц мне предпочтительней, чем твое.

У этих двоих, у Михали и Давида, была явная склонность к театральности. У Михаль она проявилась здесь впервые. У Давида уже давно — в его речах перед битвой с Голиафом, и когда он притворялся безумцем у Анхуса, царя Гефского, и когда стоял перед Саулом в пустыне, после того как отрезал полу его плаща и тайком забрал его копье и фляжку. Не сговариваясь друг с другом, они сочинили, срежиссировали и разыграли сцену этой ссоры, и каждый из них исполнил свою роль великолепно.

Легко представить себе даже их позы: Михаль стоит, прямая и жесткая, Давид расслаблен, вихляет всем телом. Легко услышать и интонацию их речей. За все время этой ужасной

1. 1 Цар. 19:24. В синодальном переводе — "неодетый".
2. 2 Цар. 6:21.
3. 2 Цар. 6:22.

ссоры они ни разу не повысили голоса. Они наверняка говорили негромко и спокойно, что еще более подчеркивало накал их слов, пропитанных ядом и ненавистью. Читатель может проверить сам. Сразу же становится очевидно, что громкое прочтение этого диалога намного уменьшает его силу. Эти слова звучат куда выразительней, когда произносятся змеиным шопотом, а не гремят, как львиный рык.

Мне самому, когда я читаю эти ужасные по смыслу и прекрасные по стилистике строки, совершенно очевидно, что они написаны очень талантливым автором. Возможно, тем же человеком, который придумал диалог между Фамарью и Иегудой в тридцать восьмой главе Книги Бытия. А может быть, тем, кто воссоздал разговор слуг с состарившимся Давидом, когда обсуждался вопрос, не пригласить ли молодую женщину, чтобы она согрела его бессильное тело.

Ибо нужен большой талант, чтобы рассказывать о людях не в третьем лице, а характеризуя их собственной речью, причем не только ее содержанием, но и интонацией. Что потрясает более всего, так это страшное добавление, как бы мельком брошенное в самом конце: "И у Михаль, дочери Саула, не было детей до дня ее смерти".

Михаль не была бесплодной. В другом месте Библия упоминает, что у нее было пятеро детей – те пятеро сыновей, которых Давид позже отдал на смерть по требованию жителей Гаваона. И хотя некоторые комментаторы считают, что то были дети ее сестры Меровы и для этого тоже есть основания, но вполне возможно, что то были дети Михали от Фалтия, сына Лаиша, мужчины, которому Саул отдал ее после побега Давида.

Есть комментаторы, которые говорят, что Михаль, дескать, была наказана небом. Бог запечатал ее чрево за дерзость, которую она проявила в день прибытия Ковчега в Иерусалим. Я вижу это иначе. По-моему, добавление, которое завершает ссору Михали с Давидом, свидетельствует о полном разрыве отношений между супругами. Давид больше не приближался к Михали, и Михаль – первая и единственная в Библии женщина, любившая мужчину, – больше не спала с мужем, которого любила. Было ее воздержание навязанным или добровольным – Библия и этот вопрос оставляет без ответа.

"*Купающаяся женщина*"

Но Михаль, а позднее пятеро ее сыновей, выданных гаваонянам, не были единственными жертвами Давида. По сторонам

его пути лежат и многие другие. Одних он лишил жизни, других — радости, третьих — надежды, и все эти истории свидетельствуют о том, что его отношения с другими людьми, с мужчинами ли, с женщинами ли, всегда оставались в инструментальной плоскости. Иными словами, все они были для него лишь орудиями.

Я не имею в виду таких, как Голиаф, которые вполне заслужили свою смерть, я говорю о жертвах невинных. Например, о Рицпе, дочери Айи, наложнице Саула, и двух ее сыновьях, которые вместе с пятью сыновьями Михали, были отданы на казнь гаваонянам. Или об Ахимелехе, священнослужителе из Номвы, которого Давид, бежавший от Саула, обманул, сказав, что послан к нему самим царем. Ахимелех дал ему оружие и пищу, и за это он и все жители его города были казнены воинами Саула. Или о Мемфивосфее, сыне Ионатана, о котором Давид вначале заботился, а потом бросил его, хромого калеку, на произвол судьбы. А также о Иоаве, сыне Саруи, самом преданном из всех, которого он тем не менее завещал Соломону убить — если, разумеется, он вообще оставил завещание, потому что, на мой взгляд, оно было попросту сфабриковано Соломоном.

Но самой известной жертвой Давида был Урия Хеттеянин. Этот прославленный воин упоминается во Второй книге Царств (23:39) в почетнейшем "списке давидовых героев". К большому сожалению, известность пришла к нему, главным образом, не в силу его героизма, а потому что он был мужем красивой женщины. Ее звали Бат-Шева[1], и она забеременела от Давида в то время, когда сам Урия воевал под началом Иоава с армией аммонитян.

История эта изложена во Второй книге Царств, в главах 10—12, и я очень советую читателю не ограничиваться моим кратким изложением, а прочитать этот рассказ целиком. Он начинается с упоминания о дипломатической делегации, которую Давид послал в соседний Рабат-Амон (Равву), чтобы выразить наследнику аммонитского престола соболезнование по случаю смерти его отца. Аммонитяне почему-то заподозрили членов делегации в шпионских намерениях. Они сбрили у каждого по половине бороды, обрезали наполовину

1. В русском синодальном переводе она именуется Вирсавией. Мы, однако, считаем необходимым и здесь восстановить написание оригинала, тем более что это весьма значимое имя. Бат-Шева — это буквально "дочь клятвы". но кабалистические комментаторы предпочитают толковать ее имя как "седьмая дочь", что позволяет им глубокомысленно связывать это имя с названием седьмой из так называемых "десяти сфирот" ("Малхут", или "царство") и тем самым объявлять "небесной суженой царя Давида".

одежду и изгнали обратно в Израиль. На такое оскорбление можно и даже должно ответить, но из всех возможных вариантов ответа — от погружения аммонитского посла в смолу и обкатывания его в перьях и до закрытия пограничных переходов и наложения экономических санкций — Давид выбрал именно полномасштабную войну. Кампания, однако, усложнилась и затянулась, и история с Урией и Бат-Шевой произошла, когда война уже вступила в свой второй год. Иоав в это время осаждал аммонитскую столицу.

Надо заметить, что эта война с аммонитянами имела еще одну особенность. То была первая война Давида, в которой он не принимал личного участия. Еще до нее и в другом месте воины Давида потребовали однажды, чтобы царь не подвергал себя опасности на поле боя, и теперь он вдруг надумал выполнить их требование да с таким рвением, что не отправился даже навестить своих солдат для поддержания их боевого духа. Он остался в своем дворце в Иерусалиме, и это внятно свидетельствует, что из шести его былых достоинств — храбрости, ума, красоты, воинского искусства, умения играть на лютне и того, что "с ним Господь", — теперь остались только четыре: его разумность, как показало само решение начать войну, уже не столь велика и впечатляюща, как раньше, и храбрость его тоже слегка сомнительна. А под конец всей этой печальной истории он утратит и самое главное из этих достоинств: "с ним Господь", — без которого не имеют никакой ценности и все остальные.

То обстоятельство, что Давид остался в Иерусалиме, автор намеренно упоминает дважды. В первом стихе одиннадцатой главы Второй книги Царств он говорит: "Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава..." — а затем: "Давид же оставался в Иерусалиме". А следующий стих снова подчеркивает этот факт: "Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на крыше царского дома". И действительно, это нечто новое в биографии Давида: его военачальник, его воины, слуги и вообще "весь Израиль" воюют с аммонитянами из-за глупого дипломатического инцидента, а он сам почивает в это время в своих покоях и, сладко поспав после обеда, выходит на плоскую крышу дворца насладиться прохладным и чистым иерусалимским воздухом.

Стоя на высокой дворцовой крыше, Давид увидел внизу купающуюся женщину, "а та женщина была очень красива". Красота незнакомки, ее нагота да и подглядывание исподтишка пробудили в нем желание. Царское положение, власть, избалованность человека, привыкшего, что его все любят, — все

это давно освободило Давида от всяких сдерживающих начал, даже если они у него были изначально. "И послал Давид разведать, кто эта женщина". То бишь велел одному из слуг выяснить, кто она. Слуга выяснил и вернулся с ответом: "Но ведь это Бат-Шева, дочь Элиама, жена Урии Хеттеянина".

В формулировке ответа и в его интонации слышатся удивление и некая попытка предостеречь царя. Удивление звучит в слове "ведь", которое словно говорит: да как ты осмелился даже думать об этом? А предостережение — в самой информации: это ведь жена одного из твоих героев, который как раз сейчас сражается за тебя на поле боя. Возможно даже, что здесь говорит не один человек, а двое, а то и трое взволнованных прислужников — они дополняют друг друга, не осмеливаясь открыто сделать замечание царю, но осторожным намеком предостерегая его от сластолюбивых намерений и возможных последствий.

Царь, однако, не испугался и не отступил. Сообщение о том, что муж этой женщины находится на поле битвы, не вызвало у него смущения, а лишь убедило в том, что ему представляется редкий случай. Он тут же снова послал своих слуг, но на этот раз, чтобы "взять ее". "И она пришла к нему, и он спал с нею"[1]. Глагол "взять" показывает, что инициатива принадлежала Давиду: что же касается Бат-Шевы, нам трудно что-либо сказать. Вполне возможно, что она "пришла к нему" добровольно, но лично мне в этом глаголе "взял" слышится грубое насилие с его стороны и безвыходность — с ее. Глагол "взять" многократно появляется в Библии, когда мужчина берет женщину в жены, но здесь ситуация совершенно другая. Здесь речь идет о мужчине, который берет себе женщину, принадлежащую другому мужчине: "И она пришла к нему, и он спал с нею".

"*Пошли ко мне Урию*"

Как я уже отметил выше, Давид с самого начала этой войны не проявил того благоразумия, что было свойственно ему в юности. Это нашло продолжение и теперь, в его неосторожном увлечении. Бат-Шева, которая как раз тогда "омывалась от нечистоты своей", то есть была после месячных, сразу же забеременела. "...и послала известить Давида, говоря: я беременна. И послал Давид сказать Иоаву: пошли ко мне Урию Хеттеянина. И послал Иоав Урию к Давиду"[2].

1. 2 Цар. 11:4.
2. 2 Цар. 11:5–6.

Эта близость разных форм глагола "послать" неслучайна. Она заставляет нас обратить внимание на обилие посланников и посланий, появляющихся в этом эпизоде. Рассказ начинается с того, что "Давид послал Иоава" на войну, переходит к слуге, посланному выяснить, "кто эта женщина", продолжается словами: "Послал Давид слуг взять ее" — и завершается посланием Бат-Шевы о ее беременности, посланием приказа Давида прислать к нему Урию и, наконец, присылкой самого Урии. А при дальнейшем чтении текста оказывается, что глагол "послать" появляется в нем и далее, снова и снова.

С точки зрения чисто литературной, все эти многочисленные "посланники" и "послания" указывают на отсутствие прежней, живой связи между Давидом и его людьми, между его и их реальностью: они находятся на поле боя, а он остается во дворце. Они сражаются, а он дремлет на своем ложе. Они на земле, а он на крыше. Они сами делают свое дело, а он шлет посланников и действует через них. Они осаждают для него Рабат-Амон, а он подглядывает за купающейся женщиной, берет ее силой и спит с ней, в то время как ее муж сражается за него на поле боя.

Сейчас, когда Бат-Шева сообщила ему о своей беременности, Давид не ответил ей ни словом. Он оставил ее в мучительном ожидании, напряжении и страхе — что теперь произойдет? что будет с нею? Сам Давид меж тем посылает нарочного к Иоаву, своему военачальнику, и велит прислать к себе Урию. Его расчет ясен: Урия приедет в Иерусалим, переспит с Бат-Шевой, и беременность будет приписана ему. И отношение Давида к Бат-Шеве тоже теперь очевидно: он удовлетворил свое желание, и больше она его не интересует.

Урия прибыл в Иерусалим, представился во дворце, и Давид сделал вид, что пригласил его, чтобы услышать подробный рассказ о ходе осады. Он осведомился о "положении Иоава, и о положении народа, и о ходе войны", а потом послал его домой: "Иди домой и омой ноги свои", — сказал он ему тоном дружеского приказания. Как уже сказано, его расчет очевиден и ясен читателю, но не исключено, что он был ясен и Урии, ибо тот не пошел домой, а остался во дворце и пошел спать с царскими слугами.

Понял ли Урия, что произошло? Читатель не может быть вполне уверен в этом, но у него много причин ответить положительно, как на основании явно сказанного в Библии, так и на основании сказанного между строк. Урия не влетел во дворец с неба и не прокрался туда тайком. Он прошел через городские ворота, потом остановился и представился стражникам у дворцового входа, несколько царских слуг проводили

его внутрь и объявили о его приходе в дверях царской канцелярии. Много глаз видели его, и он тоже видел эти глаза — устремленные на него, избегающие его взгляда, опущенные к земле. Он понял, что случилось что-то нехорошее.

Это незаурядный случай — быть вызванным вот так с поля боя во дворец. Урия наверняка спросил себя, зачем его вызвали, и во дворце было немало людей, хорошо знавших ответ. Давид, как мы помним, не особенно остерегался. Он послал людей взять Бат-Шеву, и люди привели ее к нему. Все видели, как она шла по коридорам, когда приходила и когда уходила. Назавтра царские слуги убирали спальню, меняли простыни и обменивались взглядами. Кто знает, возможно, слухи достигли и поля боя. Расстояние от Иерусалима до Рабат-Амона невелико. Быстрый всадник покрывает его за каких-нибудь два дня, а между дворцом и полем боя, безусловно, действовала регулярная система гонцов.

Но и помимо всего этого мы видим, что произошло: Урия не пошел домой и не встретился со своей женой. Можно ли еще сомневаться после этого, что он подозревал, а возможно, даже знал, что случившееся связано именно с нею?

Что же касается Давида, то его люди сообщили ему, что Урия остался во дворце. Давид позвал его и спросил, в чем дело, и полученный им ответ лишний раз подтверждает, что Урия все понял. Но прежде, чем рассмотреть этот ответ детально, я предлагаю читателю перечесть весь заключительный эпизод.

Царь спросил: "Отчего же не пошел ты в дом свой?"

Урия ответил: "Ковчег, и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть и пить и *лежать* со своею женою? Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю"[1].

Этот обстоятельный и тонкий ответ свидетельствует, что муж Бат-Шевы был человек умный и отнюдь не наивный. Со всей осторожностью, диктуемой разницей в силе и статусе, Урия сказал царю, что он думает о нем и о его поведении. В явной и открытой по смыслу части слов он объявил, что не будет наслаждаться удобствами своего дома в то время, когда его командир и боевые друзья живут в полевых условиях. Но меж строк и за словами уже слышится упрек: я не стану вести себя, как ты, который послал нас на войну, а сам остался во дворце.

1. Синодальное "спать со своею женою" (а не "лежать") мешает русскому читателю понять важную перекличку этого отрывка со словами пророка Натана, о которых речь ниже.

Однако Урию занимало не только превознесение достоинств солдатской дружбы. Свою речь он начал с упоминания Ковчега Завета, который тоже отправился на войну. А ведь Урия был Хеттеянин, то есть у него не было никакой связи или отношений с еврейской религиозной святыней. Давид, наоборот, такую связь имел — и как слуга Божий, и как человек, который доставил этот самый Ковчег в Иерусалим и устроил в честь его перенесения большое празднество, которое я описывал раньше.

Подчеркнуто упомянув Ковчег сразу же в начале своей речи, Урия Хеттеянин отнюдь не заверял царя в своей вере в Бога Израиля — он напоминал Давиду его собственные первые дни, когда Ковчег Завета был еще свят в его глазах и когда ему еще дороги были его боевые друзья. Голос Урии укоряет царя, он гневно поднимается меж слов и строк: когда-то у тебя были ценности, вера и мораль, Давид, когда-то ты сам выходил с нами и с Ковчегом на поле боя, когда-то ты сражался вместе с нами. Не отсиживался в своем дворце, а был с нами — и в бою, и в палатке.

Я так и вижу, как Давид поеживается в своем кресле. Урия говорил иносказательно, но его слова были тяжелы и понятны для них обоих. Но и другой тяжелый укор, пока еще не высказанный, тоже уже витал в воздухе. И действительно, теперь Урия заканчивает свой ответ намеком, который свидетельствует, что он знает и понимает, что произошло: "А я вошел бы в свой дом и есть и пить и лежать со своею женою?!"

Напомню, что царь не говорил ему о еде и о питье и, уж конечно, о том, чтобы Урия переспал со своей женой. Он только сказал: "Иди домой и омой ноги свои" — то есть иди к себе в дом и насладись его удобствами. Урия, однако, разложил предложение Давида на составляющие: есть, пить — а затем подложил бомбу: "И лежать со своею женою", — как будто говоря, я тебя понял, Давид, я знаю, что произошло.

"Там, *где будет самое сильное сражение*"

"Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя", — сказал царь[1]. Впервые за всю жизнь Давида мы видим его смущенным и растерянным, не способным найти решение. Он надеялся, что Урия все-таки пойдет к себе домой. Но Урия не пошел, и назавтра Давид вновь пригласил его на трапезу. На

1. 2 Цар. 11:12.

этот раз он позаботился напоить его вином в надежде, что тот опьянеет и забудет свои принципы. И Урия действительно опьянел, но и пьяным не пошел в свой дом и к своей жене и этим вынес себе смертный приговор. В ту же ночь Давид написал Иоаву послание, в котором приказал ему поставить Урию "там, где будет самое сильное сражение", и оставить его без прикрытия и поддержки, чтобы он наверняка погиб в бою.

Это послание понес сам Урия, возвращаясь из Иерусалима на поле боя. Можно предположить, что оно было запечатано, как и положено письму от царя к военачальнику. Но догадывался ли Урия, что написано в этом письме? На это я, конечно, не могу ответить, но если он действительно догадывался, то его возвращение в военный лагерь свидетельствует, что у него уже не было желания жить. Речь идет о самоубийстве в полном смысле этого слова.

Подобно почтовому голубю, несущему собственный смертный приговор, Урия принес приказ царя к Иоаву. И Иоав выполнил его, но не буквально. Он действительно послал Урию на самый опасный участок, но не одного. Урия и впрямь погиб в бою, но вместе с ним погибли и другие воины.

Иоав послал гонца, чтобы сообщить Давиду о произошедшем сражении и о числе погибших. И наказал ему, как говорить с царем: "Когда увидишь, что царь разгневается и скажет тебе: 'Зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? ...Зачем же вы близко подходили к стене?' — тогда ты скажешь: 'и раб твой Урия Хеттеянин также умер'"[1].

Так Иоав намекнул Давиду, что дословное выполнение его приказа могло возбудить тяжелые подозрения и что это был глупый и неосторожный приказ, столь же глупый и неосторожный, как и все поведение Давида с самого начала войны, от решения начать ее и до блуда с Бат-Шевой и решения убить ее мужа.

Но посланник даже не дождался, пока Давид задаст ему вопрос. Он рассказал ему обо всех погибших воинах и по собственной инициативе добавил: "Умер также и раб твой Урия Хеттеянин". То есть и он уже понял, что произошло, и опасался, что его постигнет известная судьба всех гонцов, приносящих дурные вести. Но реакция Давида на это сообщение тотчас показывает, что мы имеем здесь дело не с отдельным, совершенным в поспешности дурным поступком, а с полным изменением всей личности царя. "Скажи Иоаву, — наказал он

1. 2 Цар. 11:21–22.

посланнику, — пусть не смущает тебя это дело; ибо меч поядает иногда того, иногда сего". А на современном нам языке: "Война есть война. Люди гибнут. Не страшно"[1].

А что же Бат-Шева? Разумеется, она узнала, что ее муж был в городе и не зашел к ней. Она поняла, что он узнал о происшедшем, и страх ее с каждым днем все возрастал и усиливался. Затем, когда ей стало известно о его смерти, она "плакала по муже своем", как положено. А когда прошли дни траура, "Давид послал и присоединил[2] ее к дому своему; и она сделалась его женой".

Мы могли бы завершить наш рассказ на этих словах — "присоединил ее". Подобно предыдущему "взял ее", они свидетельствуют об отсутствии настоящего желания. Раньше этого желания не было у Бат-Шевы, теперь — у Давида. Но это "присоединил" говорит также и о новом статусе Бат-Шевы: раньше она была женой Урии, а отныне будет еще одним экземпляром в царской коллекции женщин. По этому поводу стоит напомнить, что это не первая женщина, которую Давид забрал "в свой дом" сразу после подозрительной смерти ее мужа. Похожей фразой: "И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жену"[3], — Библия описывала и другое событие, произошедшее после смерти первого мужа Авигеи, Навала Кармелитского, который повздорил с Давидом в те дни, когда тот скрывался от Саула.

К счастью, автор нашего рассказа добавил еще одну фразу, которой решил закончить эту историю: "И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах господа"[4]. Фраза эта проста и недвусмысленна, и это хорошо. Хорошо, что эти слова добавлены, и хорошо, что они так недвусмысленны и просты. Умный автор, написавший их, как будто заранее представлял себе весь тот поток опровержений, подтасовок и лицемерия, который ожидал нас в будущем, и все для того, чтобы любой ценой обелить Давида и покрыть его грех.

И действительно, целые поколения талмудических мудрецов, комментаторов и фальсификаторов, засучив рукава и взяв в одну руку шпахтель, а другой стирая неприятные сло-

1. Синодальный перевод в этом месте существенно отходит от оригинала. Переводчик добавляет (в скобках) между рассказом посланца и реакцией Давида вставку о неком "гневе Давидовом", о котором на самом деле в оригинале — ни слова.
2. Оригинал использует здесь ивритский глагол "леосиф", что означает "добавить, присоединить". Синодальный перевод говорит просто "взял ее в дом свой", и это различие не позволяет читателю заметить важную деталь рассказа.
3. 1 Цар. 25:39.
4. 2 Цар. 11:27.

ва, занялись усердной подчисткой, замазыванием и переписыванием истории дома Давидова. Одни утверждали, что Бат-Шева сама соблазнила царя, другие намекали на то, что Урия выгнал ее из дома еще до ухода на войну, третьи сплетничали, будто он был кастратом и не мог иметь детей, и несли всякую прочую чепуху, абсолютно противоречащую всему духу библейского рассказа и описанным в нем фактам.

Впрочем, эта тенденция фальсификации и утаивания началась уже в самой Библии, в Первой книге Паралипоменон (или Хроник. 3:5), где весь рассказ об Урии и само его имя попросту вычеркнуты из истории царствования Давида, и даже имя Бат-Шевы изменено на Бат-Шуа, чтобы затемнить воспоминание об этом его ужасном грехе[1].

Надо отметить, что это не единственное изменение, которое сделано в Первой книге Хроник в истории Давида и в его пользу. Люди, которые сочинили и записали эту дурную стряпню — своего рода историю еврейского народа на советский манер, — вычеркнули из этой истории также мятеж Авессалома, изнасилование Фамари, убийство Амнона, жалкую старость Давида и все иные мелкие и крупные неблаговидные факты, которые могли бы запятнать его безупречную репутацию.

В противоположность этому, в обоих книгах Царств, хоть и говорится об искреннем раскаянии Давида в совершенном им грехе[2], но за вычетом этого все прочие события описаны в соответствующем им духе. И читателю совершенно ясно, что история с Урией и Бат-Шевой была водоразделом в жизни Давида. До этой черты он все более преуспевает и возвышается, начиная с нее он падает все ниже и ниже — неудачи сменяются провалами, неприятности — бедами как в сфере власти, так и в семейных делах, и это падение продолжается до самого конца, вплоть до его жалких последних дней и жалкой старости, которые тоже, как я уже говорил, не упомянуты в книге Хроник.

"И *лежала бы у чресел твоих*"

Третья книга Царств открывается словами: "Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, и покрывали его одеждами, но не мог он согреться".

Давид взошел на царский престол в возрасте тридцати лет. Первые семь лет он царствовал в Хевроне, следующие три-

1. Эта замена имени есть только в оригинальном ивритском тексте Библии (и в переводе Иосифона); в синодальном переводе она осталась Вирсавией.
2. См. 2 Цар. 12:13.

дцать три — в Иерусалиме. Простой расчет показывает, что теперь ему всего семьдесят. Это ли называется "преклонными летами"? Мы и сегодня знаем многих правителей старше семидесяти, что уж говорить о библейских временах, герои которых порой достигали мафусаилова возраста. Выражение "вошел в преклонные лета" по отношению к человеку семидесяти лет звучит скрытой насмешкой, и она обостряется в продолжении фразы: "и покрывали его одеждами, но не мог он согреться".

Читатель удивлен: зачем мне сообщают все эти детали? Верно, в наши дни, когда "общественность имеет право знать", а свобода слова священна, граждан принято информировать о здоровье правителей. Но даже сегодня сообщают лишь о серьезных медицинских проблемах, а не о неизлечимых старческих недугах подобного рода. Тем более сомнительно, чтобы о них сообщали в библейские времена, когда средства информации были далеко не так свободны.

Но наш автор не успокаивается. Царский озноб чрезвычайно занимает его. Теперь он насмешливо описывает еще одну сцену, не менее выразительную, чем предыдущая. Слуги Давида приходят к царю с предложением: "Надо найти для господина нашего, царя, девственную отроковицу, чтобы она пребывала при нем, и прислуживала ему, и лежала бы у чресел твоих — и будет тепло господину нашему, царю". Иными словами, эта девственница должна быть Давиду грелкой в прямом смысле этого слова. Этакое баловство, которое могут позволить себе цари, когда им холодно. И даже когда не холодно, а просто скучно.

Речь царских слуг передана замечательно. Как и в других местах Библии, автор с помощью прямой речи создал цельную и яркую картину. Мы так и видим ее, видим всех ее участников. Вот царь, он лежит на постели, а вот слуги — стоят вокруг и дают советы. В этих советах слышатся разные голоса, я попытаюсь записать их раздельно:

— Надо поискать для господина нашего, царя, девственную отроковицу...

— Чтобы она пребывала при нем...

— И прислуживала ему...

— И лежала бы у чресел твоих...

— И будет тепло господину нашему, царю...

В этой перебивке голосов есть тонкости, которые указывают не только на большой писательский талант автора, но и на тяжелое положение Давида. Они готовят читателя к тому, что откроется в дальнейшем. Оказывается, царь страдает не только от озноба. Его сознание затуманено, он потерял связь с реальностью.

В самом деле, три первых обращения к Давиду выдержаны в третьем лице: "Надо поискать для господина нашего, царя, девственную отроковицу... чтобы она пребывала при нем... и прислуживала ему". Обращение в третьем лице составляет часть церемониала, знак почтительности, отмечающий разницу в статусе говорящего и того, к кому обращены слова. Так, в третьем лице, обращаются в Книге Эсфири (2:2) слуги Артаксеркса к своему царю, когда предлагают ему выбрать новую жену взамен изгнанной Астинь: "Пусть бы поискали царю молодых красивых девиц", — и в обоих случаях *сходны* не только сюжеты, но и стиль. Так же, в третьем лице, Иосиф советовал фараону, как приготовиться к семи "тощим годам": "Да повелит фараон поставить над землею надзирателей"[1]. И так обращался вернувшийся из Харрана Иаков к своему брату Исаву. Исав тогда говорил с ним во втором лице братства и равенства: "Для чего у тебя это множество [животных], которое я встретил?"[2], Иаков же ответил ему в льстиво-почтительном третьем лице: "Дабы приобрести благоволение в очах господина моего".

В третьем лице обратилась и Михаль к Давиду, когда высмеивала его: "Как отличился сегодня царь Израилев..." — и такая же насмешка сразу ощущается теперь, спустя десятки лет, в разговоре слуг с тем же самым Давидом. Вначале они трижды обращаются к нему в почтительном третьем лице, но похоже, что Давид не услышал их, лежа под своими одеялами. И тогда к нему обратился четвертый слуга, и нам почти слышно, как он повышает голос: "И лежала бы у чресел твоих!" — и говорит это вульгарно и дерзко, в панибратски-пренебрежительном втором лице[3].

Почему? Именно на это хочет намекнуть текст. Царь не понял уважительную форму трех предыдущих обращений, и прямые слова: "И лежала бы у чресел твоих" — втолковывают ему: "Ну, сейчас ты понял, наконец?!" И тогда трясущийся под одеялами царь, наверно, кивнул и, возможно, даже одарил слуг слабой улыбкой, и они вернулись к почтительному третьему лицу, отдающему фальшью и лицемерием: "И будет тепло господину нашему, царю..."

Но слова: "И лежала бы у чресел твоих" — не только грубое нарушение почтительности и дворцового церемониала. У них есть дополнительное назначение — напомнить читате-

1. Быт. 41:34.
2. Быт. 33:8.
3. К сожалению, синодальный перевод не сохраняет ни одной из этих грамматических тонкостей. В нем вместо "и лежала бы у чресел твоих" написано: "И на груди его спала".

лю манеру, в которой за много лет до того пророк Натан (Нафан) укорял Давида за смерть Урии. Он рассказал ему тогда притчу об овечке бедняка, сравнив эту овечку с Бат-Шевой: "От хлеба его она ела, и из чаши его пила, и у чресел его лежала"[1], — а эти слова тотчас перебрасывают память читателя к словам самого Урии, обращенным к Давиду: "А я пошел бы в дом свой есть и пить и лежать со своею женою?" Так автор завершает цепь своих намеков, и читатель понимает, почему сейчас царь Давид находится в таком жалком и смешном положении.

Смехотворность этого положения усугубляется тем, что "девственную отроковицу" принялись искать по всем просторам земли израильской. В конце концов нашли некую Ависагу Сунамитянку, которая "была очень красива", и привезли ее в Иерусалим. То, что ее нашли в далеком Сунаме, на самом краю Израэльской долины, подтверждает, что поиски охватили всю страну. Почему? Что, в районе Иерусалима не нашлось ни одной "девственной отроковицы" приятной внешности и с подходящей температурой тела? Конечно, это тоже насмешка над царем: вот чем занимается его правительство — оно ищет красивых девиц по всем просторам Израильского царства!

"Но *царь не познал ее*"

"Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему; но царь не познал ее"[2].

Читатель читает и не верит своим глазам. Он спрашивает себя, зачем распространять такие сплетни? Почему Библия опускается до уровня желтой прессы? Ведь даже нынешняя журналистика с ее вульгарными разоблачениями и погоней за сенсациями и та не публикует таких рассказов о руководителях страны. Почему же здесь предана гласности такая позорная и ненужная деталь, которой никак не место в Священном Писании, разве что в пересудах и подмигиваниях дворцовой прислуги?

Тому есть две причины. Во-первых, Библия хочет намекнуть, что Давид наказан за грех, совершенный по отношению к Бат-Шеве. Тот, кто согрешил в постели, в постели и наказан. Тот, кто ради своей неуемной похоти пошел на прелюбодеяние и убийство, теперь бессилен удовлетворить

1. 2 Цар. 12:3.
2. 3 Цар.1:4.

свою похоть. А вторая причина — в желании наказать Давида дальнейшими насмешками. Раньше насмехались над его дряхлостью и сенильностью, теперь смеются над его импотенцией.

Мудрецы Талмуда[1] и тут поспешили на помощь Давиду, утверждая, что в действительности дело обстояло иначе. Якобы Ависага, отчаявшись пробудить страсть царя, выразила недовольство, и тогда Давид, чтобы доказать ей, что не иссох еще его родник, позвал Бат-Шеву и переспал с ней то ли восемнадцать, то ли тринадцать раз подряд. Я уже не помню точную цифру, но у меня нет желания проверять такого рода комментарии, вся цель которых — доказать удрученной девице и уязвленному в своей национальной гордости читателю, что и на склоне лет еврейское мужество царя Давида все еще высилось во всей своей прежней мощи.

Лично я предпочитаю этим выдумкам более поздний еврейский анекдот, который рассказывает, что после кончины Давида Ависага вернулась домой, и там, у Сунамского колодца, подруги спросили ее, как, мол, было в большом городе и в царском дворце. И Ависага ответила: "Теперь я знаю разницу между словами: 'иметь удовольствие' и 'поиметь удовольствие'.

"А *господин наш Давид не знает о том*"

Но кроме всего этого, Библия хочет подготовить нас к новым событиям. Буквально в следующем абзаце автор рассказывает, что в это время один из сыновей Давида, Адония, сын Агиффы, объявил себя главным среди братьев и захотел царствовать. Не дожидаясь смерти отца, он стал разъезжать по городу в царской колеснице и в сопровождении пятидесяти скороходов, в точности как это делал его брат Авессалом перед тем, как взбунтовался против того же отца.

Адония собрал вокруг себя влиятельных сторонников, но у него объявились также влиятельные противники. Однако сам Давид не вмешался в эту борьбу. И по простой причине — он не знал о ее существовании. Об этом сказано прямым текстом, через абзац. Когда Адония при всем народе торжественно объявил себя царем, пророк Натан пришел к Бат-Шеве и сказал ей: "Слышала ли ты, что Адония, сын Агиффин,

1. Слово "мудрецы", в оригинале "хазаль", означает в иудаизме не любых умных людей вообще, а лишь определенных палестинских и вавилонских вероучителей I–II вв. н. э., создавших основы Талмуда.

сделался царем, а господин наш Давид не знает о том?"[1]. Иными словами, недомогание Давида не ограничивается ознобом. Он вообще не знает, что происходит вокруг него.

Теперь становится понятно, почему автор так живо интересовался деталями отношений царя с "очень красивой девицей", лежавшей у него в кровати. Оказывается, Давид не только эту девицу "не познал" — он не способен "знать" и о том, что происходит в его царстве, в его столице и даже в его собственном дворце и семье. И не случайно Бат-Шева с пророком Натаном тут же воспользовались этим состоянием царя, чтобы убедить его завещать царство Соломону.

Мораль всей этой истории вполне согласуется с тем принципиальным возражением против идеи царства, которое многократно звучит в Библии. Я уже говорил раньше и напомню теперь, что согласно Библии и пророкам идеальная схема власти такова: царь народа — Бог, а пророк лишь передает народу ("озвучивает") Его слово. Такая власть существовала лишь дважды — во времена Моисея и во времена Самуила, и в обоих случаях сыновья не унаследовали пророческий статус отцов. Это лишний раз подчеркивает, что речь идет не о той схеме, когда власть переходит от отца к сыну, как в обычном царстве.

Царь Давид начал свой путь самым многообещающим образом. По одной из версий Первой книги Царств — как талантливый и красивый юноша, пришедший играть перед царем Саулом, и в то же время — разумный в речах человек и храбрый воин, которому покровительствует Господь. По другой версии — как смелый, находчивый, непредсказуемо ведущий себя юноша, победивший филистимского великана Голиафа в единоборстве, решившем исход сражения. Две версии существуют и о конце его жизни. Согласно Первой книге Паралипоменон, он никогда не грешил и еще при жизни передал власть сыну Соломону. Книги Царств, напротив, рисуют человека, которого всеобщая любовь и безграничная власть развратили настолько, что он дошел до прелюбодеяния и убийства, за что понес наказание Господне. Эта версия содержит урок, сохранивший свою актуальность и поныне: ни один лидер, даже такой выдающийся, как царь Давид, не говоря уже о менее значительных, не может руководить народом, если он нарушает законы морали и нравственности.

Интересно однако, что, несмотря на все разоблачения в книгах Царств, обаяние Давида сохраняет свое воздействие и сегодня. Наперекор тому, что рассказывается о Давиде в

1. 3 Цар. 1:11.

книгах Царств, народ продолжает любить своего героя и вспоминать о нем, причем отнюдь не по причине удачных подчисток и подтасовок Первой книги Паралипоменон. Напротив, сегодня, с нашего нынешнего расстояния, становится очевидно, что все эти усилия талмудических комментаторов обелить и приукрасить образ Давида были не только смехотворны, но и совершенно излишни. Читатель прощает Давида, даже зная всю правду о нем. Возможно, потому, что в конце концов он раскаялся и сказал пророку Натану: "Согрешил я перед Господом"[1]. А может, это продолжение все той же прежней неодолимой притягательности и всеобщей любви, которые он вызывал при жизни.

Давид не нарушил повеление Господа, как это сделал Саул до него. Он не служил другим богам, как будет служить его сын Соломон после него. Но он согрешил страшным нравственным грехом и, породив многих сыновей, таких же избалованных и порочных, как он, и унаследовавших все его дурные качества, не породил ни одного хорошего. Библия обвиняет его только в истории с Урией и Бат-Шевой, но на самом деле все началось намного раньше — с той любви, которую он вызывал у всех окружающих, и с его отношения к своей жене Михали, дочери Саула, этой первой и единственной в Библии женщине, которая названа "любившей мужчину".

Первое животное[2]

Первые животные, упоминаемые в Библии, — это большие "таниним"[3]. Они были созданы на пятый день творенья, и это единственные животные, которым автор дал собственное имя. Всем остальным даны лишь общие названия: "птица небесная", "рыба морская" и "зверь земной".

Хотя у таниним есть свое имя, никто не знает, что они собой представляли. Современный иврит утверждает, что это "крокодилы", в английском переводе Библии — это "большие киты", в русском — "большие рыбы", а некоторые говорят, что это "чудища морские" или мифологические Левиафаны и что указание на их сотворение Богом имеет целью подчеркнуть Его превосходство над ними. Однозначного ответа нет, и потому, невзирая на неудовлетворенное любо-

1. 2 Цар. 12:13.
2. Глава публикуется частично.
3. Быт. 1:21.

пытство, мы вынуждены с сожалением расстаться с этими таниним и перейти к тем животным, которые нам знакомы. Первым из них в Библии упоминается змей.

В книге Бытие имеются два рассказа о сотворении мира. В первом из них наши отношения с животными начинаются с левой ноги, во втором — с правой. В первом рассказе (он находится в первой главе этой книги) люди сотворены после всех других живых существ, сразу двое — мужчина и женщина, и им велено: "Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле"[1].

Второй рассказ (во второй главе той же книги) начинается лучше. Тут Бог сотворил Человека одного и сразу же понял, что сделал ошибку: "Нехорошо Человеку быть одному, — сказал он, — сотворим ему помощника противу него"[2].

Принято думать, что выражение "создадим ему помощника противу него" сразу относилось к созданию помощницы-женщины. В действительности оно поначалу означало кого-то из животных или птиц. Бог во второй главе книги Бытие именно поэтому создал животных сразу после Человека, а затем представил их ему, чтобы он выбрал себе одного из них в помощники. Человек дал им всем имена, но еще острее ощутил социальное одиночество: "И дал Человек имена каждой скотине, и птице небесной, и каждому зверю полевому; но для Человека не нашлось помощника противу него"[3]. Тогда Бог наслал на него сон, взял из его тела ребро и создал из него Женщину, и Человек обрадовался ей большой радостью.

Казалось бы, все стало на свои места, но тут возникла неожиданная проблема. Одним из животных, которых сотворил Бог, был змей, и змей соблазнил Женщину вкусить плод от древа познания. Женщина вкусила запретный плод, дала его Человеку, и продолжение известно: фиговые листья, из-

1. Быт. 1:28.
2. Синодальный перевод: "Сотворим ему помощника, соответственного ему" (Быт. 2:18), или "подобного ему" (Быт. 2:20), не передает важную тонкость оригинала, где о "помощнике" сказано (на иврите) "негдо", что как раз и означает "против него". Это "против", как указывает, например, известный израильский религиевед и знаток каббалы Моше Идель, призвано передать сложную диалектику противоречивых отношений сходства и различия, любви и борьбы мужчины и женщины: создав их путем расщепления единого исходного тела, Господь противопоставил две его стороны друг другу, чтобы они снова достигли единства в слиянии друг с другом и создании потомства.
3. Быт. 2:20.

гнание, вращающийся огненный меч, в муках ты будешь рожать сыновей и в поте лица (в оригинале "носа") своего ты будешь есть хлеб свой.

"*Между семенем твоим и между семенем ее*"

Почему змей обратился именно к Женщине? Почему соблазнял ее, а не Человека? Почему не обоих вместе? Есть немало мужчин, которые скажут, что змей хорошо знал, что делает, потому что женщины легкомысленны и их легче соблазнить. Другие напомнят, что змей — это предельно нагруженный мужской и сексуальный символ, а потому понятно, почему он предпочел соблазнять Женщину и почему преуспел в этом.

По моему скромному мнению, причина совсем не в этом. Змей соблазнял Женщину, потому что хотел занять ее место. Он сам хотел стать "помощником противу" Человека, и у него были для этого основания: он обладал незаурядным умом (был "хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог"), а также даром речи — чисто человеческой способностью, которой не было у других животных. Эти две особенности делали его похожим на Человека и достойным его общества. Но Человек, как мы видели, предпочел Женщину. Змей, разочарованный в своих ожиданиях, хотел отомстить и, возможно, доказать, что Человек ошибся в выборе. Эти мотивы змея с большей ясностью раскрываются в конце рассказа. Как мы помним, Бог назначил каждому из провинившихся свое наказание: Человеку — в поте лица выполнять тяжелую работу, Женщине — рожать в муках, а змею — "ходить на чреве" и "есть прах". Но в отношении змея Он добавил еще: "И вражду положу между тобою и между женою"[1]. Иными словами, не только во время соблазнения, но и в дальнейшем отношения соперничества ("вражды") будут не между змеем и Человеком, а именно между змеем и Женщиной. Более того: вражда между родом змеиным и родом человеческим и в будущих поколениях будет враждой между змеем и Женщиной, ибо, как сказал Бог змею, эта вражда сохранится "между семенем (потомством) твоим и между семенем (потомством) ее". Почему? Я думаю. потому, что Бог знал, что змей хотел напакостить именно ей, а не Человеку или всему человеческому роду.

1. Быт. 1:15.

Вернувшись, однако, от этой частной истории к животным вообще, нельзя не заметить другую странность — явное сходство между двумя первыми животными Библии, таниним из первого рассказа о Творенье и змеем из второго. Точно так же, как морские чудища таниним, змей тоже существо устрашающее, опасное, таинственное, обладающее магическими свойствами. И подобно "чудищу морскому", он предельно резко воплощает тот страх, который люди изначально ощущали перед всеми животными.

Действительно, несмотря на тот дружественный ветер, что веет в рассказе о том, как Бог создает животных "в помощь" Человеку, на самом деле весь живой мир, кроме людей, не удостоился симпатии авторов Библии. Этот факт очевиден уже из того, что первым же Божьим указанием Человеку было властвовать над животными, порабощать их и пользоваться ими. Причем это указание было дано Человеку еще раньше, чем он был создан. Бог сказал: "Сотворим Человека по образу Нашему, по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле". То есть, по мнению автора истории Творенья, власть над животными есть первейшая цель и предназначенье человеческого рода.

А жаль. Можно было ожидать от автора, что, сообщая нам первое высказывание Бога, касающееся нас, людей, он преподаст нам урок добра и нравственности. Но увы — в этом высказывании нет ни сострадания, ни веры, ни любви, ни справедливости. И даже наказа выполнять заповеди в нем нет. Одно только Божье разрешение Человеку владеть всеми животными. Разве это самое главное, что надо было сказать прежде всего?

Нет сомнения, что слова эти были написаны рукою автора, имевшего определенные интересы и цели. Возможно, они были направлены против почитания языческих богов. Ведь в языческих религиях животные зачастую символизировали различных богов и потому считались священными и неприкосновенными. Но слова эти свидетельствуют еще об одном. Они показывают, что, несмотря на порабощение, эксплуатацию и жестокость, и поныне характеризующие наше отношение к животным, и несмотря на то, что мы сильнее и умнее их, наше обращение с ними вызывает в нас чувство неловкости. Такой ощутимой неловкости, что мы ищем себе морального оправдания. И для этого мы придумали себе разрешение владеть ими, которое якобы получили от Бога. Опираясь на это разрешение, мы создали все наши зоо-

парки, бойни, охотничьи клубы, птичники, цирки и коровники. Ссылаясь на него, мы вывели декоративных рыбок, сверхудойных коров и потешные породы собак, которых Бог не создавал и существование которых в Своем мире даже не планировал. Из этого разрешения выросли целые отрасли человеческих занятий, тесно связанные с использованием животных: сельское хозяйство, кулинария, мода, война, развлечения, увлечения и спорт. И даже убеждение, будто одним народам дозволено порабощать и угнетать другие народы, — тоже растет из этого древнейшего из прав, которое мы себе присвоили от имени Бога: права властвовать над животными. Действительно, история не перестает учить нас, что достаточно приравнять человека к животному — желательно насекомому, обезьяне, собаке, свинье или паразиту, — и мы сразу чувствуем себя куда свободнее.

"*От человека до скотов*"

Первым человеком, который задумал использовать животных, стал Авель, сын Адама и Евы. Он заделался пастухом, пас овец и приносил Богу в жертву первенцев своего стада. Эти мясные жертвоприношения нравились Богу больше, чем вегетарианские дары Авелева брата, земледельца Каина. Отсюда, кстати, следует, что, даруя людям право есть животных, Бог думал также о себе, и, возможно, именно это и означали его слова "по образу Нашему, по подобию Нашему".

В следующий раз читатель снова встречается с животными лишь через десять поколений после Адама и Евы, Каина и Авеля, крокодилов, змея и овец. Это происходит в интересной и особой истории — в рассказе о потопе, и в столь же интересном и особом месте — в Ноевом ковчеге.

Фон этой истории известен: род человеческий погряз в грехах и злодеяниях, Бог раскаялся в создании людей и решил их истребить: "Истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил... — сказал Он, — ...от человека до скотов; ибо Я раскаялся, что сотворил их" (Бытие. 6:7).

Однако Ной, "человек праведный и непорочный", нашел благоволение в глазах Господа. Ему было велено взять прочное дерево гефер и построить из него большой ковчег, много больший, чем необходимо для спасения самого Ноя и членов его семьи. Плотник-любитель может найти детальное техническое описание ковчега, включая все его материалы и размеры, в шестой главе указанной книги. Для нашего рассказа важнее другое: Божье указание Ною — заполнить этот

ковчег парами животных всех видов, от каждого вида по двое, мужского и женского рода, "из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре... чтобы остались в живых". Иными словами, в ковчеге следовало собрать пары, которые обеспечили бы возрождение всех этих видов после потопа.

Потоп был глобальным ответом Бога на дурное поведение созданных Им людей. Поэтому читателю не совсем ясно, почему Он решил заодно истребить и животных. Можно, однако, утешиться тем, что после дарования людям права властвовать над животными и пользоваться ими, мы встречаем здесь, наконец, первое в Библии осознание важности охраны животных и вполне экологическое по духу признание равенства между животными и людьми.

Более того: Ной и Бог демонстрируют даже лучшее понимание экологии, нежели многие нынешние общества охраны природы. Сегодня люди, руководствуясь личными симпатиями, интересами пиара и возможностями финансирования, заботятся прежде всего о пандах и дельфинах и куда меньше думают о спасении редких крыс и вымирающих жаб. Ной, однако, спас всех без исключения, хотя вполне мог бы воспользоваться потопом, чтобы избавиться, например, от комаров и скорпионов. Можно с полной уверенностью утверждать, что он не оставил в беде даже змея, этого древнейшего врага человеческого, взяв напарницу и для него, чтобы после потопа они породили новые поколения змей, которые ползали бы на чреве и жалили нас в пятки. Я полагаю также, что Ной предусмотрительно взял в ковчег семена, луковицы, почки и черенки всех без исключения растений. Об этом не сказано напрямую, но это логично, а кроме того, нам известно, что сразу же после потопа Ной посадил виноградник, а это значит, что он взял в ковчег также рассаду.

Короче — перед нами радующий сердце экологический рассказ. Все в одной лодке: Ной, его жена, его сыновья и их жены и по паре млекопитающих, насекомых, пресмыкающихся и птиц. Но есть еще одна деталь, которую нынешние читатели этого рассказа склонны забывать. Хотя в шестой главе книги Бытие Бог велит Ною взять по паре от каждого вида, но в главе седьмой он добавляет: "...и всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого — по два, мужеского пола и женского".

Иными словами, принцип "каждой твари по паре" относится только к животным нечистым. От чистых велено взять по семь пар каждого вида. В скобках можно выразить недоумение: откуда было Ною знать, какое животное "чистое", и

какое "нечистое"? Ведь законы "раздвоенного копыта" и "жвачности"[1] еще не были сформулированы, и даже сами евреи и еврейство еще не появились в мире. Но мы понимаем, конечно, что рассказ этот предназначен читателю, а не Ною, и в то время, когда этот рассказ писался и читался, у читателей уже было кое-какое представление о кашруте.

Зачем же Богу понадобилось всемеро умножать численность чистых животных в ковчеге? Одна из возможных тому причин могла состоять в том, что лишние пары чистых предназначались для пропитания хищных зверей. Возможно и другое, довольно наивное, чтобы не сказать притворно-наивное, объяснение, согласно которому и Бог, и Ной симпатизировали именно чистым животным и потому хотели сохранить их побольше. Между прочим, так утверждали даже некоторые знающие и опытные читатели. Например, мудрецы Талмуда рассказывали, что перед концом потопа, когда Ной послал ворона посмотреть, сошла ли вода, ворон будто бы возмутился и сказал: "Твой Господь ненавидит меня, и ты ненавидишь меня. Твой Господь ненавидит меня: от чистых по семи, от нечистых по двое. А ты ненавидишь меня: оставляешь от семи и посылаешь от двух. Если поразит меня ангел жары или холода — не окажется ли, что в мире недостает одной твари?"

Иными словами, по мнению ворона, Бог любит чистых животных и ненавидит нечистых, и именно поэтому велел Ною взять от чистых семь пар, а из нечистых, вроде ворона, только по одной. И сам Ной, по мнению ворона (в передаче мудрецов), тоже ненавидит нечистых животных, вот и посылает проверять уровень воды именно его, ворона, хотя в ковчеге есть лишь одна такая пара. А что, если в дороге с ним что-нибудь случится: он замерзнет или получит солнечный удар, — ведь тогда исчезнет сразу весь род вороний!

Ворон — птица умная, и в его утверждении есть логика. Но скоро вода сойдет, ковчег откроется, все его пассажиры выйдут наружу, и читатель убедится, что умный ворон ошибся. Во всем, что касается чистых и нечистых животных, у Бога и Ноя были совершенно иные намерения.

1. Имеются в виду законы так называемого кашрута, или чистоты пищи, то есть ее дозволенности, описанные в Книге Левит; по этим законам, в частности, евреям разрешается есть мясо лишь парнокопытных жвачных животных, рыб, имеющих чешую, и домашней птицы. Книга Левит, как и прочие книги Пятикнижия, была, согласно традиции, получена Моисеем на горе Синай, то есть много позже потопа.

Пассажиры ковчега вошли в него на шестисотом году жизни Ноя, семнадцатого дня второго месяца. Они вышли из него двадцать седьмого дня второго месяца на шестьсот первом году его жизни. Это значит, что Ной, его жена, их сыновья и невестки и все животные находились в ковчеге ровно триста семьдесят пять дней, то есть чуть больше года. Библия ничего не рассказывает об этих днях. Можно представить себе, что там и сям случались конфликты и стычки, не говоря уже о том, какие там были запахи, теснота и шум. Но поскольку в рассказе не упоминаются какие-либо ссоры и споры, можно предположить, что в целом пассажирам удавалось сохранять приемлемую, возможно даже теплую и дружескую атмосферу.

Главная неожиданность подстерегала всех их, и прежде всего чистых животных — а также читателя, — потом, когда воды потопа наконец сошли. Ковчег лежал тогда на горе Арарат, и все спасшиеся вышли из него. Я представляю себе, как радостно выпрыгнули животные, как они забегали вокруг, стали кататься по земле и потягиваться, радуясь возможности размяться и наслаждаясь приятным чувством безопасности и ощущением надежной почвы под ногами. Что же касается первого, что сделал Ной, то нам даже представлять это себе не нужно — об этом сказано напрямую: "И устроил Ной жертвенник, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике". Иными словами, он принес этих животных и птиц в жертву Богу.

Ритуал довольно распространенный и с религиозной точки зрения вполне логичный. Ной полон благодарности за чудесное спасение, а в те дни было принято благодарить Бога как следует. Тогдашние божества не довольствовались молитвами, и верующие тратили изрядные деньги на покупку животных для всесожжения. Но с точки зрения современного читателя, особенно того, который доныне видел в рассказе о ковчеге манифест Божественного Общества по Охране Природы, поступок Ноя совершенно нелогичен. Ведь ковчег был средством для спасения животных, а сейчас Ной режет их и умерщвляет. А поскольку потоп уничтожил всю прочую живность на земле, то совершенно ясно, что животные, приносимые Ноем в жертву Богу, — это те самые, что были взяты в ковчег для спасения!

И только сейчас читатель начинает понимать подлинный смысл Божьего указания: взять лишь одну пару из каждого вида нечистых животных и по семь пар из каждого вида чистых. Это было сделано вовсе не из особой любви к чистым и даже

не затем, чтобы кормить ими в дороге гепардов и львов, а лишь для того, чтобы в конце пути было кого принести в жертву Богу. Оказывается, ворон, одно из самых умных животных, равно как и наши мудрецы, явно из самых умных представителей рода человеческого, — все они ошибались. Рассказ о ковчеге — это отнюдь не история любви и предпочтения. Это учебник ритуальной логистики. Я полагаю, что ворон, ранее утверждавший, что Бог его ненавидит, теперь смотрел на ланей, голубей, фазанов, газелей и оленей, которых резали на жертвеннике, и думал, что иногда выгоднее быть нечистым.

Что касается самого Бога, то его реакция на всесожжение и особенно на запах мяса, которое жарилось на жертвеннике, для читателя еще более проблематична: "И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал"[1].

То, что Бог любит запах жареного мяса и что одного этого запаха Ему достаточно порой для принятия самых принципиальных и важных решений, — это факт хотя и огорчительный, но не новый. Мы видели это в истории Каина и Авеля, и сейчас Он снова демонстрирует, что во всем, что касается кулинарных предпочтений, не Он создал нас по своему подобию, а мы создали Его по нашему. Что действительно пугает в этой истории, так это что ради своего удовольствия от запаха жареного мяса Он обещает больше "не поражать всего живущего". Заботила ли Его вообще судьба живых существ? Судя по этим словам, похоже, что Он спас животных от потопа просто затем, чтобы и после этого у Него не возникло недостатка в жертвоприношениях.

Но и это не все. По окончании потопа Бог повторил Ною то же наставление, которое дал Адаму после сотворения: "Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и да страшится вас, и да трепещет перед вами все живое на земле". Иными словами, потоп не означает новую жизнь ни для чистых, ни для нечистых животных. Оказывается, они были взяты в ковчег не для спасения от потопа, а затем, чтобы у человека и в будущем было над кем властвовать, кого использовать и кого приносить в жертву Богу. Потоп ничего не изменил. Едва закончилось это ужасное бедствие и долгие дни совместных странствий людей и животных, как Бог снова установил между ними прежние неравные отношения.

1. Быт. 8:21.

Мередит Уолтерс

Стихи из книги "Спроси, не бойся"

Перевод с английского и вступление Григория Стариковского

Американский поэт Мередит Уолтерс родилась и выросла на побережье Атлантики, на юге штата Виргиния. Думаю, существует непосредственная связь между поэтикой Уолтерс и приморским городком ее детства. Там, где она росла, прекрасно уживаются не только атлантический прибой, солоноватый, упругий воздух, песчаные дюны и жаркое, беспощадное солнце. Там, в нынешней Виргинии, которую лишь с натяжкой можно назвать *южным* штатом, сходятся, с любопытством вглядываясь друг в друга, американские Север и Юг, привнося в этот край каждый свои, зачастую полярные, традиции. Уолтерс работает на пересеченье этих двух культур. Ее поэзия — пограничная полоса, где уже не отличить поэзию от прозы, волну от камня, крик от молчания, любовь от безразличия. Это — та ничейная земля, на которую Уолтерс заявляет свои права.

Мередит Уолтерс — лауреат поэтической премии *Анхинга (2006)*. В настоящее время она курирует культурные программы в Бруклинской публичной библиотеке.

© Anhinga Press, 2007
© Григорий Стариковский. Перевод, вступление, 2010

Строки, прошептанные в чашку

Два невозратных августа
я провела на улице — непарным ботинком.
Каждое утро комбоджийка, продавщица сумок,
надвигала шляпу на глаза,
чтобы не видеть меня.
Я напрасно ждала избавленья,
призывала смерть,
не жалея безумных слов.
Луна светила
незрячая — руслами
взорванных рек.

Мгновенный снимок

По улице, запруженной разноголосьем,
прогуливается молодежь
в легких своих одеяньях. Мое тело хранит запах
безлесых предместий
среди антилопьего этого стада, с которым слилась
воедино.
Смотрю на джинсы, сложенные стопкой,
на стеклянную толщу
витрины; молотком не разбить ее.
Охваченные любопытством
(кто из нас от этого откажется?),
мы вглядываемся в прохожих,
а они, должно быть, тоже изучают нас.
Вообрази его боль, когда он вспоминает
постель, изрытую утренним светом.
Под козырьком его ладони
густеет тень, ты тоже защищаешься рукой от солнца;
эти люди,
о них бы петь и не знать, что поешь.
Твоя песня напоминает мне о разнице между
птицей и криком птицы и еще о том, что я не умею
распознать акт сострадания. Букет роз,
подаренный кем-то, нет, не мне,
но я могла бы воплотиться в ту, другую, да, могла бы,
как в театре. Наши мысли о смерти по-прежнему

романтичны, хотя о нас здесь уже никто не помнит,
и другие люди
толпятся в кафе. О соблазн единенья,
иллюзия близости, например, с этим парнем из
Нью-Джерси —
он вздрогнул, когда зазвонил телефон.
Есть люди, для которых загробная жизнь —
вроде зашифрованного письма, главное — овладеть
шифром.
Они думают, что знают место,
которое — воплощение добра, например, прекрасная
женщина или
тот мужчина, что пересек всю страну,
чтобы сказать ей: *будь моей женой.*
В поисках истины
я открывала двери канцелярий,
читала очередные постановления, нет, я — последняя
певчая птица
и не стану подчиняться общим правилам.
Не возвратить минут, отданных
трудам и досугам, не стреножить порыв
летучей мысли, все равно не найду покоя, пока я
влюблена
и вероломна.

Природа вещей

Лающая вдали собака,
радиовышка,
акация-карлица,
хранящая
дневной зной
внутри ствола,
напоминают мне, что
и я — часть мира,
и это — в природе вещей.

* * *

Я касаюсь рукой твоей руки, я — тысяча влюбленных
и тысячу несу прикосновений
вперед, сквозь время.

Задумавшись над Ли Бо

Возле пруда, где цветет лотос, говорим о нашей
общей участи,
не споря, не пререкаясь.

Паломник нашел утешение
в тихой музыке западных облаков.

Птица, ныряя, ищет в воде
повторенье глубокой ночи.

Птичий щебет или стон безбрежного мира
разбудят тебя — навстречу

белому свету, который сочится (или это — всего лишь
сон?)
сквозь отцветшие ветви грушевого дерева.

Твое имя начертано на рисовом зернышке

Они взбираются на волнорезы, поправляют
купальники,
размахивают руками, окликают
смельчаков, уплывших за буйки.
Океан раскрывается, как книга,
или выхватывает тебя из прохладной тени отеля
и бросает туда, где твое имя еще за семью печатями
в яростном рождении мира.
Небо, созданное для ангелов, распадается на тысячу
голубых облаков.
губчатых, расплывчатых, крылоподобных.
Свет движется, вспыхивает внезапно.
Твои вещи остались в корзине.
Нерушимо плывут облака.

Спроси, не бойся

Не убывай, ветреный голод. Четверо
было возлюбленных. Каждый,
уходя, оставлял тебе пропуск, открывавший двери
в заколдованную вселенную. Твое сердце,
теперь оно вроде вьетнамского ресторана,
набитого рекламной всячиной, обрывками
объявлений —
стирка белья,
школа танцев, уроки английского. Руки помнят
пакеты с едой, взятой навынос. Приснилась
знакомая улица — на балконах
высохшая герань, абрис рыбы
среди фосфоресцирующих деревьев.
Они ищут встречи, чтобы сказать тебе,
какая нежная кожа, или: все могло быть иначе,
если бы мир был справедлив и добр,
если бы он рыдал над цветущей вишней,
над зонтом, запорошенным снегом.
Можно подумать, ты знаешь, зачем ты здесь
и почему ты здесь не навсегда.
Спроси, не бойся, и твое имя перестанет быть чужим
тебе самой, ведь это ты здесь спишь, а не другая.
Проснись. Складки одеяла очерчивают
некую мысль или, наоборот,
заводят в тупик, не важно.
Дорожи каждой минутой, говорят они,
не забывай о смерти.
И ты не должен пребывать в борениях
и подвергать себя опасности. Добродетель
чревата скорой гибелью. Невозможно раскрыть
тайну мира.
И все же они тщетно пытаются докопаться
до истины,
как ученые или лазутчики.
А твоя песня
нарастает сама собой в многократном повторе.

Весна внутри стихотворенья и снаружи.
В стихотворенье невеста волнуется
на фоне торжественных чайных роз. Каблучок
утопает в траве газона. Жених
отмахивается от полуденных
комаров.
Откуда-то, пока неизвестно откуда,
доносится струнная музыка — возможно, поблизости
в открытом кинотеатре крутят фильм: мужчина
обнимает женщину, он заклинает ее не улетать из
осажденного города.
В стихотворенье присутствует лошадь
кисти Франца Марка, изогнутая
подобно холмам и облакам на картине.
Очертанья облака
повторяют очертанья лошади.
Так иногда любовь на нелюбовь похожа.

Отокар Бржезина

“С *посланьем от истины вечной...*”

Стихи

Перевод с чешского и вступление Оксаны Лихачевой

© Оксана Лихачева. Перевод, вступление, 2010

Нет, он не ворвался в мою жизнь, заставив ежиться на сквозняке распахнутой двери, нет — он неторопливо вошел и остановился у письменного стола так, как обычно это делает учитель, войдя в класс и ожидая тишины...

Думаю, он и был таким, с проницательным и спокойным взглядом человека, знающего о многом. Он, Отокар Бржезина, — выдающийся чешский поэт-символист, эссеист, мыслитель.

Биография и география его жизни связаны с Восточной Чехией: родился поэт (настоящее имя и фамилия — Вацлав Ебавы) в сентябре 1868 года в селе Початки, учился в городе Тельч, преподавал в школах неподалеку, в небольших чешских городках на границе Чехии и Моравии.

Один из них, Нова-Ржише, где он жил и работал с 1888-го по 1901 год, стал местом расцвета его таланта — здесь им были написаны пять стихотворных сборников — "Таинственные дали"(1895), "Рассвет на западе" (1896), "Ветры с полюсов" (1897), "Строители храма" (1899), "Руки" (1901).

После выхода первого сборника, наполненного новым для чешской поэзии звучанием и философией, интерес читателей и критики к творчеству Бржезины уже не ослабевал. Скромный провинциальный учитель говорил в своих стихах о великой и мощной гармонии Природы, о вселенской любви, которая является ключом к познанию законов мира. Полифония и поразительная образность его поэтических строк завораживала современников не только в Чехии, но и за ее пределами.

Константин Бальмонт, восхищенный поэзией Бржезины, сравнивал его творчество с природным храмом, где "высокие свечи выросли прямо из сердец тысяч и тысяч людей, живших сердцем и угасших от сердечной боли..."

В 1903 году выходит в свет книга эссе "Музыка родников", написанная Бржезиной после переезда (в 1901 году) в город Яромержице-над-Рокитной. Здесь, до последних дней, он работал над шестой книгой стихов и книгой эссе "Скрытая история", которые остались неоконченными.

Называя Бржезину исполином нашего времени, Стефан Цвейг так писал в эти годы о его творчестве: "В маленькой комнате рождаются стихи, напитанные кровью нашей эпохи, нашими глубочайшими чувствами, хотя до конца еще не осознанными..."

Чрезвычайно скромный человек, Бржезина тяготился известностью и вниманием общества — отказался от должности профессора в моравском университете в Брно, а присужденную ему Государственную премию передал для поддержки начинающим литераторам. Интерьер его жилья в Яромержицах (где сейчас располагается музей, созданный обществом О. Бржезины) поражает аскетизмом — узенькая кровать, письменный стол, несколько стульев, кресло, подаренное Карелом Чапеком, — и тысячи книг...

В 1929 году О. Бржезина был выдвинут на Нобелевскую премию, и лишь неожиданная кончина поэта в марте 1929 года помешала тому, чтобы О. Бржезина стал первым чешским лауреатом этой почитаемой награды. На скорбную новость Чапек отозвался эссе "Magister divinus" ("Божественный мастер").

Первые русские переводы Бржезины были сделаны поэтами-эмигрантами (С. Савиным, К. Бальмонтом, В. Лебедевым и другими).

Стихи, представленные в данной подборке — из сборников "Рассвет на западе" и "Строители храма".

Милость

Из триумфальных, торжественных арок лазури
чистейшей
по окончаньи трудов днем таинственным вспыхнет,
воскресным;
в пурпур одежд королевских, в багрянец оденет
беднейших —
братьям земным не приметен, он ангелам виден
небесным.

Будет для пленников звезд, озаренных сияньем
когда-то,
блеском твоих берегов и страдающих жизнью
земною,
словно лекарство, что в солнце созрело, сродни
аромату,
чье дуновенье меж каплями мглы предрассветной и
тьмою.

С топотом диким и гривой, искрящейся россыпью
звездной,
к мертвым озерам несется в безумии страсть,
изнывая:
молнией бурю она рассечет, и табун остановится
грозный,
великолепье любви разгорится в душе, как порою
бывает

светлой улыбка меж слез... И в согласном движеньи
звонких серпов и в источнике с голосом нежным,
сердечным,
в трепете избранных губ, то — она со святым
откровеньем,
к неподготовленным душам с посланьем от истины
вечной.

Близятся к робким, пугливым, охоты успех ожидая,
завоеватели в чащах глубоких, где сумрак деревьям
привычен,
и опускается строй закружившихся слов —
поднебесная стая —
призван сцеплением рук, с облаков, соколиной
добычей.

Маем твоих опьяняет певцов и весной бесконечной,
временем ярким, когда в поцелуе Вселенная вся
растворится,
в легком дыханье воздушных садов, что взлетают
беспечно,
будто качели,
где кружит в туманностях душ вереница;

станет внезапно земля заколдованной, словно иная,
и перед взглядами всех, унесенная ветром, исчезнет,
ночи ворота раскроются тысячам настежь, от края
до края,
будут на них, как святые знамения, гвозди созвездий.

Славы обитель, простор отзовется торжественным
хором,
скрытым сияньем теней, высочайшей гармонией
муки,
жизни и смерти объятьями, сладким любви
разговором,
и донесутся из бури гремящей нездешнего пиршества
звуки.

Наследство мое положил...

Слова мои сладкие умерли в муках молчанья,
в тиши красноречие взглядов моих без ответа угасло:
когда я упреками слов неживых пробужусь от
мечтанья,
глядят из бессонниц полночных погибшие взгляды
напрасно.

Расцвечены щеки улыбками, в прочих же душах —
завяли,
завяли на лицах чужих, а во мне расцветают, но
с болью.

Надрезана ветвь наслажденья, но брызги к губам
не упали,
лишь в грезах на них растворились кристаллами
соли.

Столетий плывут облака и отброшены тени
под ноги,
дорогами взглядов моих в отраженьях парит
бесконечность;
лазури мистической взмахи сплетают желаний
дороги,
тоска на дорогах души, где в молчанье
двусмысленном — вечность.

Наследство мое положил ты в убежище грез и
предчувствий,
и розы в тот сад перенес, что сажал я когда-то;
уносит меня аромат их в экстазы молитв и искусства,
богатство их красок пылает на Западе, в пышных
закатах.

Тело

Скажи мне, душа (возвратившись, увидев немало),
кого на земле ты встречала, нашла, потеряла?
Мелодия из глубины отозвалась, круженье
заснеженных звезд,
и трепетом губ невесомых струится:
“Рассветы, полудни, цветов вереницы.

Рассветы в таинственных всходах блуждали
среди маргариток, что радуют глаз.
В траве, как росинки, минуты сверкали,
ствол каждый дрожал, будто странные птицы
вспорхнули сейчас;
и словно бы в солнце самом фимиам драгоценный
курится,
так дымом лазурным чужие покрыло миры,
ароматами — нас.

С озер приближались полудни; жгла синь
потревоженных снов,
всего, что почило, полет их звенел погребальными
колоколами;

и фосфорных крыльев своих по всему горизонту
покров
простерли над нами.

Туда, где их тени упали, устало закрылись глаза,
кровь, будто бы горн, отраженья в чистейшие грезы
бросала:
страданий ожог посреди бесконечности счастья,
таинственный город небесный в пожарище алом.

Встречала в дороге цветы: были к солнцу их чаши
раскрыты,
как лампы, что девами золотом масла налиты.
Огни на ветру то темнели, то вдруг разгорались,
пылая,
тропе наслаждения тайного свет посылая".

Скажи мне, душа, где рассветы блуждают без цели,
полудни куда улетели,
богатства цветов отчего оскудели?

"В розах невянущих радости вестью
снова рассветов слышится песня;
к солнцу, в гнездо улетели полудни,
с солнцем закатятся вместе;
только цветы в вопросительном взгляде моем
умерли от непонятной болезни".

Апофеоз колосьев

Замедлю шаги и взгляну — восхищеньем пылая,
душа над простором расстелется благословенным,
и в звуках молитвы услышу — поет, созревая,
земля в торжествующем хоре, в оркестре Вселенной.

Как тяжек ваш труд, о, колосья! О, братья без счета,
стоите, бледнея, к корням наклонила усталость,
но хлеб свой несете с любовью — и эта работа
вам времени жгучею тайной навеки досталась.

О вы, разрешившие в тесном приюте по-братски
цветку, в чьих глазах отразилось небесное пламя,
укрыться, терпя лихорадку, и грезам отдаться,

красотам нездешним, но песней присутствовать
с вами.

Я чувствую утра в дыханье, навстречу плывущем,
и звон колокольный, что ветру пространства
покорен,
мелодию губ ароматных. Для жизней грядущих
однажды дадите им сладость наполненных зерен.

И полночь, немея в экстазе, блуждает над вами,
сверканье полей возвращает лазури безбрежной,
надеждами звезды горят, а колосья — лучами,
чьи стебли серебряным звуком вибрируют нежно,

и всеми вершинами, моря бескрайним заливом
волнуется жатва! Воздушный над ней проплывает
блистательный флот, и от весел взметается дивно
песок золотистый, придонный, где солнце пылает!

О Дух, преисполненный жизни, несешь терпеливо
с полос беспредельных пыльцу ее в искрах,
над бездной,
и я, замирая, — цветок, утомленный на ниве, —
признаться тебе не посмею в убогих болезнях.

Из молний вуаль Ты не сдернул с померкшего
взгляда,
и затканы ею, затянуты дали Вселенной,
но в славе смертей на крутейших дорогах награда —
вздох жизни при встрече с Тобой, где зашепчет
смятенно

душа: "Я во власти Твоей, если ветром повеешь,
то жатва в ладонь упадет, для посева готова,
и в пламени силы, которой Ты вечно владеешь,
как в почве чудесной, появится преданно снова".

Тициано Скарпа
Венеция – это рыба

Путеводитель

Перевод с итальянского и вступление Геннадия Киселева

Пароль — "Венеция", отзыв — "рыба"

Представьте себе путеводитель по Москве под названием "Москва — это пробка" (известно какая — нескончаемая). Или справочник по Парижу "И Париж — это пробка" (от шампанского). Книга уже авторитетного в Италии писателя Тициано Скарпы (родился в 1963 году в Венеции) "Венеция — это рыба" (2000) имеет подзаголовок "Путеводитель". Разумеется, от путеводителя с таким названием ничего путного ждать не приходится. Заглянув в книгу на подъезде к городу, вы можете разве что сбиться с пути. Хотя бы потому, что единственный указанный в ней маршрут звучит так: "наугад". Впрочем, следовать этим маршрутом автор предлагает не столько нам самим, сколько отдельным частям нашего тела. Вот заголовки основных разделов книги: ступни, ноги, сердце, руки, лицо, уши, рот, нос, глаза. Метода не нова и проверена временем. Читаем у Павла Муратова в венецианском эпилоге "Образов Италии": "Своей ногой ступал я однажды на камни Испанской лестницы, своим лицом чувствуя горячие веяния сирокко! Своей рукой срывал розы на склонах Монте Берико, в оградах палладианских вилл и своими пальцами ощущал тонкую пыль, осевшую на тяжелых гроздьях в виноградниках Поджибонси или Ашьяно!" С помощью такого природного инструментария мы начинаем осязать, слышать, видеть, словом, чувствовать город, который бросил вызов природе самим фактом своего существования, да и вообще не особо с ней считается. Мы улавливаем ступнями молекулярный поскрип миллионов окаменевших столбов, вколоченных в дно лагуны и образовавших твердь там, где ее быть не должно. Слоняемся по лабиринту микроскопических долин и взгорий, пока ноги не нальются *трахитом*, которым выложены венецианские мостовые. Тогда мы отдаемся на произвол уличного варикоза или колыбельной качки водного трамвайчика, отказавшись от попыток понять Венецию умом. Ум уступает место чувствам, а именно сердцу, которому в Венеции уж точно не прикажешь. Доказательств тому сколько угодно: от частного

© Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano
Prima edizione nell'"Universale Economica" aprile 2000
© Геннадий Киселев. Перевод, 2010
Полностью книга выйдет в издательстве "Иностранка".

романтического опыта бесчисленных и безымянных пар до среднестатистических откровений на тему "Легко ли влюбиться в Венеции?" Забавная подборка мнений, интервью, мемуаров и даже стихов по этому поводу представлена Скарпой-коллекционером в главе "Сердце".

Светлейшему граду в кои-то веки повезло с бытописателем из местных. Они, как водится, не очень горазды на всплески чувств к родным палестинам, тем более таким, как Венеция, вечно ускользающим и размноженным лагунной рябью. Здесь следует оговориться, вспомнив блистательную венецианскую триаду золотого XVIII века: Гольдони, Вивальди и Казанову. Они запечатлели родной город в бессмертных творениях литературы, музыки и деятельной жизни, отразили его изначальный облик, голос и норов. Нельзя не упомянуть и о плеяде прославленных ведутистов Сеттеченто: Каналетто, Б. Беллотто, Ф. Гварди, Дж. Б. Тьеполо, П. Веронезе или о хроникере городской жизни П. Лонги, окрещенного Гольдони "кистью, ищущей правды". И все же именно зоркий глаз и сдержанность оценки великих пришлых от Гёте и Тернера до Муратова и Бродского предлагают нам выверенную матрицу восприятия Венеции. На всякий случай, чтобы не скатиться в слащавую и бесформенную патетику, не захлебнуться в сбивчивых отчетах, путаных текстах, застывших красках, блекнущих фотографиях, предательских, как невнятный выговор гостей Венеции. Задолго до Скарпы тончайший образный радар Иосифа Бродского распознал в полузавешенных высоких окнах на другом берегу канала "подсвечник-осьминог, лакированный плавник рояля, роскошную бронзу вокруг каштановых или красноватых холстов, золоченый костяк потолочных балок — и кажется, что заглянул в рыбу сквозь чешую и что внутри рыбы — званый вечер"[1]. Точно так же задолго до Бродского отметился решительным мнением о городе Монтескье: Венеция — это "место, где должны жить только рыбы".

Автор этого рельефного путеводителя по собственным ощущениям и опыту жизни в Венеции, путеводителя, который никуда не ведет, наконец-то оказался писателем, а не новоиспеченным краеведом, известным по основному роду занятий как домохозяйка, порнозвезда, телеведущий, футболист, феминистка, дизайнер, пластический хирург, скандальный журналист, лукавый политик, ловкий магнат, в свою очередь начинавший продавцом электровеников, мэр-философ или рок-музыкант. Писателем, за плечами которого несколько знаковых романов и сборников рассказов рубежа веков. В 2009 году роман Скарпы "Stabat Mater" удостоен престижнейшей литературной премии Италии "Стрега". Ну а в этой своей едва ли не самой удачной, на наш вкус, книге автор словно приглашает читателя прикоснуться, принюхаться, прислушаться, приглядеться к сразу не осязаемым атомам венецианского благолепия, отведать местного напитка, испробовать кушанье, освоить говорок. Карманный словарик причудливой городской топонимики из раздела "Глаза" становится кодом доступа к ис-

1. И. Бродский. Набережная неисцелимых. Перевод Г. Дашевского.

конной Венеции, "не замыленной" ордами иноязычных пришельцев. Однако мы открываем Венецию не потаенных задворок, неведомых островков, диковинных блюд или непролазных дебрей диалекта. Венеция Скарпы давно слилась с гостеприимной лагуной, сделавшись неотъемлемой частью пейзажа между небом и водой. Достаточно взглянуть на него сквозь трехмерный кристалл этой необычной инструкции по пользованию Венецией. Тогда станет ясно, что истинный жанр книги — литературное приношение, домодельная подвеска венценосному городу от одного из его преданных уроженцев.

ВЕНЕЦИЯ – это рыба. Присмотрись к ее контурам на географической карте. Она напоминает гигантскую камбалу, распластавшуюся на дне лагуны. Почему эта дивная рыбина поднялась вверх по Адриатике и укрылась именно здесь? Ведь могла бы еще пространствовать, заплыть в любое другое место. Махнуть под настроение куда глаза глядят, помотаться по белу свету, наплескаться вдоволь – ей это всегда нравилось. На ближайший уик-энд в Далмацию, послезавтра – в Стамбул, следующим летом – на Кипр. И если она все еще обретается в здешних краях, на то должна быть своя причина. Лосось, выбиваясь из сил, плывет против течения, преодолевает пороги, чтобы заняться любовью в горах. Все русалки с Лукоморья приплывают умирать в Саргассово море.

Авторы других книг разве что улыбнутся, прочитав эти строки. Они расскажут тебе о возникновении города из ничего, о его громадных успехах в торговом и военном деле, о его упадке. Сказки. Все не так, поверь. Венеция всегда была такой, какой ты ее видишь. Или почти всегда. Она бороздила моря с незапамятных времен. Заходила во все порты, терлась обо все берега, пирсы, причалы. К ее чешуе пристали ближневосточный перламутр, прозрачный финикийский песок, греческие моллюски, византийские водоросли. Но вот в один прекрасный день она почувствовала всю тяжесть этих чешуек, этих крупинок и осколков, понемногу скопившихся на ее коже. Она заметила образовавшийся на ней нарост. Ее плавники слишком отяжелели, чтобы свободно скользить в потоках воды. Она решила раз и навсегда зайти в одну из бухт на крайнем севере Средиземноморья, самую тихую, самую защищенную, и отдохнуть здесь.

На карте мост, соединяющий ее с материком, похож на леску. Кажется, что Венеция попалась на удочку. Она связана двойной нитью: стальной колеей и полоской асфальта. Но это случилось позже, всего лишь лет сто назад. Мы испыта-

лись, что однажды Венеция передумает и вновь отправится в путь. Тогда мы привязали ее к лагуне, чтобы ей не взбрело в голову опять сняться с якоря и уйти далеко-далеко, теперь уже навсегда. Другим мы говорим, что тем самым хотели защитить ее, ведь после стольких лет швартовки она разучилась плавать. Ее сразу отловят, она немедленно угодит на какой-нибудь японский китобоец, ее выставят напоказ в аквариуме Диснейленда. На самом деле мы больше не можем без нее. Мы ревнивые. А еще изощренно жестокие, когда речь заходит о том, чтобы удержать любимое существо. Мы не только привязали ее к суше. Хуже того, мы буквально пригвоздили ее к отмели.

В одном романе Богумила Грабала есть мальчик, одержимый страстью к гвоздям. Он заколачивал их исключительно в пол: дома, в отеле, в гостях. С утра до вечера мальчик лупил молотком по шляпкам гвоздей, загоняя их в паркетные полы, попадавшиеся ему, так сказать, под ногу. Он словно хотел накрепко прибить дома к почве, чтобы чувствовать себя увереннее. Венеция сделана точно так же. Только гвозди тут не железные, а деревянные. И еще они огромные, от двух до десяти метров в длину, а в диаметре сантиметров двадцать-тридцать. Вот такие гвозди и вбиты в илистый грунт мелководья.

Все эти дворцы, которые ты видишь, здания, отделанные мрамором, кирпичные дома нельзя было строить на воде: они бы погрязли в размякшей почве. Как заложить прочный фундамент на жидкой грязи? Венецианцы вогнали в лагуну сотни тысяч, миллионы свай. Под базиликой делла Салюте их по меньшей мере сто тысяч. Столько же и под опорами моста Риальто, чтобы удерживать нагрузку каменного пролета. Базилика св. Марка стоит на дубовой платформе, которая опирается на свайное сооружение из вяза. Стволы доставляли из кадорских лесов в Альпах Венето. Их сплавляли по реке Пьяве и ее притокам до самой лагуны. Использовали лиственницу, вяз, ольху, сосну, равнинный и скалистый дуб. Светлейшая[1] была очень прозорлива. Леса берегли как зеницу ока. За незаконную вырубку строго наказывали.

Деревья переворачивали макушкой вниз и вбивали наковальней, поднятой с помощью шкивов. В детстве я еще успел это увидеть. Я слышал песни рабочих-коперщиков. Песни звучали в такт с размеренными и мощными ударами зависших в воздухе молотов цилиндрической формы. Они медлен-

1. Serenissima *f* — *Светлейшая* (*итал.*); полное название: Serenissima Repubblica di Venezia — Светлейшая Республика Венеция. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

но скользили вверх по вертикальным балкам, а затем с грохотом срывались вниз. Стволы деревьев насыщались минеральными солями как раз благодаря грязи. Тина покрывала их защитной оболочкой и не давала сгнить от соприкосновения с кислородом. За время многовекового погружения дерево превратилось почти в камень.

Ты идешь по бескрайнему опрокинутому лесу, бредешь по невообразимой, перевернутой вверх дном, чащобе. Все это кажется выдумкой посредственного писателя-фантаста, однако же это правда. Я расскажу, что происходит с твоим телом в Венеции. Начнем со ступней.

Ступни

Венеция — это черепаха. Ее каменный панцирь сделан из серого бута (по-венециански "мазеньо"[1]). Им и выложены улицы. Горная порода называется трахит. Весь камень привозной. Как писал Паоло Барбаро[2], почти все, что ты видишь в Венеции, доставлено откуда-то еще. То ли импорт, то ли контрабанда, а то и вовсе награбленное. Поверхность, по которой ты ступаешь, гладкая. Хотя на многих камнях сделана насечка, чтобы не поскользнуться во время дождя.

Куда ты пошла? Выброс карту! Зачем обязательно знать, где ты находишься в эту минуту? Хорошо, в любом городе, в торговых центрах, на автобусных остановках или станциях метро ты привыкла доверяться указателям. Всегда найдется надпись с цветной точкой или стрелка на карте, гласящие: "Вы здесь". Вот и в Венеции, достаточно поднять голову, и ты увидишь обилие желтых указателей. Нарисованные на них стрелки говорят тебе: иди туда-то, не заплутай. *Alla staziome – К вокзалу, Per san Marco – К Сан-Марко, All'Accademia – К Академии.* Не обращай внимания. В упор на них не смотри. Зачем бороться с лабиринтом? Подчинись ему хотя бы раз. Не волнуйся, пусть дорога сама проложит за тебя маршрут, а не маршрут — дорогу. Научись бродить, бродяжничать. Заблудись. Поплутай.

"По-венециански". После войны это выражение относилось к нашей футбольной команде "Венеция", мол, "играть по-венециански". Наши футболисты демонстрировали жесткий, индивидуальный стиль игры; не отпускали мяч от ноги, не делали длинных передач, любили обводку и вели позици-

1. Masegno *m.*
2. Барбаро Паоло (р. 1922) — итальянский инженер и писатель.

онную борьбу. Еще бы, ведь они выросли в этом варикозном круговороте улочек, проулков, кривоколенных извилин, сужений. Самый короткий путь из дома до школы всегда превращался в запутанный клубок. Наверное, когда игроки выходили на поле в трусах и майках, они всюду продолжали видеть *калли* и *кампьелли*[1]. Они пытались выбраться из собственного галлюцинаторного лабиринта между центром поля и штрафной площадкой.

Вообрази себя эритроцитом. Словно ты движешься по сосудам. Подчинись биению невидимого сердца, его толчкам. Или представь, что ты кусочек еды и перемещаешься по кишечнику. Пищевод узенькой улочки стискивает тебя кирпичными стенами и вот-вот раздавит, сотрет в порошок. Он проталкивает тебя сквозь клапан моста на ту сторону водной массы. Выскользнув, ты ухаешь в просторный желудок и оседаешь на его площади. Ты не продолжишь путь, не задержавшись тут на короткое время. Ты вынуждена остановиться, потому что твой взгляд прикован к фасаду церкви. Она оказывает на тебя глубинное химическое воздействие. Она переваривает тебя.

Всячески рекомендую тебе один-единственный маршрут. Он называется так: "наугад". Подзаголовок: "бесцельно". Венеция маленькая, в ней позволительно заблудиться, так и не покинув ее пределов. В худшем случае окажешься на самом ее краю, на *риве*[2], у воды с видом на лагуну. В городском лабиринте не водятся Минотавры, а в лагуне тебя не подстерегают водяные чудовища, готовые разделаться со своими жертвами. Одна моя американская знакомая впервые приехала в Венецию зимой, ближе к ночи. Она никак не могла отыскать свою гостиницу. Зажав в руке бумажку, на которой был нацарапан бесполезный адрес, она с нарастающим беспокойством кружила по пустынному городу. Чем больше проходило времени, тем больше она убеждалась, что ее наверняка изнасилуют. Она только диву давалась: уже три часа в чужом городе, а на нее еще никто не напал и не отнял вещи. Девушка была из Лос-Анджелеса! Главное, будь внимательна в районе площади Сан-Марко и на людных пристанях. Там промышляют карманники. Если ты не находишь нужной улицы, всегда найдется венецианец, который любезно подскажет, как вернуться назад. Если тебе и впрямь нужно вернуться назад.

1. Calle *f*, campiello *m* (*итал.*) — венецианские названия соответственно улицы — калле и небольшой площади — кампьелло.
2. Riva *f* (*итал.*) — в Венеции мощеный тротуар вдоль каналов или лагуны.

Пойти туда не знаю куда — вот единственное направление, в котором стоит идти.

Ты можешь спокойно расхаживать где угодно в любое время дня и ночи. Здесь нет кварталов с дурной славой. Или уже нет. Разве что какой-нибудь поддатый пижон начнет к тебе лезть. Кстати, привыкай к венецианским словечкам. Кварталы здесь называют *сестьерами*[1], потому что в исторической части их шесть, а не четыре. Санта-Кроче, Каннареджо, Дорсодуро, Сан-Поло, Сан-Марко, Кастелло. Каждый район — это шестая часть Венеции, а не четвертая, как в городах, которые заложены на пересечении двух главных дорог; там дома стоят на четырех земельных участках, разделенных перекрестьем улиц. В Венеции номера домов на дверных порталах начинаются не с единицы на каждой улице, а продолжают нумерацию всего *сестьере*. *Сестьере* Кастелло доходит до рекордной цифры 6828 на *фондамента*[2] Дандоло, возле моста Россо. На другой стороне того же моста, в конце *калле* делле Эрбе, *сестьере* Каннареджо достигает цифры 6426.

Камни брусчатки уложены встык длинными раздельными рядами. Они указывают направление улиц, подчеркивают их удаляющуюся перспективу. Градостроители явно спроектировали их для детей, ведь дети забавы ради стараются ни за что не наступать на стыки. "Не заходи за черту!" — говорил Сальвадор Дали, резюмируя закон композиции своей живописи, такой консервативной по форме и такой безумной по зрелищному наполнению. Быть ребенком в Венеции, наверное, и означает не переходить черту, не нарушать контуры форм, чтобы в действительности переворачивать их содержание? Значит, ступни венецианцев только делают вид, что неотступно соблюдают *статус-кво*, а на самом деле невольно отступают от него? Значит, у нас запальчивые пальцы и спятившие пятки? Надо же, какой онирический бред, какой сюрреальный, абсурдный город сумели мы воздвигнуть, составив эту безумную мозаику из миллиарда ровненьких прямоугольников! Трахитовый *мазеньо* — это эмблема, воспроизводящая в миниатюре всю Венецию, город с истыканным профилем, непреложно обособленный водой, лишенный возможности расширяться, выходить за свои пределы, город, помешавшийся от переизбытка самосозерцания и самовосприятия. Посмотри, сколько церквей попадается здесь на каждом шагу. Внешне набожный, на поверку город оказывается религиоз-

1. Sestiere *m* (*итал.*) — один из шести районов Венеции.
2. Fondamenta *f* (*итал.*) — в Венеции небольшая набережная, тротуар вдоль каналов.

но-анархичным. В нем почитают целый сонм больших и малых святых. Он исповедует взорвавшуюся, рассеянную и совершенно невменяемую религию. Каждый *мазеньо* - герб, на котором нет геральдических знаков. Он состоит из сплошного серого поля, глухой, гладкой поверхности. Единственный рисунок на этом чистом гербе — его периметр. Можешь спокойно попирать линии прямоугольников, и ты ощутишь подметками микроскопические перепады, неровности стыков, истертые заплаты, выбоины. Ребенком их попирал один французский господин и запомнил это на всю жизнь.

Двадцать первого ноября, в праздник Мадонны делла Салюте — Богоматери-целительницы встань ровно посредине восьмигранника собора[1], под самым паникадилом, свисающим с купола на десятки метров, проведи подошвой, как велит обычай, по бронзовому диску, вделанному в пол. Коснись носком туфли надписи *Unde origo inde salus*, отлитой в металле: "где начало, там и спасение". Начало — это земля. Ходить по ней только во благо. Здоровье прибывает в нас от ступней. Вот бы научиться скрещивать пальцы ног против сглаза, чтобы стряхивать его с тела прямо на землю.

Смотри под ноги. Особенно весной в районе Дзаттере. Дело не только в неизбежных экскрементах наших четвероногих друзей. По ночам венецианцы тут рыбачат. Лампами и фонарями они приманивают влюбленных каракатиц и выхватывают их большим сачком, как для ловли бабочек. Со дна сеток пойманные каракатицы поливают брусчатку *ривы* обильными струями чернил. Нечаянно можно перемазать штаны и носки.

Чувствуешь, как оживают, какими хваткими становятся пальцы ног, когда идешь по ступенькам моста? На подъеме пальцы так и цепляются за стоптанные, стесанные кромки ступеней. На спуске ступни притормаживают, пятки упираются. Носи легкую обувь на тонкой подошве. Никаких постпанковских гриндерсов или кроссовок со вспененными вставками и прошитыми набивками. Предлагаю тебе такое духовное упражнение: стань ступней.

Ноги

Ну и работенка. Дома старые. Таких, где есть лифт, совсем немного. Просто потому, что в лестничных пролетах нет

1. То есть базилики Санта-Мария делла Салюте (заложена в 1631 г.).

места. На улице через каждую сотню метров возникает мост. Ступенек двадцать не меньше. Вверх-вниз. В Венеции мало кто жалуется на сердце. Кости ноют, ревматизм мучает — это да. Сырость.

Ровных улиц тоже нет. То в горку, то под гору. Венеция вся такая. Сплошные перепады, подъемы и спуски, пригорки, увалы, бугры, скаты, впадины, котловины. *Фондамента* съезжают в *рио*[1]. *Кампо*[2] простеганы каменными люками колодцев словно пуговицами-наклепками, тонущими в припухлостях кресла. Помимо ног, эта глава посвящена еще и лабиринту. Точнее, чете телесных лабиринтов — двум улиткам, поселившимся во внутреннем ухе и придающим тебе чувство равновесия.

Не знаю, насколько правдива эта история. За что купил, за то и продаю. Пересчитай колонны Дворца дожей со стороны акватории Сан-Марко напротив острова Сан-Джорджо. Начиная с угла, дойди до четвертой колонны. Ты заметишь, что она слегка выдается за линию, вдоль которой выстроились другие колонны. Всего на несколько сантиметров. Прислонись спиной к колонне и попытайся обойти ее. Дойдя до внешней стороны колоннады, ты неизбежно сползешь с крошечного приступочка из белого мрамора, опирающегося на серые плиты набережной. Сколько ни старайся, все равно не удержишься и свалишься с приступка, даже если прижмешься к колонне или обогнешь ее ногой, чтобы перемахнуть через край и преодолеть критическую точку. Мальчишкой я все пробовал обойти вокруг колонны. Это было гораздо больше, чем испытание или игра. Меня действительно бросало в дрожь. Рассказывали, будто приговоренным к смерти предоставлялась последняя возможность спастись. Своего рода акробатическая ордалия, суд Божий. Сумеешь пройти впритирку с колонной, не соскользнув на серую плиту, будешь помилован в последнюю минуту. Эту жесточайшую иллюзию можно было бы окрестить так: "пытка надеждой", по названию зловещего рассказа французского писателя XIX века[3]. Как бы то ни было, мне нравится этот образ смерти глубиной в несколько сантиметров, вместо привычной бездны. Образ не высокопарный и куда более устрашающий. Наверное. смерть такой и будет: давай, приступочек невысокий, ни в ка-

1. Rio *m* (*итал.*) — небольшой канал, входящий в городскую транспортную сеть Венеции.
2. Campo *m* (*итал.*) — название площади в Венеции.
3. Речь идет об одном из "Жестоких рассказов" Вилье де Лиль-Адама (1838–1889).

кую пропасть ты не сорвешься, смотри, тут всего-то три сантиметра, ну же, небольшое усилие, тебя никто не толкает, чего ты, не шатайся, это просто...

Приготовься к посадке на *вапоретто* — водный трамвайчик (по-венециански "батэо"[1], по-итальянски "баттэлло"[2]). Постой на плавучей пристани ("имбаркадэро"[3]). *Вапоретто* причаливает, и ты ощущаешь сильный толчок. Он застает тебя врасплох, как удар, нанесенный исподтишка. Зайди на *вапоретто*, но и здесь не садись, оставайся на палубе, под навесом. Почувствуй ногами нутряную дрожь мотора. От него у тебя задрожат икры. Бортовая качка заставит без конца переносить вес тела с ноги на ногу, напрягать и расслаблять мышцы, о которых ты даже и не подозревала. Предупреждаю, что на общественном транспорте, а именно на *вапоретто* предприятия транспортного консорциума Венеции[4] ты платишь в четыре раза дороже, чем житель Венеции. Горожане пользуются специальной карточкой — "Картавенеция", дающей право на льготный тариф.

В гондоле тоже не надо садиться, прошу тебя. Правда, я имею в виду только *гондолы-трагетто*[5]. Они есть в разных точках Большого канала. За половину стоимости чашки кофе тебя перевезут с одного берега на другой в местах более или менее удаленных от трех больших мостов, перекинутых через канал. Гондолы-паромы находятся справа от вокзала, у церкви Сан-Маркуола, у моста Риальто, перед рыбным рынком и дальше на *рива* дель Вин и *рива* дель Карбон. Кроме того, на пристанях Сант-Анджело, Сан-Томá, Санта-Мария дель Джильо и ближе к стрелке Таможни. Эта услуга не для туристов, наоборот. Переправами на гондолах пользуются в основном венецианцы, дорожащие временем. Гондолы-паромы немного шире туристических гондол. В них помещаются около двадцати пассажиров, плюс два гондольера, один на носу, другой на корме. Хотя по городским правилам можно перевозить не больше четырнадцати человек.

Другое дело прогулка на гондоле. Это дорогое удовольствие. И вообще, захочешь прокатиться на весельной или моторной лодке, наведи подробные справки о ценах, а уж потом садись. Узнай, идет ли речь о цене за всю поездку или за проезд одного пассажира. Нередко услышишь, как сойдя на землю, ту-

1. *Венец.* batèo *m.*
2. Battello *m* (*итал.*).
3. Imbarcadero *m* (*итал.*).
4. Azienda consorzio trasporti veneziano (ACTV) (*итал.*).
5. Traghetto *m* (*итал.*) — паром.

ристы затевают свару. Они-то думали, что должны заплатить, скажем, десять дукатов, а с них почему-то требуют сорок. Еще бы, они же в полном составе: муж, жена и двое детей. В общем, помни, что на общественном транспорте ACTV, трамвайчиках и теплоходах, ты доберешься практически до любого места, и обойдется тебе это в стоимость кружки пива или журнала. Пройди Большой канал, обогни город, причалив к Джудекке, Сан-Джорджо, Сан-Клементе, Сан-Ладзаро дельи Армени, Лидо, кладбищу на Сан-Микеле. Не отказывайся от маленьких круизов по лагуне. Садись на теплоход на *фондамента* Нуове, и ты откроешь параллельные Венеции, контрвенеции, паравенеции, антивенеции. Остров Мурано, куда семь веков назад были сосланы стеклодувы, ибо их заводы становились причиной слишком частых пожаров. Психоделический остров Бурано с разноцветными домами, напоминающими конверты долгоиграющих пластинок 60-х. Острова Виньоло, Маццорбо, Торчелло, пунта Саббьони, Сан-Франческо дель Дезерто, иль Каваллино, Йезоло, Пеллестрина, Кьоджа, Соттомарина.

В лагуне водятся сотни особых видов рыб, амфибий и птиц. Здесь обосновалось прошлое и будущее биологии. Это станция техобслуживания для перелетных стай. Они находят ее по памяти. Вдобавок это еще и фантастическая лаборатория, где выдается патент на ядовитые водоросли-мутанты. Их генетический код изменился под воздействием промышленных стоков.

Когда-то привычнее было передвигаться на лодке. Восемьсот лет назад мостов почти не было. Тогда пользовались переносными мостками. *Топи, сандоли, маскареты, с'чопони, пеоты, пупарини, каорлины, санпьероты*[1], сегодня проблема не в том, чтобы подыскать нужную лодку — они сто́ят меньше автомобиля, а в том, чтобы найти постоянный причал. Все места именные и занесены в муниципальный реестр. На каналах во втором ряду не парковаться!

Венеция — англосаксонский город. У многих домов свой вход с улицы. Пускай маленький, но отдельно от соседей. Так повелось с незапамятных времен — даже в самых бедных домах, при строительстве дешевого жилья. Городская планировка аж пятисотлетней давности при государственном финансировании выглядит на удивление современной.

Сегодня в Венеции ходят гораздо больше. Первоначально дворцы и дома, стоящие у каналов, были обращены фасадом к воде. У воды располагались парадный вход и, разумеется, лодочный причал. На улицы выходили подсобные помеще-

1. *Венец.* tòpe *f pl*, sàndoli *m pl*, mascarète *f pl*, s'ciopòni *m pl*, peàte *f pl*, puparìni *m pl*, caorline *f pl*, sanpieròte *f pl* — названия венецианских лодок.

ния. Теперь в Венеции мы пользуемся по большей части задворками. Город поворачивается к нам спиной, показывает нам зад, задвигает нас.

Это видно и по мостам. Многие из них кривые, как будто острова разошлись кто куда. Мосты построены наискосок. Кирпичные или кованые перила выделывают коленца. Лестничные марши словно отлиты из затвердевшей лавы, растекшейся по боковым скатам как придется. Иные заявляют об этом в своих названиях: мост Кривой[1]. Это означает, что *калле* по обе стороны канала зачастую располагались не по прямой линии. Их не так-то просто было соединить мостом. Они лишь выходили к каналу, где можно было причалить, подняться на борт или сойти на берег, погрузить или разгрузить товар. Иными словами, вначале появились дома, а между домами — *калле*, проложенные по своим собственным законам. Мосты навели после, вот им и пришлось подлаживаться к нестыковкам "криво" противоположных *калле*, так и не составивших единую ось между *ривами* каналов.

Как тебе известно хотя бы из теленовостей, в Венеции ты запросто можешь промочить ноги. Большая или "высокая" вода[2] — это злополучное сочетание непогоды, ветра и течения, подгоняющих прилив в лагуну. Такое происходит главным образом с октября по декабрь. Хотя несколько лет назад, в апреле, я вышел из кинотеатра на полностью затопленное *кампьелло*. Пришлось провожать подругу, взяв ее на закорки. Я медленно брел часа два по колено в ледяной воде. Этот в буквальном смысле слова рыцарский поступок стоил мне трехдневной простуды с температурой.

Венецианцы называют "полноводными штанами" такие укороченные и неказистые на вид брюки, по-клоунски не доходящие до лодыжек. Их точно специально обрезали, чтобы не замочить низ. "Высокая вода" — напасть века. Часть лагуны засыпали, проложили глубоководные каналы. Танкеры больше не садились на мель, зато море стремительно наводняло город. Низкие губчатые острова лагуны, песчаные, илистые отмели — *бареньi*[3], размываемые нагоном волны, уже не в силах были поглощать избыточную энергию приливов. Древние венецианцы изменяли течение рек, чтобы в лагуну попадало меньше паводковых вод. Венеция и сама поначалу называлась *Градом на высоком берегу — Civitas Rivoalti*, на Риальто. Впрочем, современные археологи с этим не согласны.

1. Ponte Stort (*итал.*).
2. Acqua alta (*итал.*).
3. Barene *f pl* (*итал.*).

Считалось, что город возник на группе островов, лишь немного возвышавшихся над уровнем воды.

Достаточно уровню воды подняться меньше, чем на метр, и многие районы окажутся подтопленными. Сигнал стихийного бедствия подается с отметки метр десять. В страшную ночь 4 ноября 1966 года мой отец добрался до дома с работы вплавь.

Сирены, подававшие сигнал воздушной тревоги во время второй мировой войны, так и остались наверху колоколен. Теперь они сигнализируют о морской тревоге, когда прибывает "высокая вода". Тебя будят в пять-шесть утра. Сонные горожане устанавливают на входной двери стальные переборки, вставляют небольшие плотины в металлический каркас, прорезиненный по периметру дверной рамы. Заделывают даже окна первых этажей, выходящих на переполненные водой каналы. Чаще всего и это не помогает. Вода бьет ключом из люков, струится сквозь щели в полу, подбирается к мебели, увлажняет стены, крошит работу маляров. Торговцы немедленно запускают гидронасосы, спешно убирают товар с нижних полок. Однажды после очень сильного прилива из магазинов на улицу повыставляли лотки, на которых распродавалась намокшая испорченная обувь. Специализированные бригады дворников собирают на рассвете в затопленных *калле* деревянные мостки. Лицеисты в резиновых сапогах до колен или в рыбацких до паха приходят на помощь друзьям, обутым в полуботинки. Они взваливают на себя такую приятную ношу, как смазливая одноклассница, или переносят на спине преподавателей. Те крепко обвивают шею руками, а бока ногами. Лицеисты подхватывают их под колена, уподобляясь три тысячи лет спустя Энею, выносящему из горящей Трои своего отца Анхиза. Если вы надели не ту обувь, спросите в бакалейной лавке пару хозяйственных пакетов и зачехлите в них ноги, обвязав ручки вокруг щиколоток. Носильщики с грузовыми тележками переправляют прохожих через лужи величиной с бассейн, доставляют их на сушу и не брезгуют монеткой. Туристы резвятся без удержу, фотографируют, ходят босиком с закатанными, как у рыбаков, штанинами, топчут неразличимые под водой собачьи какашки. Кто-нибудь обязательно разгуливает с блаженным видом, раскрыв от восторга рот. Ему и невдомек, что он рискованно подошел к самому краю затонувшей набережной. Невидимая *рива* под ногами обрывается, а он все волочит под водой ноги, пока не оступается и не уходит с головой в канал.

Помню такой случай. Один мой знакомый юрист направлялся с адвокатом в суд. Они шли по деревянным мосткам. скрепленным абы как. Между двумя мостками образовался метровый провал. Внезапно адвокат исчез. Из воды торчал

лишь рукав пиджака; на запястье золотые часы. Рука отчаянно размахивала кожаной папкой. Мой знакомец поймал ее на лету. Адвокат защищал дело в суде мокрый насквозь, хоть выжимай. При этом он с довольным видом манипулировал спасенными в воде документами.

Сердце

Легко ли влюбиться в Венеции? По мнению богослова Тадеуша Жулавского, "неоднократные тесты и биохимические анализы подтверждают, что на свете нет более благоприятного места для стимуляции выработки гормонов". Со своей стороны профессор-психоаналитик Исаак Абрахамович возражает ему:

...перманентное состояние романтического возбуждения, постоянное эротическое влечение, вызываемое Венецией у приезжих, ведет к парадоксальному эффекту ослабления сексуального импульса. Да, вы все время испытываете горячее, но при этом сдержанное желание, без неожиданных скачков и всплесков. Сексуальный импульс передается каждой клеточке индивидуума, растворяется во всех членах, чутко воспринимает тайные душевные порывы. Эрос расплывается как жирное пятно по всему организму человека, начиная с генитального аппарата. Таким образом, безусловно, увеличивается его охват, но и неоспоримо уменьшается его интенсивность.

Чемпион мира 1998 года по бодибилдингу Оскар Крикштейн заявил в одном из недавних интервью:

Это странно, это как если бы мое тело безостановочно, в умеренном ритме занималось с Венецией легкой любовной гимнастикой (a soft love gym with Venice) от рассвета до заката, от кончиков волос до пальцев ног. Честное слово, приезжая сюда, я занимаюсь любовью с Венецией! Я бессознательно вступаю с этим городом в сексуальные отношения (I have sex with this city). Под вечер у меня пропадает желание все разгромить, это невероятно! В любой другой части света, каждый раз, когда я захожу в спортзал, я разношу его на куски. А здесь мне спокойнее. Венеция меня усмиряет.

Стихи поэтессы Костанцы Фенегони Варотти еще красноречивее:

Этой ночью я выйду, завывая,
Пройду на ощупь, брызжа слюной по калле,
Чтобы пожрать вас своими лобзаниями,
Юноши со стрижкой под ноль,
Раздувающие щедрые штаны.

Я пробегу вприпрыжку-вприскочку
По Мосту моих вздохов,
Запыхавшись и высунув язык,
Обезвоженная от желания.
Я распахну все поры на коже,
Сверкну тысячей мелких клычков
Под этой упыристой луной.
Я вонжусь в ваши голые черепа,
Чтобы погасить томимый жаждой жар
Моих потаенных уст.
Я припаду к вашим телам,
Словно к ларькам с прохладительными напитками.

Во что же выливаются эти благие намерения? Узнаем об этом из последней строфы того же стихотворения:

Но я остаюсь здесь и думаю о вас,
Юноши с безжалостными черепами.
Я опускаю в горькую чашу искусственную челюсть.
"Спокойной ночи, милая соратница
По тысячам страстных баталий".
Я забываюсь сладким сном,
О, мои безжалостно обнаженные юноши,
Созерцая вас,
Совращая вас,
Сочиняя вас.

Физик-атомщик Гари Флетчер в главе "Я и женщины" своей автобиографии описывает любопытный эпизод:

Необычные судороги эпилептического характера охватывали меня, как только рядом оказывалась красивая девушка. Судороги вызывали во мне эндогенные нервные разряды, соответствующие 1000—1500 биовольт. Вот такая незадача. И не было другого способа справиться со всем этим, как тут же подсоединиться, скажем так, к розетке данной особы. Однажды меня пригласили на симпозиум, проводившийся в Италии. Так я впервые посетил Венецию. Венеция! Город влюбленных и свадебных путешествий! Город, в котором потерял голову от любви Отелло! Какое пагубное влияние окажет он на меня? Признаюсь, я пребывал в тревожном ожидании. Едва я ступил в Венецию, к моему великому удивлению, приступы *voracitas sexualis rapax*[1] загадочным образом стихли. Я не стал доискиваться причин столь необычного явления, тут же собрал чемоданы и уехал в обожаемый мной Миннеаполис.

1. Ненасытного сексуального желания (*лат.*).

На этом я остановлюсь, хотя мог бы перечислить десятки не менее авторитетных свидетельств. Вернемся к вопросу, с которого мы начали. Легко ли влюбиться в Венеции? Чаще ли здесь бьется сердце? Стоит ли приезжать сюда с невестой? Добьетесь ли вы конкретных результатов, заключив союз с Венецией, чтобы вскружить голову вашей девушке? Несомненно. Только сначала давай немного порассуждаем об этом, после чего перейдем к практической стороне дела.

Итак, зачем нужны все эти старые трюки? Зачем я окружаю себя великолепным пейзажем, устанавливаю неотразимые, обольстительные декорации? Я хочу произвести впечатление. Я предстаю на восхитительном фоне, как будто мое тело излучает ореол неповторимых видений. Пейзаж становится моим нимбом (следуя тому же принципу, я со вкусом одеваюсь, потому что одежда — это секреция моей кожи).

"Здесь можно разве что опоясаться пейзажем", — писал Андреа Дзандзотто[1]. А теперь взгляни на ситуацию в перевернутом виде, так, словно пейзаж сконцентрировался в нескольких узловых точках. Фон сгущается и застывает в некой фигуре, которая и есть я. Вот почему, если все пойдет хорошо, в моей голове постоянно будет вертеться вопрос: кого же она целует, меня или пейзаж? Еще одна опасность: на впечатляющем заднике по контрасту заметнее нескладные фигуры. Если ты не чувствуешь себя Мисс Вселенной или Мистером Голливудом, объясняйся в любви на фоне мусорных свалок, решись на первый поцелуй в смраде выхлопных труб, протяни руки, стоя спиной к зловонной нефтебазе, и ты окажешься единственным светлым пятном в этом пейзаже, неотразимым воплощением достоинств, ты будешь сиять как алмаз в грязи. Соблазняй в порту Маргера![2]

Однако я обещал дать тебе практические советы. Правда ли, что в Венеции занимаются любовью под открытым небом, буквально на каждом углу? Тут нужно сделать оговорку. Молодые венецианские парочки в большинстве своем не имеют машин. Как видишь, по городу запрещено ездить даже на велосипеде. Куда же податься, когда дома родители? У каждого подростка есть свои укромные уголки, выемки в конце уединенных *калле*, тихие дворы, объятые полумраком. И я, разумеется, не стану их называть. Сама найдешь (или в компании!), так еще лучше распробуете.

1. Андреа Дзандзотто (р. 1921) — итальянский поэт.
2. Porto Marghera (*итал.*) — морской порт, железнодорожный узел и промышленный район Венеции. Расположен на материке.

Конечно, эротоманы за прорезями ставен не дремлют. Хорошенько изучи обстановку, осмотрись. Дверные проемы утыканы звонками? Уличные фонари горят слишком ярко? Все эти окна у тебя над головой плотно закрыты? А что там за углом? Тупик или оживленная *калле*? Не остановится ли у каменных ступенек, сходящих к *рио*, легкая моторка, на которой в самый неподходящий момент хохмы ради на всю врубят стерео? Не покажутся ли кавалькады гондол, груженных серенадами?

Выбери дверной проем без звонков. Часто это вход в подсобку. Забейся в уголок, где фонарь разбит и не работает. Возьми на заметку баржи, пришвартованные на необитаемых спящих *рио*. Там хоть и сыровато, но ничего, сойдет. Не мешкая заходи на борт, а потом не оставляй за собой следов: презервативов, скатанных шариком бумажных салфеток, сердечек, вырезанных перочинным ножом на борту. Веди себя прилично, ведь тебе оказали гостеприимство. Кто-то садится на ночной *вапоретто* до Лидо, по весне или в начале осени, то есть до или после купального сезона. На пляже сколько угодно не занятых кабинок. Правда, теперь там тоже стремновато, того и гляди нагрянет частная охрана с фонариками.

А в самом центре Венеции подыщи местечко понадежней, откуда можно выйти в любой момент как ни в чем не бывало. Если же вы хотите предаться любви на виду у всех, без всякого зазрения, оттянувшись по полной, тогда вам мои советы не нужны, и никакое место вас не смутит.

Для влюбленных венецианцев это прописные истины. Одно время я тоже играл в этаких сентиментальных казаков-разбойников. С пятнадцати до двадцати лет. Все выискивал уединенные местечки под открытым небом. Я расскажу тебе пять коротких историй из того времени. Может, они произошли со мной, может, я от кого-то их услышал, может, сам был их свидетелем.

История первая. Парочка в конце *калле*, выходящей на канал. Оба стоят в проеме низкой двери. Оба уже порядком разоблачились. Внезапно появляются муж с женой и дочкой лет пяти. У мужа в руках карта. Он и не думает разворачиваться, настаивает на своем, до него словно не доходит, что он не вовремя, ему подавай нужную улицу. Ничуть не смущаясь, парочка подростков продолжает обниматься, приклеившись друг к другу всем телом. Их обнаженные груди, слившиеся в тесном объятии, прикрывают одна другую. Занавес из рубашек опускается сбоку. Как будто так и надо, парнишка указывает дорогу семейке заплутавших туристов. Девушка с любезной улыбкой вносит кое-какие уточнения в маршрут, чтобы

муж с женой снова не заблудились и не доставали расспросами другую парочку.

История вторая. После долгих блужданий парень с девушкой наконец выискивают чудесный портал, удачно укрывшийся в складках города. Они усаживаются на широких монументальных ступенях, очень, кстати, удобных, и приступают к полезному обмену мнениями. По ходу лобзаний, глаза вареных рыб замечают сквозь полузакрытые веки обращенные на них телекамеры. Их по меньшей мере пять, прямо мультимедийный расстрельный взвод. Должно быть, здесь находится какое-нибудь солидное учреждение. Охранник на проходной как пить дать уже прильнул к экранам, занимающим всю стену, и оценил из своей капитанской рубки виды сбоку и сверху, анфас и в профиль, все эти телеизлияния и катодные ласки.

История третья. Еще одна влюбленная парочка, решительно не знающая, куда податься. По ночам, часа в три, на лавочке в центре *кампо* происходит нечто вроде бега в мешке на месте. Снизу торчат ноги в спущенных до колен штанах. Сверху колышется беспокойная ткань. Это девушка накрылась широким пальто, забралась на скамейку и оседлала парня. Они занимаются любовью на глазах у всех. Только все уже спят.

История четвертая. Парень с девушкой занимаются этим стоя в углублении запертого подъезда в темном дворе. Девушка прислонилась спиной к двери, парень штурмует ее напористыми, проникновенными толчками. Нелегкая механика, неловкое совокупление. Парень дает маху, пролетает вперед и врезается в здоровенный висячий замок с зазубринами. Боль адская. Парень жалобно скулит. У него снова набухает, но уже не от желания, а от боли. На самом конце вскочил синяк. В метре от двери на первом этаже окно. Неожиданно раздвигаются занавески, сквозь них просовывается загадочная рука, кладет на внешний подоконник пачку бинтов и баночку мази от ушибов. Затем точеная рука санитарки тихонько исчезает.

История пятая. Девушка поздно возвращается домой и рассеянно смотрит по сторонам. "Какой-то знакомый тип, — мелькает у нее. — Да, точно он". Стоит себе посреди *кампьелло* у тумбы колодца. Перед ним на коленях девица — ублажает его. Парень и не думает прерывать подружку, занятую делом. Он обменивается взглядом с девушкой, проходящей по *кампьелло*, тоже узнает ее, машет рукой в знак приветствия, непринужденно улыбается и весело восклицает: "Эх!"

Попробуем предложить красивую концовку. Снова пересчитай колонны Дворца дожей, начиная с той самой, которая выдается из общего ряда. Только на этот раз веди счет со

стороны *пьяццетты*, напротив библиотеки Марчиана[1]. У седьмой колонны подними голову и взгляни на капитель. Увидишь полоску, как в комиксах или немых мультиках. Это одна из самых грустных и трогательных историй любви. Такая восьмиугольная любовь, изложенная против часовой стрелки. Исходная сцена высечена на уровне фасада.

Первая сторона: по улице идет юноша. Из окна выглядывает длинноволосая девушка.

Вторая сторона: они назначают первое свидание. Юноша и девушка любезно беседуют.

Третья сторона: девушка гладит юношу по лицу.

Четвертая сторона: они целуются.

Пятая сторона: они предаются любви.

Шестая сторона: родился ребенок, он в свивальнике. Мама с папой ласкают его.

Седьмая сторона: ребенок вырос.

Восьмая сторона: ребенок умер. Родители оплакивают его у могилы.

В этой печальной повести я хочу обратить твое внимание на три вещи. Во-первых, в Средние века девушки тоже проявляли инициативу с помощью рук. Во-вторых, и в Средние века ложились в постель до женитьбы. В-третьих, все участники происходящего изображены в скорбных вытянутых позах. Действующие лица расположены с неизменной симметричностью, их жесты показаны в зеркальном отражении. Героев облачили в длинные одежды, отвесно ниспадающие до земли. Везде, кроме пятой сцены. Под тканой рябью простыней, в драпировке волнистых складок, опрокинутые льняной бурей двое возлюбленных улеглись на ложе в виде ромба или скорее перекошенного прямоугольника. Словно само это ложе пошло наискосок, а матрац принял ромбовидную форму. Страсть закружила ложе по комнате, заставила его пронестись вприпрыжку по полу. Любовь диагональна, она переворачивает эстетические каноны. нарушает строгую хореографию готического барельефа.

Руки

Тебе непроизвольно хочется ее потрогать. Ты касаешься ее. ласкаешь, пошлепываешь, пощипываешь, пощупываешь. Ты. не переставая, лапаешь Венецию.

1. То есть пьяццетты Сан-Марко, части одноименной пьяццы, обращенной к лагуне и расположенной между Дворцом дожей и библиотекой; в честь ее архитектора Якопо Сансовино библиотека называется Либрерия Сансовиниана. Библиотека Марчиана – богатейшая библиотека Венеции, расположенная в Либрерия Сансовиниана.

Ты опираешься на парапеты мостов. Балюстрады моста Риальто отполированы миллионами рук. Значит, и ты уносишь с собой несколько каменных молекул. Они забились тебе в подушечки пальцев, в бороздки их отпечатков.

Проведи ладонями по низким металлическим поручням вдоль каналов.

Расставь руки и попробуй дотронуться до противоположных стен, образующих *калле.* В самых узких из них тебе не расправить и локтей. Их словно выкроили на заказ по твоей фигуре, хоть протискивайся боком. Рекомендую тебе одну такую *калле* за *кампо* Сан-Поло. Она так и называется — Узкая[1], шириной шестьдесят пять сантиметров.

Ты обдираешь крошащуюся штукатурку, разъеденные, растрескавшиеся кирпичи. В игре "Поиски сокровищ" массовики-затейники засовывают в бесчисленные щелочки бумажки с ребусами. Отгадаешь — перейдешь на следующий уровень. Наркоторговцы прячут там пакетики со своим товаром.

Подними руку и коснись свода *сотопортико*[2] — подворотни. В *сестьере* Дорсодуро, при спуске с моста дель Винанте, можно спокойно достать до штукатурки над входом в *сотопортико.* Здесь повсюду налеплена жвачка на любой вкус и цвет, мостовая жвачка на мосту Жвачек. Окаменевшие лакричные пережевки желтовато-табачного цвета соседствуют с ядовито-розовыми флуоресцентными жемчужинами клубничного замеса и ярко-зелеными чернобыльскими подушечками перечной мяты в мозаичном обрамлении из затвердевшего каучука. Летом 1993 года я затеял их подсчет. Сначала насчитал 897. Через четыре года их стало 3128. Это внушительное абстрактное мозаичное панно, результат ручного, а точнее челюстного коллективного труда кустарей-жевателей, следовало бы взять под контроль управлению охраны памятников.

Ты освежаешься водой из питьевых фонтанчиков. Ты затыкаешь их носик и пускаешь трехметровые гейзеры из дырочки посредине.

Ты гладишь ласковых кошек.

У тебя возникает соблазн испытать на прочность швартовы водных трамвайчиков. Привязанные к причалу, швартовы натягиваются и жалобно стонут. Матрос делает тебе знак отойти. Может отхватить запястье. Сам-то он управляется с ними в толстых кожаных перчатках.

1. Calle Stretta (*итал.*).
2. Sottoportico *m* (*итал.*).

Ты довольствуешься тем, что трогаешь на бортах *вапоретто* странные металлические грибы — битенги, на которых крепится канат. Ты касаешься их гигантских родственников на *рива* дей Сетте Мартири в акватории Сан-Марко или каменных тумб на Дзаттере. Это приспособления для швартовки крупнотоннажных судов. На *фондамента* ты с любопытством отрываешь от земли тяжелые кольца, вставленные в брусчатку: к ним швартуются барки.

Ты опираешься на плечи гондольеров, когда они помогают тебе взойти на борт гондолы-парома. На всякий случай ты хватаешься за причальную сваю, вбитую в дно и называемую в Венеции *брикола*[1].

Ты проводишь пальцами по уключине — *форкола*[2], торчащей на корме гондол. Боччони[3] ничего не придумывал, его "Уникальные формы непрерывности в пространстве" — скульптура, запечатлевшая тело в движении, кажется сборной конструкцией из уключин. Человек идет, распространяя вокруг себя мускулистые сгустки, и оставляет их позади. Он воплощает собой движение, тело, разросшееся как при наложении кадров прогулки. Подогнанные один к другому шаги, послесвечение на сетчатке. Скульптура Боччони наводит тебя на мысль, что уключина — это тоже подвижная недвижность, движение, представленное с точки зрения неподвижности. Подобным образом надо испытывать каждую скульптуру: ставить ее на корму гондолы вместо уключины и проверять на скульптуре упор весла, выявляя всевозможные тенденции искусства.

Уключина — это пережиток прошлого. И вовсе не потому, что осталась в прошлом. Наоборот, придуманная в прошлом, она предвосхищает будущее. Ее как будто смоделировал финский дизайнер в XX веке. Он сел в машину времени и заранее всадил уключину в борт гондолы несколько веков назад. Когда родился Альвар Аальто[4]? В XVII веке?

Теперь понаблюдай за тем, как ее касается весло. Благодаря своим изгибам, изломам, разомкнутым проушинам уключина позволяет веслу занимать с дюжину упорных, наклонных, промежуточных позиций. Один-единственный гребец с помощью одного-единственного весла по одному борту на любой другой лодке сумел бы разве что комично ходить по

1. Bricola *f* (*итал.*).
2. Forcola *f* (*итал.*).
3. Умберто Боччони (1882–1916) — итальянский футурист: скульптор и художник.
4. Альвар Аальто (1898–1976) — финский архитектор.

кругу. То ли дело гондола. Из-за смещенного центра тяжести она идет передним и задним ходом, причаливает и отчаливает бортом, замедляет ход, стопорится, идет по диагонали, поворачивает под прямым углом, сохраняет равновесие, гасит удар волны. Весло зачерпывает воду, пришлепывает, прихлопывает, добывает, режет, месит, вертит, переливает как половник, взламывает как фомка. Весло входит в воду наискось, вылетает назад почти горизонтально, едва не касаясь воды. Когда нужно, оно погружается вертикально, на крошечном свободном участке в несколько квадратных сантиметров. Если поиграть запястьем, оно порывисто вращается как отвертка и толкает эту черную деревянную зверюгу длиной в двенадцать метров, которая юрко выбирается из немыслимых заторов.

Сходи посмотреть, как гондолы выходят со своей главной стоянки в акватории Орсеоло рядом с площадью Сан-Марко. Они проскальзывают десятками с точностью до миллиметра, не задевая друг друга. Гондольеры работают веслом, переговариваются, перекликаются, не обращая ни малейшего внимания на низкий мост, о который вот-вот расшибут себе нос. В самый последний момент они, почти не глядя, наклоняют голову, легонько касаются нижней части арки и причесываются о кирпичный свод.

Во время гребли гондольеры выставляют вперед одну ногу и отводят назад вторую. Передняя нога опирается на крошечную приподнятую подставку, клинышек. Упор делается на пятку, затем на ступню и пальцы. Работает все тело. Гондольер подался вперед и толкает лодку. Понаблюдай за формой тел гондольеров в состоянии покоя. Они смутно напоминают питекантропов. Руки чуть свешены, округлые плечи, затылок, лопатки, большие ключицы. С левой по правую руку они опоясаны сплошными У-образными мускулами.

Снова обхвати руками округлые тумбы колодцев, закрытых бронзовыми крышками. Если ты играешь на барабанах, сходи постучать по крышке колодца на *кампо* Сан-Сильвестро. Она звучит как музыкальный бидон на Антильских островах, такой steel drum[1]. Каждый квадратный дюйм издает свой звук, тут низкий, там глухой, тут чистый, там дребезжащий.

Ударники моложе двенадцати лет разгуливают по городу 11 ноября, в День святого Мартина. Они заходят в лавки, звонят в двери и колотят черпаками по днищам кастрюль до тех

1. Стальной барабан (*англ.*).

пор, пока их не одарят сластями и мелкой монетой. Они распевают колядку на мелодию гимна берсальеров:

San Martin xe 'ndà in sofita
a trovar la so' novìssa
so' novìssa no ghe gera
san Martìn col culo par tèra![1]

Святой Мартúн забрался на чердак,
Невесту он проведать не дурак.
Святой Мартин невесты не застал
И с чердака на задницу упал!

О чем говорит нам этот куплет? Этот куплет говорит нам о том, что и святые ведут насыщенную личную жизнь, что вечно женственное начало толкает нас ввысь, на чердак, поскольку амур — это человеческое существо в условиях неба. А еще этот куплет говорит о том, что без девушки мы обречены на кровосмесительный грех с матерью землей. И вполне естественно, что обо всем этом нам напевают дети, то есть купидоны, эроты. Только им ведома тайна секса. Все мы хорошо знаем, но неохотно признаем, что они-то и есть чувственность, эрос. Как-то раз я натолкнулся на компанию моих двадцатипятилетних приятелей. Они тоже бродили по улицам, гремели кастрюлями и горланили "Святого Мартина". Они нигде не работали и наскребли кой-какую мелочь.

Закрой глаза и читай пальцами лица скульптур, барельефы, лепные украшения, буквы, высеченные на досках в человеческий рост. Венеция — это нескончаемый шрифт Брайля, алфавит для слепых.

Лицо

Лицо по-венециански значит "маска", как и "персона" на латыни. Антропологические исследования о венецианском карнавале показывают, что между Крещением и Великим постом мир переворачивался. Сын проявлял неуважение к отцу, люди предавались повальному греху, дозволялось глумиться над королем. Все это было нужно, чтобы подтвердить привычный миропорядок. Преступить закон означало восславить его. Однократное нарушение закона во время уста-

1. Текст на венецианском диалекте.

новленного праздника было равносильно признанию его верховенства на все остальное время.

По Венеции ты ходишь с таким лицом, каково оно на самом деле: общественным местом. В этом городе нет частной жизни. Здесь все постоянно встречаются, люди то и дело здороваются, продолжают говорить на удалении метров в двадцать, повышая голос в толпе прохожих. Расстояние между противоположными окнами на одной и той же *калле* один метр. Очень трудно делать что-то тайком, вести двойную жизнь, скрывать знакомства, интрижки, измены.

Если ты местный, тебе так и хочется встряхнуться и пройтись, оставив дома себя самого. Прогуляться и передохнуть от собственного "я". Отрешиться от своих мыслей, позабыть о себе. Выйти и просто смотреть по сторонам. Пусть за тебя думает пейзаж, ты же будешь созерцать его проявления: звуки, запахи, мимолетные виды. Но вот тебя уже окликают, называя по имени, и ты вновь становишься собой, вспоминаешь, кто ты.

Генри Джеймс писал, что Венеция похожа на квартиру с множеством коридоров и гостиных. Здесь без конца перемещаешься внутри и ни разу в действительности не выходишь наружу, даже на улице нет признаков внешнего. По-видимому (именно эту видимость маска и создает), венецианская страсть к маске возникла из этой самой необходимости в инкогнито, в защите своего личностного начала. Ибо в этом городе общественная жизнь заставляет тебя показывать свой характер на самой поверхности лица, отображая на лице свои душевные порывы. Ты тоже становишься своеобразным персонажем, отчасти карикатурным, стилизацией самого себя.

Арлекин, Панталоне, Коломбина – все это уличные типажи, постоянно пребывающие вне себя. Чудится, будто они без передышки делают себе татуировку, в точности воспроизводящую с ног до головы их облик. Они живут на поверхности собственного тела. Они объявляют тебе обо всех своих намерениях. Они раскрывают перед тобой всякую побочную цель. В них нет никакой двойственности. Они действуют без оглядки, рубят сплеча. Голод у них всегда зверский (Арлекин); честолюбие – ненасытная жадность (Панталоне); любовь – сентиментальная слащавость (Коломбина). У них нет фильтра между мотивом и поступком. Они ведут себя комично, смешат, кажутся простаками, но вовсе ими не являются. Они олицетворяют собой то, что происходит с душой, когда та вынуждена покинуть свои тайники, переместиться на поверхность и постоянно быть на виду. Каждый из них есть со-

вокупность выразительных жестов, сгусток сочной речи, шумных перебранок, общительного нрава. Их маски — не двойная личина, не наносной лоск или, того хуже, притворная бессмыслица. Они сами как загустевшие, уплотнившиеся, *намозоленные* лица. Они настолько притерлись к своей публичной роли, что их кожа задубела. Что происходит с душой, когда ее приковывают к коже и ссылают на поверхность лица, когда ее заставляют самовыражаться в любую минуту? Комедия *дель арте* и масочные комедии Гольдони — это не фарс, это трагедия поверхности.

Из многочисленных традиционных масок, используемых во время карнавала, я хочу напомнить тебе лишь об одной. Это женская маска. И она ведет себя достаточно коварно по отношению к женщинам. Это полумаска *моретты*[1], черный овал с разрезом для одних глаз. Держалась она без завязок. Нужно было зажать зубами шпенек, прикрепленный изнутри маски на уровне рта. Поэтому носившие эти маски женщины вынуждены были молчать.

Еще одной женской микромаской была искусственная родинка. Ее называли мушкой, *москетой*[2]. Она не то чтобы не скрывала, а, наоборот, выделяла точку на лице или декольте, как будто кожа обуглилась под пристальными взглядами, обращенными на женщину сквозь увеличительное стекло желания.

Лавок, торгующих масками, превеликое множество, на любой вкус и кошелек. Самые дорогие сделаны из папье-маше. На них уходит много времени и кропотливого труда. Только эти маски делаются по старинке. Если тебе всучат маски из других материалов: прессованного картона, керамики, пластилина — да-да, из пластилина тоже! — знай: они очень хрупкие и, по сути, бесполезные, разве что на стенку повесить.

Какой город является мировой карнавальной столицей? Рио-де-Жанейро, Вьяреджо, Венеция? А какие праздники, отмечаемые в лагуне на Широкую масленицу, ни за что нельзя пропустить? Расслабься, хватит думать, будто ты постоянно находишься не в том месте и живешь не в то время. Сейчас я скажу тебе куда пойти, как попасть на нужный прием. Выйди из дому в твоем родном городе в самый обычный день. Вот где праздник! Потоки машин наводняют улицы с утра до вечера. Приглядись к их нарядам из листовой стали, фар, шин, кузовов. Они маскируют тело целиком, а не только лицо, уку-

1. *Венец.* moréta *f* — арапка.
2. *Венец.* moschéta *f.*

тывают всю внешность, подменяют собой облик. Карнавальный дух настолько укоренился в горожанах, что у каждого есть собственный выходной автокостюм и собственная карнавальная мелодия, разносящаяся из салонной стереосистемы. Каждый участвует в карнавальном шествии, либо извлекая из клаксона трубные звуки, либо производя взрывы петард. Участники парада обмениваются репликами пьяных собутыльников, соседи по движению переругиваются, звучат проклятия в адрес усопших и матерей, дружно поносится церемониймейстер со свистком и в белых перчатках, нарушаются запреты, несоблюдение правил царит во всем, мир летит вверх тормашками. Венецианский карнавал — это еще пустяк. Он длится пару недель. Зато остальной мир рядится с первого января по тридцать первое декабря.

В Венеции нет и следа автомобиля. Богатые и бедные ходят пешком, не выставляя напоказ эту передвижную декларацию о доходах. Значит ли, что венецианские улицы демократичны? Или они только маскируют истинное социальное неравенство? Верно и то и другое. При желании ты можешь на какое-то время выдать себя за важную персону, не арендуя лимузина. Тут гораздо легче обманывать и соблазнять, тем более что оба эти глагола означают одно и то же. Венеция — идеальный город для Казанов на мели.

Уши

Ты должна привыкнуть к тишине и грохоту. В мгновение ока ты выходишь с подбитых ватой двориков на Большой канал, клокочущий пароходами и катерами. От одинокой гондолы ты переносишься к флотилии серенад. Под аккомпанемент фисгармонии их исполняет пончик-баритон, промочивший горло несколькими стаканчиками вина. А туристы знай себе прихлопывают. У гондольеров есть портативный клаксон в виде небного язычка. Гондола подплывает неслышно, поэтому перед крутым поворотом гондольер выкрикивает: эй-оé, на попé! Речь идет не о православном священнике. Так называется место для гребли на корме. Кое-где во избежание столкновений установлены выпуклые зеркала. Кроме того, развешены "дорожные" знаки с ограничением скорости для моторных лодок. Они словно взяты из другого времени: максимальная скорость на Большом канале не должна превышать 5 км в час, на канале острова Джудекка 11 км в час, в акватории Сан-Марко 20 км в час. Полицейские, таксисты, "скорая помощь" и плавучие катафалки включают сирену. Ес-

ли тебе интересно увидеть красные пожарные катера с брандспойтами на борту, то они пришвартованы под арками центральной казармы у Ка' Фоскари.

Сирены растягивают корабли в отдалении, расширяют пределы порта, простирая их в небо.

По ночам тебя будят кошачьи разборки. Их участники вызывают друг друга на поединок, заливаясь неистовым визгом заодно с течкой. Шмыгают в узкие проходы кошки, остервенело лают собаки, тишком возятся мыши. Около часа ночи на улицы выходят серые крысы *пантеганы*[1] — дырявить выставленные наружу пластиковые пакеты с мусором. Они ныряют в каналы и переплывают их, чтобы подобраться к залежам мусора. Название *пантегана* происходит от *mus ponticus* — мышь понтийская, то есть приплывшая к нам с Понта Эвксинского — Черного моря. В Средние века эти серые крысы занесли к нам на торговых галерах с Черного моря "черную смерть" — чуму, скрытую в укусе блох. Церковь Реденторе[2] на Джудекке и базилика делла Салюте знаменуют победу над чумными мышами, это памятники истреблению грызунов.

Ты разгуливаешь с томиком Пасколи[3], проверяя на практике его звукопись языка птиц. Однозвучные горлицы выучили только звук "у". Они здороваются по имени, и все как одна зовутся Гурлулу. Славки-черноголовки, дрозды, стрижи, скворцы, соловьи и прочие неопределенные чирикающие, гнезда свистулек, ветки, зацветшие дудками, судейские свистки на ножках.

Взлетая, голуби шумят крыльями, как чихающий стартер или заевшая передача. Воробьи бесшумно таскают твои чипсы, пока ты потягиваешь аперитив за столиком под открытым небом.

Летом микроэлектропилы цикад работают как датчики. Они сообщают в центр координаты садов, затаившихся между домами. Спецслужбы разбросали их с вертолета словно электронных жучков.

Чайки кружат, клича, над лотками Санта-Маргериты. Торговцы рыбой подбрасывают в воздух летучих рыб, легких сардинок. Лазоревые рыбки летят в небесную лазурь. Чайки глотают их на лету. Они следуют за тобой рядом с теплоходами, неподвижно повиснув в метре от твоей руки. Летят со скоростью *баттэлло* и ждут, когда ты подкинешь им кусочек.

1. Pantegane *f pl* (*итал.*).
2. Redentore *m* (*итал.*) — спаситель, искупитель.
3. Джованни Пасколи (1855–1912) — итальянский поэт.

В лагуне проложены невидимые дороги в самой толще воды. Это судоходные каналы с более глубоким дном. Двойной ряд деревянных свай обозначает водный путь, позволяющий кораблям обходить мели. Чайки отдыхают на верхушках свай, сидя на одноместном кругляшке размером с блюдце. Они проводят сиесту на причальных сваях каналов. Просыпаются они разом, договариваясь о свидании на Дзаттере, вместе с пенсионерами и старушками, вытряхивающими на тротуар сухари и корки тостов.

На поверхности каналов лопаются пузырьки. Их выпускают крабы. Стоячая вода на миг вздрагивает. Ее глубокий сон потревожил хвост морского волка или рывок кефали.

Выбери свой геральдический клич, звучащий родовой герб. Венеция — город тотемов. Ее населяют тысячи аллегорий из плоти и крови, шерсти, перьев и плавников, символические бестиарии, самые настоящие животные, куда более химеричные, чем крылатые каменные львы.

Спустись с моста Риальто на сторону рынка. Пройдись с закрытыми глазами. Прислушайся к разноязыкой толпе туристов со всего мира, заполонивших полсотни метров уличного отрезка.

Один слепой писатель говорил, что для него хороший день — это ветреный и дождливый. Слышно, как шуршат деревья, сворачивая воздух кульком. Плотные потоки воды, соприкасаясь с предметами, позволяют судить о формах города. Тут возвышается палаццо, там раскрыт барный тент.

В Венеции одно и то же облако выливает ушаты воды на *кампо* и выпускает всего несколько струй, попадая точно в цель узеньких *калле.* Капли неожиданно истончаются, однако, этот водосток бурлит. Соседний канал заполняется маленькими кругами, словно миллиард рыбаков одновременно закинули в него удочки. Немного поупражнявшись, ты сможешь воспринимать на слух почти неосязаемый дождь, услышишь самое легкое облачко, звон капелек у самой земли, научишься слушать туман.

Стук твоих каблучков на ночных *калле* — это пунктуация твоего одиночества.

Колокольный звон нарезает твой день часовыми и получасовыми ломтиками. В полночь с кампанилы Сан-Марко гулко звучит отец всех колоколов — *марангон*[1]. Он призывает к тишине.

1. Marangona *f* (*итал.*).

Утром сходи позавтракать на Дзаттере, южную *риву* города. Или напротив – на *риву* Джудекки, по ту сторону канала.

На Дзаттере ты вернешься днем, позагорать и съесть мороженое. *Джандуйотто*[1] вроде бы туринское кушанье, но едят его в Венеции. Это плитка шоколадно-орехового мороженого, "утопленного" в бокале взбитых сливок.

Однако главное блюдо Венеции вовсе не сладкое. Если хочешь изведать ее характер, ты должна заглянуть в *бáкаро*[2], такую венецианскую харчевню. В городе их все меньше и меньше. Самая высокая концентрация *бáкаро* на улочках близ рынка Риальто. Не буду перечислять их названия, поскольку решил не упоминать в этой книге ни одной гостиницы, ни одного ресторана, бара или магазина. Отчасти по соображениям беспристрастности, отчасти потому, что мы, венецианцы, ревностно храним наши тайны и особо следим за тем, чтобы не распространяться о местах, до которых еще не добрались туристы. Так что считай это вызовом, игрой в поиски сокровищ.

Хочешь распробовать венецианскую кухню? Научись смаковать венецианский алфавит, закручивать звуки рулетом на языке, пережевывать местное наречие. Одно венецианское словечко ты уже используешь через слово: *чао*[3]. *Ciao* – это сокращенное от венецианского *s'ciavo*[4], то есть "schiavo vostro"[5] – "ваш покорный слуга". Заметь попутно, что итальянский западает на звуковой смычке согласных "s" и "c". Вот и приходится писать это *s'ciavo* с апострофом. Не знаю, как ты, но я вечно норовлю произнести *щенок* или *щепка* как *шельма* или *шериф*. Другое слово, появившееся в Венеции и облетевшее мир – это слово *гетто*. *Гетто*, по-итальянски *ghetto*, происходит от *getto*[6] – формы глагола *gettare* – *лить, отливать*. Дело в том, что на острове, отведенном пятьсот лет назад еврейской общине, находилась плавильня. Места было мало, поэтому евреям пришлось развивать высотное строительство. Дома Гетто на Каннареджо достигают семи-восьми этажей, подлинные небоскребы того времени.

1. Gianduiotto *m* (*итал.*).
2. *Венец.* bàcaro *m*.
3. Ciao (inter).
4. [Счаво.]
5. [Скьяво востро.]
6. [Джетто.]

Попробуй замаскироваться под венецианку. Точнее под жительницу материковой части Венето, ведь ты наверняка не сумеешь правильно произнести фразу, которой я собираюсь тебя научить. Отправляйся на Риальто по ту или другую сторону моста, и спроси у кого-нибудь:

— *Capo, ghe xé un bàcaro qua vissìn?*[1] *(Синьор,* есть тут где харчевня поблизости*?)*

Умоляю, "е" в венецианской форме "хé" — *есть*, должна быть закрытой. Что до пресловутой "х", то это обычная, хоть и сомнительная транскрипция простого мягкого северо-итальянского звука "с" (звонкой фрикативной денто-альвеолярной согласной), как в слове *rosa – роза*, чтобы было понятно. После того как ты худо-бедно задашь этот вопрос, прохожий глянет на тебя немного растерянно и тут же сообразит что к чему. Услышав твой чудной акцент, он подумает, не жила ли ты какое-то время в Ровиго, Беллуно или Вероне.

В небольших витринах *бáкаро* выставлены: половинки яйца вкрутую, рулеты из килек, крабьи ножки, оливки по-асколански, рисовые биточки, фрикадельки, тушеный говяжий рулет под соусом, салат из отварной телятины, жареные сардины, беспанцирные крабы, осьминоги, вяленый мерлан, лук, бычья колбаса, олений окорок, квадратики мортаделлы, кубики приправленной моццареллы, параллелепипеды горгондзолы. Естественно, их нужно "оттенить", то есть запить стаканчиком вина. Когда-то вино разливали прямо из бочки за стойкой.

Неясно, откуда пошло само это выражение "оттенить". Так даже лучше, пусть его происхождение тоже остается в тени. Попросту говоря, "тенистость" может означать непрозрачность вина. Хотя, скорее всего, его значение относится к летним возлияниям под открытым небом. В тени кампанил можно было укрыться от летнего зноя и пропустить стаканчик холодного вина. Сказать "пошли оттеним" было все равно что подмигнуть, имея в виду "зайдем куда-нибудь выпить".

Вот увидишь, вся эта легкая закуска в *бáкаро* быстро подменит настоящую еду, превращаясь в непрерывное стоячее пиршество у прилавка. Канапка за канапкой, один лакомый кусочек собирает целую коллекцию деликатесов.

Зато старых рыбных закусочных-жаровень уже не найти. Жарельщик[2] наполнял *калле* непередаваемым смрадом. Он

1. [Капо, гэ зе ум бàкаро куа виссин?]
2. *Венец.* fritolìn *m.*

продавал лазурную рыбу, анчоусы, сардины, бычки, мойву, кальмаров, молодь каракатиц, креветок. Насквозь замасленные кульки плюс огромные ломти белой или желтой поленты. Так и перекусывали. Порция холестерина после дневного сеанса или футбольного матча. Сладкоежки предпочитали клевать *гардо*[1] — каштановые лепешки и лакомиться запеченными грушами, которые тоже продавались прямо на улице.

Подходит время ужина. На аперитив закажи в баре *сприц*: вода (хотя, по крайней мере в Венеции, для фирменного *сприца* нужна сельтерская), белое вино и на выбор биттер кампари, апероль, селект с долькой лимона и оливкой. *Сприц* — это наследие габсбургской оккупации. Отсюда и до самого Триеста в каждом баре тебе приготовят сотню их разновидностей, прямо-таки сообразно различным оттенкам диалектов. Пьется *сприц* в удовольствие. Как говорится, сам идет. И кажется легким, правда натощак легкость может оказаться обманчивой.

Ты готова рискнуть? Хорошо, в Венеции становится все больше фастфудов. Я предложу тебе три особых блюда. Попробуешь при случае, у них своеобразный вкус. У тебя может все онеметь во рту. Ты озадачишь своих воздыхателей. Высокое содержание лука — это противопоцелуйное средство.

Блюдо номер один: *биголи под соусом*[2]. Биголи — это полые спагетти. Соус — острая поджарка из лука и соленых сардин.

Фонетическое отступление. Итак, я дал тебе попробовать название блюда. Теперь снова скажу, как его пережевывать. В форме единственного числа — *биголо* звук "л" не слышен. Кончик языка остается внизу, он даже не поднимается и не касается альвеол верхних зубов, как в случае с обычным "л". Вернее, задняя часть языка изгибается, образуя некое призрачное подобие звука "е": "биго(е)о". При этом все же следует разделять два сиамских "о". Во множественном числе эти тонкости исчезают, потому что гласные уже другие. "Л" пишется — "биголи", но совсем не произносится: "бигои". Та же история со словами, которые встречались тебе в предыдущих главах: "форкола" — уключина — "форко(е)а"; множественное число: пишется "форколе", произносится "форкое". "Брикола" — причальная свая — "брико(е)а"; множественное число "бриколе" — "брикое". "Cu*l*o" — задница: в единственном числе "ку(е)о", во множественном "cu*l*i" — "куи"...

1. *Венец.* gardo *m.*
2. *Венец.* bìgoli in salsa

Блюдо номер два: *сардины в луково-уксусном маринаде сàр*[1]. Это жареные сардины, замаринованные в течение дня в луковой поджарке с добавлением вина и уксуса. Отсюда и особенный вкус, по-венециански "saòr". Блюдо подают холодным. Это основное блюдо на празднике Спаса, в третье воскресенье июля. Его едят в лодке, покачиваясь на волнах акватории Сан-Марко, или за столами, вынесенными из дома на *фондамента* до начала фейерверка. Зимой блюдо становится более калорийным, когда в маринад добавляют кедровые орешки с изюмом.

Блюдо номер три: *печень по-венециански*[2]. Говяжью печень готовят не слишком долго, но и не слишком быстро в неизменной луковой поджарке. Иногда в сковородку подливают стакан красного вина или марсалы.

Поздним вечером с друзьями можно выпить на *кампо* Санта-Маргерита, средоточии ночной жизни в Венеции. Зимой центр тяжести смещается в Каннареджо, на *фондамента* делла Мизерикордия.

Нос

У каждого *рио* своя индивидуальность. Некоторые весьма экспансивны, они сходу вовлекают тебя в свою смердящую летопись. Самыми зловонным считаются *рио* делле Мунегете — он течет вдоль границ между *сестьерами* Санта-Кроче и Сан-Поло, и вонючая излучина между *фондамента* дель Ремедио и *сотопортего*[3] де ла Стуа, за фондом Кверини Стампалия. Прочие скорее интроверты и лицемеры. И только общий отлив, сухая банка в состоянии обнажить их затхлое нутро. Оно неумолимо взбирается по трубам и разносится через сливы в раковинах и биде на нижних этажах. С недавних пор вновь начали углублять каналы, снимая почерневший от ила грунт. На бьеннале 1997 года американский художник Марк Дион просеял все предметы, погребенные в десяти кубических метрах непролазной лагунной жижи. Он составил каталог из сотен керамических осколков, залитых водой лампочек, бутылок без посланий, затонувших кукол, покрышек-амфибий, стиральных машин и отопительных котлов капитана Немо.

1. *Венец.* sarde in saòr.
2. *Венец.* figà a la venessiana.
3. *Венец.* sotopòrtego *m* — подворотня.

Наши деды преспокойно купались летом в акватории Сан-Марко. Кое-кто утверждает, что и тогда вода была не такой уж чистой. Может, другими были санитарные нормы. В детстве я возвращался на *вапоретто* с Лидо после купания и видел, как ребята из Кастелло сигали в воду, ныряли ласточкой с *брикол* потолще. Родись я двумя веками раньше, наблюдал бы с моста Риальто, как вечером лорд Байрон плавает себе по Большому каналу. Утром первого января отважные шестидесятилетние моржи окунаются на Лидо в ледяную морскую воду перед телекамерами, чтобы растормошить сонные новогодние теленовости.

Во многих домах в каналы сливают воду из умывальников и ванн, а может, и откуда еще. Недаром венецианская народная поговорка гласит: нет, вначале я сделаю переперевод пословицы, то есть заранее выведу ее мораль. Смысл пословицы примерно такой: случаются времена, когда даже никчемным людишкам удается что-то сделать. И наоборот: щеголять своими навыками в каком-то деле еще не значит в нем преуспеть, поскольку при определенных условиях любой способен добиться хорошего результата. А вот и пословица: *d'ista, anca i stronsi gaégia*[1]. Перевод: летом и дерьмо плавает. Как же возникло это изречение? Июльским днем неизвестный венецианский философ, должно быть, остановился на берегу канала и задумчиво устремил взгляд на длинную регату проплывавших мимо какашек. Ему хватило и пяти минут. Не то что его китайскому коллеге, годами сидевшему на берегу реки в ожидании трупа своего врага!

Еще одна непреложная эстетическая заповедь звучит так: *se se vol rìdar, bisogna discòrsar de merda*[2] — лучшая шутка — про дерьмо прибаутка. Грандиозное понимание смеха, сторицей воздающее нам за утрату второй части аристотелевской "Поэтики", посвященной комедии. Но сейчас мне хочется оспорить справедливость этой пословицы, ибо, на мой взгляд, не всякое облегчение только смех и развлечение. Я расскажу тебе случай, когда экскременты вызвали не ядовитые усмешки, а участие и заботу. Я понимаю, что это титаническое предприятие. Поэтому и обращаюсь за вдохновением к музе литературных фекалий, к творцу прозаического стула, если таковые вообще бывают. Впрочем, мне вспоминается один такой. Это Никколо́ Томмазео[3]. Его нахмуренная статуя на *кампо* Санто-Стефано присела на стопку книг в толстом переплете. Из-под

1. [Д'иста анка и стронси гайеджа.]
2. [Сэ сэ воль ридар, бизонння дискорсар дэ мэрда.]
3. Никколò Томмазео (1802–1874) — итальянский филолог и писатель.

фалд редингота стекают диарейные извержения в форме кодексов и томов. Венецианцы прозвали его "Книгокаком".

Возвысь мою речь, о Никколò, сделай так, чтобы я не оскорбил слух или взор, писчую или туалетную бумагу.

Теперь я могу начать мой рассказ.

В 80-е годы в Венецию стали высаживаться туристические группы из Восточной Европы. Одеты они были кое-как, в акриловые, легковоспламеняющиеся рубашки и куртки. Мужчины носили сандалии, женщины использовали бледные тени для век, которые у нас клали в подарок в пакетики чипсов. От рассвета до заката они прогуливались по *калле* организованными, молчаливыми группами. Вид у них был слегка ошарашенный. Всю ночь они ехали из Будапешта или Праги, чтобы за двенадцать часов урвать глазами как можно больше города. Ты сталкивался с ними на *риве* возле колонны со львом святого Марка у Дворца дожей. Они сидели, болтая ногами в горгондзольной воде акватории. От раскаленных пяток, опущенных в изумрудную илистую взвесь, с шипением поднимался солоноватый пар. Так они импровизировали освежающие ножные ванны, хотя уместнее их назвать водоочистительными, ведь под ногтями пальцев туристы уносили с собой определенное количество акваториальных бактерий, чем способствовали очистке водоема. К вечеру, обессиленные, они разъезжались на своих Икарусах, припаркованных на острове Тронкетто, рядом с *пьяццале*[1] Рома, автомобильном терминале, расположенном в конце моста через лагуну.

Итак, вот что я увидел.

Сцена происходит солнечным июльским утром на деревянных мостках, ведущих к плавучей пристани водных трамвайчиков Сан-Томá на Большом канале. Вижу возле билетной будки одна блондинка отошла от группы и скорчилась в уголке. Смотрит умоляющим взглядом, лицо растерянное. Схватилась за живот обеими руками. Рядом женщина лет пятидесяти пытается загородить ее своим телом. Наверное, мать. Вынула из урны страницы газет, развернула их и раскладывает на площадке. Мы все сразу понимаем и отворачиваемся до того, как девушка сядет на корточки.

Конец рассказа.

Большего я не скажу, во-первых, потому что на этом и надо остановиться, во-вторых, потому что я тоже отвернулся. Вот к этой детали я и вел, к этим сотням глаз, которые запре-

1. Piazzale *m* (*итал.*) – небольшая площадь.

щают самим себе подглядывать. Я бы назвал это парадоксом безразличия. Это был единственный случай в моей жизни, когда все делали вид, будто ничего не происходит, и при этом выражали сочувствие. Равнодушное отношение к человеческой судьбе вылилось в акт сострадания.

Учти, что пристань Сан-Томá расположена между несколькими довольно сложными изгибами Большого канала. Вблизи нет ни баров, ни других общественных заведений с туалетом. Представь себе иностранку, недавно приехавшую в город. Вполне возможно, эта девушка впервые в жизни оказалась за границей после падения Берлинской стены. И тут, нá тебе — прихватило живот средь бела дня. С одной стороны улица, с другой — канал. Всего в нескольких метрах снуют лодки и переполненные *вапоретто*. Припекает солнце. Куда деваться? Она прекрасно понимает, что не успеет добежать до туалета и вынуждена справлять нужду на глазах у всех. Но все выручают ее, сочувственно отводя взгляд.

Спасибо, Книгокак.

Откроем окно, вдохнем свежего воздуха. До сих пор мы вбирали в себя зловония, так почувствуем облегчение и вставим душистый параграф. Дойди до рынка у Риальто, через *кампо* Сан-Джакомето по *кампьелло* де ле Бекарие. Именно так, а не наоборот. Маршрут выбран не случайно. Для начала втяни запахи зелени, овощей и фруктов с *калле*, уходящих после *руга*[1] Риальто в сторону от Большого канала. Пользуясь случаем, окрась сетчатку цветами растительных пирамид, пощекочи слух шуршанием полиэтиленовых пакетов, выкриками на местном говоре торговцев фруктами. Завершается маршрут на рыбном рынке. Да-да, наше ароматическое отступление уже закончилось. Впереди нас ждут новые дурно пахнущие абзацы. Придется опять принюхиваться. На сей раз в нос шибает рыбным запашком. Каскады скользкой биомассы трепещут в металлических лотках, покрывая пятнами ледяную крошку, брызжа органическим гранатовым сиропом. Рыбники в резиновых сапогах склоняются над прилавками и погружают руки по локоть в свежий трупный желатин. Они наполняют посиневшими руками водонепроницаемые кульки и прозрачные пакеты на весах. Ногти у них покрылись коркой из черной жидкости каракатиц, солоновато-горькой крови, клейкой слюны.

Старинные каменные доски предписывают минимально допустимые размеры рыб, разрешенных для продажи. Их

1. Ruga *f* (*итал.*) — переулок, обычно с магазинами и лавками.

можно прочесть на Риальто, в Кастелло неподалеку от *виа*[1] Гарибальди, а также на *кампо* Сан-Панталон. Приведу здесь содержание одной из таких досок с *кампо* Санта-Маргерита:

КРАСНОБОРОДКА, СУЛТАНКА, ПЕЛАМИДА, ОКУНЬ	7 см
ЛАВРАК, ДОРАДА, ЗУБАН, ГОРБЫЛЬ, СПАРУС, ТОЛСТОГУБИК, ЛОБАН, БРИЛЬ, СИНГИЛЬ, ЧЕРНАЯ КЕФАЛЬ, ОСТРОНОС, САЙДА, КАМБАЛА, ПАЛТУС, РОМБ	12 см
УГОРЬ	25 см
УСТРИЦА	5 см
МИДИЯ	3 см

С недавнего времени на многих *калле* можно увидеть старые пластиковые бутылки, наполненные водой из-под крана. Бутылки стоят прямо на тротуаре у стен. Их выставляют на ночь к защитным жалюзи или на приступок у подъезда. Некоторые намертво прикручивают проволокой к газовым трубам или стенным крюкам. Бутылочные эти вешки выглядят как символы чистой воды. В действительности — это средство от писунов. Кошки вроде бы обходят их стороной. Это сильнее их. Ну не могут они на прозрачный сосуд с водой. Даже не знаю, какой кошатник придумал этот фокус. Факт тот, что владельцы магазинов, лавок и простые горожане метят таким манером территорию, а заодно утилизируют пластиковые бутылки. Они состязаются с кошачьими побрызгушками, нанося границы своей лишенной запаха карты, борются с обонятельной геополитикой бездомных кошек.

Но и среди людей находятся такие, кто принимает *калле* за общественный туалет. На отдельных углах ты можешь заметить таинственные каменные выступы из простого или оштукатуренного кирпича. Иногда они еще покрыты кованой сталью. Попробуем их описáть. Местоположение: на поворотах, там, где *калле* делает колено между домами, стоящими под прямым углом. Один выступ, обшитый стальным листом, имеется и на вершине моста в сторону *кампьелло* Сан-Рокко. Высота: чуть больше метра. Форма: каменная плита напоминает

1. Via *f* (*итал.*) — улица.

двухскатную крышу, кирпичная кладка — четвертушку карликового купола выпуклых очертаний, дольку гигантской лепешки, ломоть кулича. У выступов из кованой стали пузатые профили с угрожающими копьевидными остриями. Для чего все это? Для того, чтобы отучить мирян ходить тут по-маленькому. Заостренная сталь в пояснениях не нуждается. А вот принцип работы двухскатной крыши и купола более изобретательный. Они спроектированы с таким расчетом, чтобы брызги отлетали обратно на очередного невежу, и, главное, чтобы его струйки попадали ему же на ноги. Потому эти антиписсуары часто не доходят до брусчатки. Обычно нижний край свисает над землей сантиметрах в тридцати.

Большое число антисортиров говорит об одном: с помощью подобного рода сносок внизу архитектурной страницы, пометок к собственному городскому убранству, микростроительных примечаний Венеция вынуждена напоминать, что не является туалетом, не признает себя отхожим местом и опровергает свое родство с ватерклозетом. Очевидно, это знак того, что неудержимый порыв, который она вызывает у преданного посетителя, проявляется в желании последнего с охотой пописать прямо на нее.

Мы с ребятами и не знали, что это давным-давно придуманные антиклозеты, дюшановские[1] писсуары с точностью до наоборот, "ненужники". Мы играли на них с фигурками футболистов, скатывали их с этой горки по очереди, одну за другой, потом каждый забирал свою из кучи-малы. У этой игры было свое название: "лесенка". Так мы обозначали нырок фигурки с трамплина покатых ступенек.

Я мог бы написать целый трактат об уличных играх в Венеции.

"Палка и чурка", примерно то же самое, что игра в чижика. Такой бейсбол или крикет для *кампьелло*. Вместо мяча заостренная с обоих концов чурочка в виде толстенного карандаша. При известной сноровке битой ударяют по одному из заостренных концов, подбрасывают чурочку вверх примерно на метр и, пока она вращается в воздухе, вторым ударом биты пускают ее как можно дальше. Иногда она со всей силы попадала тебе точно в лоб. Подсчет очков был довольно сложным. Он основывался на каких-то несуразных и комичных ставках до удара и тщательных замерах расстояния, на которое улетела чурочка от дома или базы.

1. Марсель Дюшан (1887–1968) — французский художник, футурист и дадаист.

В "каблук" играли именно каблуками, купленными у башмачника. В более современном варианте — плоскими битками в форме шайбочек из твердой резины. Они имитировали шары для игры в *бочче*[1] на призрачной двухмерной равнине площадки. Только в "каблуке" не было маленького стартового шара. Догонялки состояли в том, чтобы твой каблук приземлился как можно ближе к каблуку противника. Ловкое движение запястья, и каблук взлетал, крутился в воздухе, планировал и шлепался на землю.

Для игры в металлические бутылочные пробки *чимбани*[2] мелом чертились дорожки. Иногда мостовой не хватало. Тогда мы загоняли пробки щелчками в молочную лавку. Там проходили зарубежные этапы велогонки "Джиро д'Италия". Экзотические ралли под ногами у покупателей.

Мы удирали на великах от штрафа и пеших регулировщиков. Упрашивали соседа вернуть конфискованный мяч.

А еще мы играли в чеканку, классики и салки.

А еще в духовую трубку. Длиной в полметра. Такая пластиковая трубка с насечкой продавалась в зоомагазине. Вообще-то ее использовали как жердочку в клетках для канареек и попугайчиков. Пульками служили хлебные катышки или красная оконная замазка. Их еще можно увидеть на указателе *рио* де ла Толетта. Эти свидетельства прицельной стрельбы так и прилипли к мишени на десятки лет. "Духовушки" покрупней стреляли *канотами*[3] — бумажными конусами.

Перечень наверняка неполный. В детстве я во все это играл. Думаю, что принадлежу к последнему поколению, которое знает правила этих игр. Слишком сложные правила, толком и не объяснишь. Уличные игры пережили технологическую мутацию. "Духовушки" заменили на помповые водяные ружья с мощным ударом струи на пять–десять метров. Калибр постоянно укрупняется. Дети наполняют ружья в фонтанах. Воду заливают литрами. Вместимость магазина неуклонно растет: "Ликвидатор" 200, 500, 1000. В 70-е стали подражать большому спорту. Появились баскетбольные корзины, приделанные к решеткам. На малолюдных *калле* возникли очерченные мелом теннисные корты с резинкой вместо сетки. Непрестанные перепалки по поводу того, где пролетел мяч. Над сеткой! Нет, под! Нет, над! Появление пластиковой "летающей тарелки" фрисби ознаменовало

1. Bocce *f pl* (*итал.*).
2. *Венец.* cìmbani *m pl.*
3. *Венец.* canòti *m pl.*

окончательный переход на пластмассовые уличные игры промышленного производства.

Но почему я говорю с тобой о детских играх в главе, посвященной носу? Потому что они исчезли. Вместо них в воздухе витает только призрак, дух. А призраков чуешь носом. Духов вдыхаешь и выдыхаешь.

Венеция битком набита призраками. На писателей и режиссеров, блуждавших по ее *калле*, нападали демоны из Злых Щелей, Мадонна Лизетта, Отелло, Лунардо, графиня Ливия Серпьери, мисс Бордеро, Густав фон Ашенбах, Андреас фон Фершенгельдер, Мэри и Колин. Список мог бы быть бесконечным. Ну вот хотя бы для примера: на *кампо* Сан-Барнаба в канал падала Кэтрин Хепберн в фильме "Летнее время"; из специально вырытого колодца выскакивал Харрисон Форд в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход". Заметь, речь идет лишь о второстепенном *кампо*, а не о площади Сан-Марко.

Венеция сплошь покрыта воображением. Ее камни скрипят под впечатляющим грузом видений. В мире нет другого такого места, которое выдерживало бы на своих плечах все это фантасмагорическое бремя. Периодические опасения за устойчивость города не имеют отношения к его архитектурному ансамблю. Он-то при всеобщей поддержке худо-бедно выдюжит. Венеция рухнет, раздавленная всеми образами, фантазиями, историями, героями и мечтами, которые она навеяла.

Глаза

Надень солнечные очки потемней, береги себя. Венеция бывает смертельно опасной. В самом центре уровень эстетической радиоактивности очень высок. Каждый ракурс источает красоту, с виду непритязательную, а в глубине коварную и неумолимую. Великолепие течет с церквей ручьями. Но и *калле*, на которых нет памятников, или мостики через *рио* как минимум живописны. Облики дворцов отражаются у вас на лице, равно как проступь ступени отражается на ступне. Тебя как следует прикладывают о красоту, хлещут, колотят ею. Андреа Палладио валит тебя с ног, Бальдассаре Лонгена кладет на обе лопатки. Мауро Кодусси и Якопо Сансовино окончательно уничтожают. Тебе плохо. Подобное недомогание испытал в свое время месье Анри Бейль. Знаменитое его расстройство вошло в историю под названием "синдром Стендаля".

Не усугубляй положение. Хватит гоняться за статуями и картинами по бесчисленным собраниям и музеям. Ты все время рискуешь попасть в ловушку. Меня самого дважды чуть не сгубила красота этого города. В первый раз этого следовало ожидать. Во второй дело было куда хуже. А все потому, что тебя застают врасплох. Город действует исподтишка, хлоп — и нет тебя. В поисках сильных ощущений, я иду смотреть на ошеломляющий цикл Витторе Карпаччо в Скуола Сан-Джорджо дельи Скьявони. И каждый раз на короткое время впадаю в кому. Кома как кома, ничего особенного. Но вот однажды я разгуливал по Скуола Гранде Сан-Рокко, в полной уверенности, что от безобидного Тинторетто у меня не вылезет даже эстетический прыщик. Так вот, перед волшебными деревянными резными фигурами Франческо Пьянты меня хватил апоплексический удар. Это в высшей степени таинственное, наполненное иносказанием, наделенное тончайшей символикой барочное пиршество, о котором никто никогда и не упоминает.

Чтобы дойти до такого состояния, тебе достаточно одной прогулки по Венеции в течение нескольких часов. Что же говорить о венецианцах? Туристам повезло: они нейтрализуют эстетическую радиоактивность прекрасного памятника архитектуры, поглощая ее фотоаппаратом или камерой. А жители? Избыток великолепия крайне вреден для здоровья. Обращенные с утра до вечера на чудеса, бедные глаза венецианцев поглощают эстетическую радиоактивность, называемую иначе благолепием. Луч благолепия ослабляет в них всякий жизненный порыв, обессиливает, притупляет, подавляет их. Неслучайно венецианцев прозвали "светлейшими". Это все равно что сказать "малахольные, придурковатые, сомнамбулические". В романе Генри Джеймса лондонский анархист совершает путешествие по Европе. В Венеции он потрясен красотой города. Потолочные росписи Веронезе меняют его жизнь. Анархист возвращается в Лондон, чтобы совершить покушение, но он уже порвал с терроризмом. Ему предстояло убить герцога, однако, в решающий момент он кончает с собой.

К счастью, наш век изобрел несколько гениальных противоядий от этой заразы. Первое средство, слабое, временное, но широко распространенное — это строительные леса. Во время реставрационных работ их затягивают синтетическим материалом, а для верности еще и обивают планками. Вот почему реставрация тянется так долго. Это всего лишь повод для того, чтобы как можно дольше скрывать убийственные фасады. Строительные леса и мостки представляют собой

некий мораторий. Как для ядерных боеголовок. В Венеции они сдерживают разрушительную энергию ядерных фасадов.

Второе, более радикальное средство, — новостройка. К сожалению, средство это малоприменимо, поскольку в городе негде поставить даже конуру. Венеция завалена прошлым, и ее прошлое на беду восхитительно. Поэтому при каждом удобном случае архитекторы заботятся о том, чтобы твой глаз отдохнул. Сядь на *вапоретто*, следующий по Большому каналу. Ему словно мало четырех километров дворцов вдоль S-образного изгиба водной артерии. В конце канал впадает в акваторию Сан-Марко. Ты едва оставил позади базилику делла Салюте и стрелку Таможни, а на входе тебя уже поджидает остров Сан-Джорджо. Это справа, а слева тут как тут Монетный двор, библиотека Марчана[1], Часовая башня, базилика св. Марка, кампанила, Дворец дожей, Мост вздохов, Темницы! Ты вот-вот не выдержишь и упадешь без чувств, красота милосердно добивает тебя, но в самый последний момент на выручку поспевает фасад гостиницы "Даниэли". Ты приходишь в себя, забившись взглядом в этот спасительный бункер мрачного комфорта. Разве можно остаться в живых у Сан-Моизе́, если бы рядом не было гостиницы "Бауэр Грюнвальд"? Сердечное вам спасибо, современные архитекторы, зрительная вам благодарность за главное здание Сберегательной кассы на *кампо* Манин, за офисы собеса, департамента здравоохранения и энергосбыта на *рио* Ново, а также страхования при травмах на производстве, что на *калле* Нова ди Сан-Симон.

Вот почему город так почитает святую Лючию, покровительницу зрения. Каждый год тринадцатого декабря люди идут в церковь св. Йеремии. За алтарем выстраивается очередь к хрустальному гробу, чтобы помолиться у мощей святой. До шестидесятых годов можно было заглянуть прямо в полые глазницы Лючии. Венецианцы обменивались со святой целебными взглядами. Пронзительные и до крайности взволнованные, эти взгляды устремлялись на увечные глаза, вырванные у святой во время ее мученического подвига. Главное было широко распахнуть глаза перед пустыми глазницами Лючии. Это считалось панацеей. Зрачки венецианцев начинали слезиться, хрусталики, замутненные красотой, промывались, грешные сетчатки очищались от радиоактивных эстетических шлаков, накопленных в городе за год. Ужас отпускал красоте ее прегрешения, и во всем этом не было ничего ужасного. Увы, патриарх Венеции Альбино Люча-

1. То есть св. Марка.

ни, перед тем как стать папой Иоанном Павлом I и объявить всему честному народу, что Бог — это Мама, распорядился закрыть лик святой миловидной серебряной маской.

Венеция стоит на трупе. Украденные тысячу лет назад останки святого Марка обеспечили ей независимость. Возможно, поэтому мощи некоторых святых в стеклянных раках обнаружились в городе и стали объектом поклонения. Той же святой Лючии, святого Иоанна Милостивого в церкви Сан Джованни ин Брагора, пары египетских мумий в археологическом музее на площади Сан-Марко, саркофага Нехмекхета и нескольких армянских пресвитеров с растянутыми ноздрями для извлечения мозга в ходе процедуры бальзамирования на острове Сан-Ладзаро дельи Армени, чудотворной жрицы крокодилов в музее естествознания в здании *фондако*[1] дей Тедески. Жрица возлежит среди чучел диких животных, коллекции оружия, предметов быта и произведений африканского искусства XIX века. Ее привез в город самый неизвестный, невезучий и недооцененный из легендарных венецианских путешественников. В середине XIX века не только англичане и французы отправлялись на поиски истоков Нила. Джованни Миани почти дошел до цели, он преодолел пол-Африки, выменивая на разные товары муранский бисер (*контарие*[2]), стойко перенося дизентерию и наводнения, международный бойкот и насмешки на родине. Он сам выдергивал у себя зубы, ездил верхом на быке, после того как у него издохла ослица, уходил от слежки подозрительных туземцев, пресекал ночные побеги носильщиков. Миани занемог в нескольких днях ходьбы до озера Ньянца и повернул назад. Он предполагал вернуться, однако, спустя пару лет его обошли на финишной прямой Спек и Грант.

Вот как Миани описывает раку с мощами: "Я увидал через стекло мумию со златым ликом. Обрели ее в пещере против Манфалута, над хребтом Аравийским, где покоится несметное число забальзамированных крокодилов. В глубине той пещеры я отыскал человеческие тела, кои погребены средь крупных рептилий, как здесь и показано. Мумия обнажена, и мы знаем, что это женщина, а посему полагаю, что она была одной из упомянутых Геродотом жриц, кормивших священных амфибий и после смерти захороненных вместе с ними".

1. Fondaco *m* (*итал.*) — зарубежное подворье, имевшее склады, залы для собраний и жилые помещения. Музей естествознания находится все же не в *фондако* дей Тедески — Немецком подворье, где расположены почта и телеграф, а в *фондако* дей Турки — Турецком подворье.
2. *Венец.* contarìe *f pl* = conterie *f pl* (*итал.*) — бисер или изделия из него.

А теперь закрой глаза и представь, что Венецию сровняли с землей, камня на камне не оставили, ничего, кроме тенистых аллей от *калле* и светящихся луж от *кампо*. Пройдись по этому призрачному городу светотени, по улицам сгустившихся вязких теней, по площадям рассеянного, фосфорического света. Помни, что в этом городе придумали венецианские жалюзи с поворотными горизонтальными створками, полосующими солнечные лучи. Окна домов расположены преувеличенно близко к краям, они изо всех сил выступают по углам, в носовой части зданий, чтобы вобрать в себя как можно больше света, тут же отразить его на прилегающую стену и рикошетом переправить в комнату.

Надень очки, чтобы лучше разглядеть названия улиц. Названия *калле*, мостов и *кампи* нарисованы. Черными буквами в белых прямоугольниках по слою мальты. Они называются *ниссиоэти* (или *ниционолети*, от слова "lenzuolini"[1] — "простынки"). Время от времени муниципальные рабочие поновляют их краской и кистью. Не будучи щепетильными филологами, они нет-нет да и перепишут их на итальянский манер. Иначе не объяснить, почему одно и то же *кампо* имеет два разных названия на расстоянии нескольких десятков метров: Санта-Маргерита и Санта-Маргарита. Святые Иоанн и Павел на старинном *ниссиоэто* представлены в виде сиамского святого Сан-Дзаниполо, этакого Сан-Джампаоло.

Теперь сядь и выучи краткий топонимический словарик:

— в Венеции есть только одна *страда*[2] — это *страда* Нова. Ее проложили в конце XIX века, чтобы упростить лабиринт Каннареджо, скопировав в миниатюре османовские антибаррикадные бульвары в Париже;

— в Венеции есть две *виe* — *виа* XXII марта в *сестьере* Сан-Марко и *виа* Гарибальди в *сестьере* Кастелло. *Калле* вокруг *виа* Гарибальди представляют собой красочный парад "простынок" с разноцветными флагами трусов, гирляндами носков, развешенных между домами, а иногда и поперек небольших площадей на бельевых веревках в десятки метров длиной;

— *листе* — широкие улицы, а *крозере*[3] — перекрестки;

— все остальное или почти все остальное — это *калли* (только в женском роде: la calle ед. число — le calli мн. число),

1. *Венец.* nissioéti, nizioléti *m pl.* От lenzuolo *m* (*итал.*) — простыня.
2. Strada *f* (*итал.*)— дорога.
3. Lista *f*— в Венецианской республике ограниченный белым бордюрным камнем отрезок улицы напротив зарубежного посольства или резиденции посла; в его пределах действовал дипломатический иммунитет. Точнее *венец.* crosàra *f*— перекресток.

хотя есть еще *рами* и *руге*[1], не обязательно более узкие (или ветхие!), чем *калле*;

— почему некоторые *калле* называются не *калле*, а *салицада*[2]? *Салицада* означает "мощеная улица". Первоначально мостовые были утрамбованными. Так называли первые мощеные *калле*, чтобы отличить их от немощеных. Поэтому *салицада* - это допотопное определение, пережившее столетия;

— *рио терá*[3] — засыпаный *рио*, то есть канал, ставший *калле*;

— *фондамента* (мн. число *фондаменте*) — пешеходная набережная, то есть *калле*, на которой с одной стороны дома, а с другой *рио*; если перед нами более широкое водное пространство, на Большом канале или в акватории Сан-Марко, *фондамента* может называться *рива*;

— каналами считаются Большой канал и канал делла Джудекка, оба широкие и глубокие. Все остальные — это *рио*. Обширных водных участков: акваторий, гаваней, портовых бассейнов немного;

— мосты и есть мосты, их около пятисот;

— площадь в городе одна — площадь Сан-Марко. Остальные площади называются *кампо* или *кампьелло*[4]. В память о луговом прошлом *кампо* между стыками бутовых плит летом пробиваются растения. Единственное не замощенное пока *кампо*, покрытое зеленой травкой, находится на Сан-Пьетро в Кастелло;

— дворы — это *кампьелло*, скрытые внутри отдельных кварталов, к ним ведет один проход, проулок — *каллетта* или подворотня — *сотопортего*;

— *сотопортего* (соттопортико) — квадратный проем между домами;

— раз уж на то пошло, еще два общих названия архитектурных сооружений и мест, которые не прописаны на *ниссиоэти*: *альтана*[5] — деревянная терраса, возведенная над крышей на тонких, головокружительных кирпичных опорах; *скверо*[6] — крытая судоверфь.

Конец словаря.

Теперь ты знаешь расхожие венецианские названия и готова заглянуть в энциклопедию имен собственных.

1. Ramo *m* (*итал.*) — ответвление, ветка; небольшая улица. См. сноску на с. 242.
2. *Венец.* salizada *f* — мощеная улица, булыжная мостовая.
3. *Венец.* terà *f* — земля; почва.
4. В дословном переводе "поле" и "полянка" или "луг" и "лужайка".
5. Altana *f* (*итал.*) — открытая терраса, лоджия.
6. *Венец.* squèro *m* — небольшой док; крытый причал.

За редким исключением, в основном из эпохи Рисорджименто и послевоенных времен, например, *виа* Гарибальди, *кампо* Манин и *кампо* Надзарио Сауро, венецианская топонимика не приемлет культ светской личности. Улицы почти никогда не называют именами знаменитых мужчин и женщин, дожей и адмиралов, путешественников и музыкантов. Предпочтение отдается событиям уголовной хроники, народным обычаям, распространенным профессиям, продуктам потребления. Просмотри библиографию в последней главе и обязательно купи путеводитель с толкованием сотен эксцентричных названий *калле*. Так можно совсем иначе пройтись по городу. Каждая *калле* содержит в своем названии невероятную микроисторию. Кажется, будто читаешь "Кронака вэра"[1], напечатанную на стенах!

Я не могу передать их все, как мне бы того хотелось. Уж слишком они разные и слишком красивые. Выберу всего одну историю. Это позволит мне упомянуть о трех *ниссиоэти*.

Пять веков назад работник доедал свою похлебку, подчищая миску ложкой. Тушеное варево *сгвасето*[2] состояло из требухи, легких, селезенки и говяжьего хвоста под соусом. Только один кусок все никак не пережевывался. Этим куском оказался палец, да еще и с ногтем. Вот куда подевались дети, пропавшие в Сан-Симеоне! Работник заявил на того, кто продал ему эту бурду, *луганегера*[3], то бишь колбасника Бьяджо. Колбасник во всем сознался. Его привязали к лошадиному хвосту и тащили волоком, ободрав до костей, на протяжении долгого пути от тюрьмы до мясной лавки. Здесь ему отрубили руки. На обратном пути, чтобы не терять время, его пытали клещами. Палач в капюшоне, по слухам инкогнито живущий на *калле* де ла Теста[4], обезглавил его между двумя колоннами на Сан-Марко. Тело мясника расчленили и выставили на всеобщее обозрение, дабы никому неповадно было. Скорей всего, обрубки подвесили на виселицах на мосту дей Сквартай — Четвертованных, что в Толентини, как это было заведено в таких случаях. Колбасник Бьяджо Карньо, серийный убийца, стряпавший детей, вспомянут на *ниссиоэто*, что на *риве* ди Бьязио в начале Большого канала.

1. *Cronaca vera* ("Правдивая хроника") (*итал.*) — популярный итальянский еженедельник; специализируется на уголовной хронике и нравах современной Италии.
2. *Венец.* sguaséto *m.*
3. *Венец.* luganeghèr *m.*
4. Testa *f* (*итал.*) — голова.

Вообще преобладают *ниссиоэти* тех *калле*, которые названы в честь старинных ремесленных цехов. А *ниссиоэти* на *кампо* поминают святых. В Венеции труд норовит ужаться, а вера раздаться.

Ремесла венецианских *калле* — ископаемые дофордистской экономики: *калле* дей Ботéри (бочаров), *калле* дей Саонéри (мыловаров), *калле* дей Лавадори (мойщиков), *калле* дель Кальдерéр (медника), *калле* дей Фузéри (веретенщиков), *калле* дей Спецьери (аптекарей и бакалейщиков).

Святые венецианских *кампо* — фигуры второго и третьего плана небесной аристократии: Сант-Апонáл, Сан-Больдо, Сан-Базеджо, Сан-Кассáн, Сан-Джервазио, Сан-Маркуола, Сан-Проволо, Сан-Стае, Сан-Стин, Сан-Тровазо. Шайка-лейка небожителей оттяпала себе побольше пространства. В результате богословского государственного переворота Наместника рая свергли с престола и загнали в ссылку с горних папертей в зловонные трущобы, к простолюдинам из лавочников и мастеровых: Христос и Святой крест задыхаются в дюжине маловажных *каллет*.

Теперь, когда ты привыкла ходить с задранной головой, берегись метеоритов. Я, конечно, имею в виду голубиный помет и не только его. После проливного дождя с домов отлетают метровые шматки влажной штукатурки. Вот несколько примеров венецианского камнепада девяностых. На Мерчерие неожиданно отвалился карниз второго этажа и упал прямо на голову идущего на работу торговца, придавив его к земле. Целая стена на *рио* делла Толетта осела в воду, приоткрыв кирпичный занавес, за которым возникла пара оторопевших жильцов, удобно расположившихся в трусах и тапочках перед телевизором. Хорошо еще, что в момент обрушения в этом месте канала не проплывала ни одна лодка. Кусок балкона ухнул на землю посреди *кампо* Сан-Лука. С церкви Сан-Симеоне Пикколо оторвалась большая облицовочная металлическая пластина и зацепилась за венчающий карниз купола. Так и висела эта дамоклова гильотина над головами пешеходов на двадцатиметровой высоте.

Не счесть народных анекдотов про то, как на мостовую летят черепицы, куски штукатурки, внушительных размеров терракотовые вазы (*питеры*[1]), как грохаются оземь или на черепа прохожих герани и цикламены. И словно брызги разлетаются во все стороны черепки, земля, мозги, осколки, лепестки, искусственные челюсти, удобрения, глазные яблоки. В

1. *Венец.* pitèri *m pl.*

лучших своих традициях Светлейшая поощрила и узаконила этот типично городской вид спорта. На той же Мерчерие на старинном барельефе изображена коварная старушонка, которая около семисот лет назад сбросила с подоконника *питер,* ступку или глиняный горшок прямо на глиняную башку знаменосца Бьямонте Тьеполо, лишив главного символа его ополчение и обеспечив провал заговора против дожа Градениго. Однажды осенью я видел, как человек высунулся из окна на *кампо* дей Фрари. Оконная ставня держалась на одной ржавой петле и слетела на *фондамента* в нескольких сантиметрах от головы прохожего. Кто сказал, что Венеция тонет? Венеция разваливается на куски.

Градом сыплются и домашние животные, особенно кошки, сегрегированные в домах завидущих старых дев бальзаковского возраста. В период случек киски отчаянно орут с карнизов, обращаясь со страстным призывом к самым удачливым из бездомных котяр. А те знай седлают подружек, иные пробуют громоздиться и по трое: один на другом, другой на третьей. Вконец измученные этим невыносимым зрелищем, домашние кошки не выдерживают. Их желание переваливает через карниз, они бросаются вниз с третьего этажа, а сердитые хозяйки ищут их по всей квартире. Через две недели кисы являются худыми, исцарапанными (у нас говорят "сцарапанными") и счастливыми.

Настал момент увековечить память чемпиона мира по прыжкам вниз всех времен и народов, легендарного хайдеггеровского кота с острова Джудекка.

Означенный кот по кличке Пуччи три четверти века назад любил прикорнуть на внешнем подоконнике четвертого этажа, сладко нежась или что называется жарясь на солнышке. Чтобы его никто не беспокоил, Пуччи выходил на балкон, вскарабкивался на карниз, оттуда запрыгивал на соседний подоконник и растягивался с наружной стороны закрытых ставень. Когда моя прабабушка открывала ставни, Пуччи неожиданно зависал в пустоте, испуганно мяукал и мгновенно принимал воздушную позу летающих белок или обезьян, имеющих перепонки для планирования. Кошки — опытные каскадеры. Дворовые ребята все время приглядывали за тем окном на четвертом этаже. Всякий раз, когда Пуччи снова забирался на подоконник, они выжидали полчаса, давали коту спокойно задремать, после чего звали мою прабабушку. Та высовывалась из окна, рывком открывая ставни.

Мы часто задаемся вопросом, видят ли животные сны? Мучают ли их кошмары, подобные нашим, вроде тех, которые кончаются падением в пустоту? Проваливаются ли они в

сны, которые обрываются успокоительным пробуждением на собственной подстилке? Вернемся к случаю с хайдеггеровским котом: из состояния сладостной дремы он *с вытаращенными глазами переходит в состояние свободного падения.* В те же годы философ Мартин Хайдеггер объяснял, что появление на свет сродни выбросу, падению существа, ныряющего во время. Жизнь — это кот, уснувший на подоконнике. Нежданно-негаданно он просыпается, падая с четвертого этажа.

Ольга Панова

Между раем и адом: американская пастораль Тони Моррисон

...Не бойся. Мой рассказ тебе не повредит, хоть много я чего наворотила; обещаю лежать тихо, затаюсь впотьмах и буду то плакать, то, может, кровь опять увижу, но больше никогда не вскинусь, не растопырю когти...

Манеру Тони Моррисон неизменно сравнивают с фолкнеровской. Писательница имеет обыкновение сразу же, с головой погружать читателя в повествование, не давая ему в руки путеводной нити к лабиринту слов. Вот и последний ее роман "Жалость"[1] открывается чьими-то странными, тревожными признаниями. К кому они обращены? К читателю, к кому-то другому? И что за неведомый голос произносит их?

По мере чтения романа постепенно выясняется, что действие происходит в 1690 году в Виргинии, а голос принадлежит шестнадцатилетней чернокожей девушке по имени Флоренс. Рассказчица записывает свою историю необычным способом: выцарапывая слова на стенах и на полу комнаты в огромном нежилом доме. Она владеет грамотой — этому волшебному искусству выучил ее католический священник, ибо мать Флоренс, рабыня-африканка, упросила падре заниматься с девочкой: она верит, что, выучившись буквам, ее дочка сможет стать счастливой, потому что "в учености есть волшебство". Но выцарапывать гвоздем "старательные буквы" Флоренс принимается отнюдь не от ощущения счастья, а чтобы справиться с отчаянием и одиночеством.

Тони Моррисон воспроизводит устойчивые лейтмотивы афроамериканской литературы XVIII века, возникшие еще в текстах грамотных рабов-африканцев, попавших в англий-

© Ольга Панова, 2010

1. "ИЛ" 2008, № 8. Перевод В. Бошняка.

ские колонии Нового Света. В автобиографических повествованиях Олауды Эквиано (Густава Вазы), Укосо Гроньосо[1] обучение письму, получение образования — сквозная тема, и это неудивительно: в эпоху Просвещения доказательством полноценности черной расы была способность овладеть чтением и письмом. Африканцы Эквиано и Гроньосо, оказавшись среди европейцев, присутствовали при чтении Библии и были поражены, увидев диво дивное — "говорящую книгу", которая беседует со своим хозяином.

Моррисон говорит, что любой роман начинается для нее с того, что она слышит голоса своих будущих персонажей. "Жалость" не стала исключением:

> Вначале я услышала голос девочки Флоренс. Ее путь к овладению словом был длинным и кружным. Она научилась чтению и письму от католического священника при странных и пугающих обстоятельствах. Потом ее забрали и увезли куда-то, она не понимает этих людей, их речь. С матерью она говорила по-португальски, еще она знает латынь. Поэтому я собрала все эти языки воедино и дала ей индивидуальный голос. Это речь от первого лица, очень яркая, наглядная. Потом в какой-то момент я вдруг заметила, что Флоренс у меня все время говорит в настоящем времени, и это придает ее повествованию непосредственность. Как только я это поняла, я стала внимательно следить за тем, как я передаю то, что она думает, и мне удалось показать одновременно и ее невинность, и ее искушенность.

У Моррисон рассказ Флоренс — лихорадочный, причудливый поток речи, полный аграмматизмов, смесь пиджина и архаизмов. Переводчик Владимир Бошняк создает поразительный сплав устаревших, редких и просторечных слов, книжных и разговорных синтаксических конструкций, так что получается язык одновременно и старинный, стилизованный под XVII век — и современный, с его яркой экспрессией и стилистической сниженностью. Без преувеличения можно сказать, что перед нами нечастый в последнее время случай, когда перевод иностранного романа становится вкладом в современную русскую словесность, обогащает русский литературный язык.

Речь Флоренс чередуется с повествованием от автора — хотя, по сути дела, слышим мы не его, а разных персонажей.

1. "Увлекательное повествование о жизни Олауды Эквиано или Густава Вазы, африканца, написанное им самим" (1789); "Повествование о самых примечательных событиях в жизни Джеймса Альберта Укосо Гроньосо, африканского вождя, рассказанное им самим" (1772).

Интонация, лексика, синтаксис — все меняется в зависимости от того, чья это история: Лины или Ребекки, Горемыки или Джейкоба Ваарка. Если и можно здесь говорить об авторе-повествователе, то лишь как об эхокамере, где звучат разные голоса и где каждый голос вплетает свою нить в ткань романа. Постепенно в этой ткани вырисовывается орнамент. Фрагменты разных узоров слагаются в целое, из соединяющихся ниточек создается текст романа, из личных историй — История нации, страны, эпохи.

Хотя тема романа "Жалость" — становление системы рабовладения, писательницу занимает не только расовая проблема. Среди ее персонажей, помимо черных рабов, — белые слуги Уилли и Скалли, те же рабы, подписавшие кабальные договоры; Ребекка, которую "продали в замужество" (описание ее плавания в Америку построено как аллюзия на произведения о "пути через Атлантику" на невольничьих кораблях), а также свободный негр: кузнец-африканец. На вопросы интервьюеров, можно ли воспринимать этот роман как движение к "пострасовому мышлению и дискурсу"[1], писательница отвечает, что культура много потеряет, если лишится расового колорита. В то же время она убеждена, что чрезмерный акцент на этих проблемах обедняет и сужает смысл написанного. Вопросы, которые поднимаются в ее книгах, имеют глубокий философский и этический смысл. Что такое любовь? Может ли женщина, принужденная убить своего ребенка или отречься от него, вернуться к нормальной жизни? Что такое прощение и как его заслужить?

Как и в "Возлюбленной", в последнем романе Моррисон одним из главных оказывается нравственный выбор матери, решившейся отказаться от своего ребенка, отдать дочь в руки другого (Хозяина) в надежде облегчить ее судьбу. "Мысль семейная", материнство, корни, узы крови и "муравьиное братство" общины — родственников, соседей, друзей — вот неизменная система координат, которая раз и навсегда задана в мире Моррисон, противницы индивидуализма и эмерсоновского "доверия к себе".

Моррисон все время подчеркивает, что без ее детей и родных ее не было бы как писательницы: "Моим сыновьям нужна была мать, реальный человек, они всегда должны были знать, чем я занята, что делаю. Некоторые, например, говорят, что у них нет времени и возможности писать, имея ма-

1. Подобно тому, как комментаторы говорят о "пострасовой политике" Обамы.

леньких детей. У меня все ровно наоборот. До того как родились мои сыновья, я ничего не писала. Я стала писательницей благодаря им". Только дома в кругу семьи Моррисон чувствует себя "настоящей". Истинная Хлоя Антония Уоффорд появилась на свет в 1931 году в маленьком городе Лоррейн (штат Огайо) в рабочей семье. С раннего детства она стала страстным книгочеем. Ее любимыми авторами были Джейн Остин и Лев Толстой. Отец Хлои был прекрасным рассказчиком, и его увлекательные истории — былички, сказки, житейские истории — сказались на стиле писательницы, неслучайно она так часто прибегает к сказу, и в ее романах звучит колоритная речь героев-рассказчиков. В семье нередко возникали конфликты, что объяснялось и бытовыми трудностями (детство Хлои Уоффорд пришлось на годы Великой депрессии и Второй мировой), и несходством характеров родителей. Тони Моррисон вспоминала:

> Мой отец не доверял белым, никогда не позволял ни одному белому (даже разносчикам или страховым агентам) переступать порог нашего дома. К счастью, моя мать была совсем другим человеком, она судила о каждом на основании личных качеств. Мать часто рассказывала о своем детстве, которое прошло на Юге. Для нее это были самые чудесные, романтические, волшебные воспоминания. А отец говорил про Юг диаметрально противоположные вещи. Тем не менее он каждый год ездил к себе на родину, в ненавистный штат Джорджия. А мама никогда не ездила в дорогую ее сердцу Алабаму, где прошло ее детство.

Интересно, что творчество Моррисон все время строится на подобных парадоксах. Она пишет об ужасах рабства, о линчеваниях, о белых расистах, для которых негр мало чем отличается от собаки или лошади. Но в ее книгах идет речь и о черном расизме, о фанатиках, которые убивают белых, считая их не людьми, а демонами, исчадиями ада. Ее герои (например, Молочник из "Песни Соломона") перемещаются в поисках прошлого, своих корней с Севера на Юг — вопреки известному архетипу негритянской литературы: движению с Юга на Север, от рабства — к свободе. Север у Моррисон — это мир свободы, отчуждения, индивидуализма, прагматизма, процветания, забвения; Юг — край угнетения, общинности, традиционности, волшебства, бедности, памяти. Север — чужбина, земля обетованная, обернувшаяся бесплодной землей. Юг — родина, земля рабства и юдоль страдания, почва, из которой растет духовная культура черных американцев.

В 1949 году Хлоя Уоффорд поехала учиться в Вашингтон, в Говард, который еще в начале XX века был в числе трех самых лучших негритянских университетов вместе с Таскиги и университетом Фиска. Свое решение поступить в университет она объясняла желанием "попасть в круг чернокожих интеллектуалов" и как следует разобраться в том, какие блага дает афроамериканцам интеграция в американское общество и каких жертв она требует. Получив диплом бакалавра, она едет в Корнеллский университет, где в 1955 году защищает диссертацию, посвященную теме самоубийства в прозе У. Фолкнера и В. Вулф. Получив степень магистра, начинает преподавать в Говарде и вскоре выходит замуж за уроженца Ямайки Гарольда Моррисона – архитектора, который тоже преподавал в Говарде. Вскоре на свет появись двое сыновей, а через семь лет, расставшись с мужем, миссис Моррисон переезжает в Нью-Йорк и становится редактором в издательстве "Рэндом хаус". Первые литературные опыты Моррисон относятся ко времени преподавания в Говарде – тогда родился и псевдоним писательницы, Тони, – прозвище, которое дали ей приятели в студенческие годы. Моррисон однажды представила на суд друзей рассказ о чернокожей девочке, которая мечтала о том, чтобы у нее были ярко-синие глаза. Позже этот рассказ лег в основу ее первого романа – "Самые синие глаза" (1970). Уже здесь Моррисон отличает фолкнеровская завороженность историей, переживание истории как травмы и упорное стремление прорваться сквозь жестокий и неумолимый ее ход к утешительному и спасительному мифу. В первом романе события отнесены к 1940–1941 годам – времени очередного массового исхода американских негров с Юга на Север в годы Депрессии. Следующий роман "Сула" (1974) открывается рассказом о негритянском районе Ботом (что в переводе означает *дно*), действие охватывает 1919–1965 годы. В "Песне Соломона" (1977) приключения главного героя, Молочника, начинаются в 1927 году; в "Возлюбленной" (1987) вся история разворачивается через несколько лет после Гражданской войны, а воспоминания героини переносят нас в довоенное время, в эпоху рабства. "Жалость" отправляет нас еще дальше в прошлое – к истокам возникновения нации.

Эпическое ощущение времени и пространства, свойственное Моррисон, пожалуй, особенно сильно́ именно в ее последнем романе "Жалость". Он потребовал от автора гораздо более длительной и серьезной подготовки, чем остальные ее книги:

Мне пришлось читать и готовиться несколько больше, чем обычно – потому что роман этот об очень далеких временах. Мне очень помогли работы историков, антропологов и биологов, которые годами изучали ту эпоху. Прежде всего мне нужно было узнать, какой тогда была жизнь, в том числе жизнь растений, деревьев, какая была погода. Книга, которая мне очень помогла и которую я перечитывала много раз – "Изменения на земле" Уильяма Кронона[1]. Я узнала, какими были тогда разные растения – например, салат или колокольчики, какой они были величины. Это дало мне возможность живо представить себе те места, в которых должна была разворачиваться история, – штат Нью-Йорк на севере, на юге – Мэриленд и Виргиния.

Чтобы изобразить колонистов, их жизнь в Европе до переезда в Новый Свет, Моррисон изучала образ жизни переселенцев, старалась представить себе, каким был рядовой колонист, прибывший в Америку:

Что они оставляли там, в Старом Свете? Большинство из них оказались перед выбором – уехать или сесть в тюрьму. Я нашла совершенно замечательную книгу "Полная неразбериха: грязь, шум и зловоние в Англии, 1600–1770" Эмили Кокэйн[2]. Она пишет о законах того времени – например, запрещалось бить жен после девяти часов, о том, какие тогда циркулировали слухи, о том, как тесно жили и общались друг с другом люди. Мне кажется, что колонисты, приехав в Америку, все время были как пьяные – воздух в Новом Свете был таким чистым! А в Англии зонтики красили в черный цвет, потому что дождь был весь черный от копоти! Очень важно погрузиться в атмосферу эпохи, близко познакомиться с контекстом, в котором разворачивается вся история. Отчего колонисты бежали, что с ними могло произойти, как они относились к детям? Можно, конечно, ограничиться "Оливером Твистом"; но когда узнаешь, что детишек отправляли в Виргинию, как груз, в набитых до отказа шлюпках... Я могла бы посвятить изучению эпохи долгие годы, мне очень нравится этим заниматься, но в какой-то момент приходится остановиться и приниматься за написание романа.

Обращаясь к эпохе колонизации Северной Америки, писательница рисует мир, где парадоксально соседствуют скудость и изобилие, меркантильность и героика, величие и убожество, первозданный эдем и адская машина цивилизации,

1. Уильям Кронон – географ и историк экологии, автор книги "Изменения на земле: индейцы, колонисты и экология Новой Англии" (Changes in the Land: Indians, Colonists, and the Ecology of New England, 1983).
2. Emily Cockayne. Hubbub: Filth, Noise and Stench in England, 1600–1770. – Yale University Press, 2007.

широта духа и узколобый фанатизм. Это было время, когда в лесах обитали индейские племена, а на новые земли претендовали англичане, французы, португальцы, шведы, голландцы; по чащобам "шастали уловчивые медведи", вооруженные дезертиры и просто грабители. Шел дележ сфер влияния между католическими миссиями, баптистами, пресвитерианами. Самые страшные страницы романа – те, что посвящены религии. Католичество – это зловещее поместье д'Ортеги, где тлеют разнузданные страсти и таится изощренная жестокость; это "пропитанный римским духом" Мэриленд, где высятся помпезные храмы, а местные дамы, словно блудницы вавилонские, разъезжают на повозках, запряженных негритятами. Баптисты – соседи Ваарков – практикуют наушничество и доносы; Ребекка ненавидит их ханжество и не может простить, что они отказались крестить ее детей: из-за них малютки умерли отлученными от благодати. Жуткие сцены, живописующие "охоту на ведьм", достойны пера Н. Готорна: в маленькой деревушке, где оказывается Флоренс, все жители парализованы страхом; вдова Илинг, сердобольная женщина, пустившая переночевать усталую, голодную Флоренс, каждое утро бередит раны своей дочки Джейн, чтобы из них текла кровь (ведь всем известно, что ведьмы не кровоточат!); "пуританские инквизиторы" совершают ежедневный обход домов в поисках знаков дьявола. Шериф и три женщины, обнаружив Флоренс в доме вдовы Илинг, уверены, что "черная чертовка" наверняка посланница самого "Черного Человека"! Девушку раздевают догола и тщательно обследуют. Самым страшным в этой унизительной процедуре оказывается какая-то нечеловеческая бесчувственность экзекуторов:

> Стоя голой под их взглядами, я смотрю за тем, что выражают их глаза. Нет, ненависти нет, как нет ни страха, ни отвращения, но они смотрят на мое тело, словно вчуже, не узнавая. Свиньи и то, отрывая рыла свои от корыта, смотрят осмысленней.

Как выясняется, изуверский фанатизм прекрасно уживается с прагматикой: вдова Илинг становится жертвой "охоты на ведьм", потому что кое-кому приглянулся ее участок земли. Все эти ужасы вовсе не порождение американской "дикости": это "цивилизованные нравы", которые в Новый Свет принесли европейцы. Ребекка навсегда запомнила сцены зверских казней в родном Лондоне: "Вот горку дышащих, еще живых внутренностей подносят к глазам преступника, после чего бросают в ведро и выливают в Темзу; вот пальцы отрубленной руки шевелятся и ищут утерянное тело..." По

сравнению с этим охота дикарей за скальпами кажется Хозяйке невинной детской игрой.

После смерти последнего ребенка, пятилетней Патрисии, Ребекку не утешают "труднопостигаемые" молитвы баптистов; облегчение приносит только "языческий лепет" индеанки Лины, уверяющей, что детишки стали звездочками, пташками или жемчужными облачками, что водят хоровод на краю небосклона. Когда Хозяйка заболевает, Лина прибегает к разным способам целительства, молитвы, которым она научилась у пресвитериан, ей кажутся бесполезными, поэтому главная надежда — на травы и талисманы, что она прячет под подушку больной. По мнению Моррисон, гармоничное восприятие мироздания, свойственное индейцам — коренным обитателям девственных лесов, гораздо ближе духу Нового Света с его смешением рас и культур. Лина "перекаркивается с воронами, пересвистывается с синицами, разговаривает с растениями, болтает с белками" и находит разумными "доводы дождя". Взгляд Лины на европейцев — взгляд постороннего, удивленный, опасливый, недоверчивый. Люди белой расы для нее — непостижимая загадка, ведь "европейцы могут, не моргнув глазом, резать беременных, старикам стрелять в лицо... и в то же время звереют, если неевропеец посмотрит им в глаза. Они могут запросто сжечь твой дом, а потом будут кормить тебя, нянчить и воспитывать". Безвременную смерть Хозяина Лина считает закономерной: при постройке дома было срублено целых пятьдесят деревьев, а "убивать деревья в таком количестве, не спрашивая их согласия" — верный способ навлечь беду.

Поэтически описывается любовь шестнадцатилетней Флоренс и кузнеца, свободного африканца, которая разворачивается на лоне природы. Их любовные игры напоминают прекрасный танец; свидетелями их ласк становятся птицы и звери. Кузнец рассказывает Флоренс о повадках животных, о свойствах растений. Именно кузнец — чернокожий кудесник — изготавливает кованые ворота для нового дома Ваарка и украшает их орнаментом из растений, цветов, животных — настоящий вход в эдем. Однако наверху он помещает двух сплетенных змей — поэтому Лине изделие кузнеца кажется "зловещими вратами", что ведут в мир, отягощенный проклятьем. Действительно, в американский эдем с появлением европейцев проникла порча. Две змеи, два главных греха, разоряют девственный рай: уничтожение коренного населения и работорговля. Тлетворные миазмы отравляют красоту и гармонию Нового Света — и возникает сложная диалектика добра и зла, которые причудливо переплетаются в романе, подобно кованым змеям в навершии ворот.

Рисуя американский эдем, Моррисон продолжает длинную традицию американской пасторали — от Адирондакских гор Купера и массачусетстких густых лесов Готорна до хемингуэевской Биг-Ривер, керуаковской горы Хозомин и, наконец, до иронической "Американской пасторали" Ф. Рота. У афроамериканской писательницы Тони Моррисон пастораль амбивалентна, она кажется то райской идиллией, то зловещим инфернальным ландшафтом. Молочник в "Песни Соломона" движется из большого северного города на сельский Юг — это одновременно и родина предков, и юдоль рабства. В "Возлюбленной" плантация "Милый дом" — тюрьма, где томятся черные невольники. Наконец, в романе 1998 года "Рай" оклахомский городок, населенный исключительно черными американцами, чьи предки сто лет назад бежали сюда с Юга, — это и Богом забытая глушь, и таинственная земля обетованная.

Пасторальные красоты американского эдема в последнем романе Моррисон — это и девственная природа, и роскошная плантация д'Ортеги, и угодья Ваарка, который пытается создать у себя в поместье настоящий земной рай. Природа в романе изменчива и двойственна, одновременно прекрасна и устрашающа. Снежинки ложатся на ресницы, словно сахарная пудра, — и в то же время вонзаются в тело, как ледяные лезвия. Появление оленя — добрый знак, однако темные блестящие глаза его кажутся глазами лесного демона. Та же двойственность отличает и человеческий мир. В романе нет ни одного до конца отрицательного персонажа — за исключением, пожалуй, сеньора д'Ортеги, впрочем, слишком уж напоминающего опереточного злодея и вызывающего не столько страх, сколько презрение. Нет в романе и ни одного героя, не тронутого порчей. Добрый хозяин Джейкоб Ваарк вырубает деревья и строит нелепый огромный дом, который оказывается мавзолеем для владельца. Ребекка после смерти мужа, оправившись от тяжелой болезни, становится черствой, жестокой: отправляет всех служанок жить в сарай, бьет по лицу Горемыку, завидуя ее материнству, выставляет на продажу Флоренс. Лина, оплакивающая смерть деревьев, топит в реке новорожденного младенца Горемыки, но вовсе не для того, чтобы спасти его от ужасов рабства, как это было в романе "Возлюбленная", а из дикого суеверия. Наконец, Флоренс, отыскавшая целителя-кузнеца, оказывается не способна присмотреть за мальчиком-найденышем, который едва не погибает, оставшись с такой горе-нянькой.

Порча, проникшая в американский эдем, разъедает и любовь, и материнство, которые становятся причиной не толь-

ко радости, но и мук. Материнство может вести к полноте и цельности (Горемыка/Завершенная), а может к обездоленности и сиротству – как это случается с Ребеккой или с несчастной матерью Флоренс.

Расставание с матерью наносит Флоренс глубокую рану; следующий, еще более страшный удар она получает от возлюбленного, которому предалась душой и телом и который прогоняет ее, ибо она раба, и у нее "пустая голова и разнузданные желания". Флоренс – раба не Джейкоба Ваарка, а собственных страстей, ведь только "внутренняя порча делает рабом и открывает дверь всякой дикости". Отчаяние и неутоленное желание мгновенно превращают покорную рабыню в дикого зверя. От слепого, рабского поклонения до слепого кровавого насилия оказывается один шаг – и вот отвергнутая Флоренс, вооружившись молотком, пытается уничтожить объект своей страсти.

По мысли Тони Моррисон, пережитая любовная драма содержит в себе важнейший нравственный урок: никому и ничему не отдаваться рабски, безраздельно. Эта слишком дорогой ценой оплаченная мудрость вложена в уста поруганной измученной женщины – матери Флоренс:

> Власть над человеком – тяжесть; добиваться ее – кривда; отдаваться же во власть другому – лукавство.

Власть над человеком – страшное искушение, чреватое разрушением и для хозяина, и для раба. Но если власть имеющий способен пощадить тех, кто от него зависит, – это и есть жалость, добродетель, которая у Моррисон определяется апофатически – через отрицание, как "не-делание зла". Жалость оказывается последним бастионом в мире. Жалость или жестокость – вот что делает мир раем или адом, открывает врата в Эдем или в преисподнюю.

Среди книг

с Марком Соколянским

Приближение к Теккерею

В. С. Вахрушев *Уильям Теккерей. Жизнь и творчество.* — Балашов: изд-во "Николаев", 2009. — 99 с.

В 2004 году на экраны вышел новый британско-американский фильм режиссера Майры Нейр по роману Уильяма Мейкписа Теккерея "Ярмарка тщеславия" и вопреки скептическим прогнозам социологов киноискусства привлёк к себе внимание весьма широкой аудитории в разных странах Западной Европы. Успех картины можно приписать тактичной, лишенной вульгарного модернизаторства работе режиссера, прекрасному подбору талантливых актеров (по преимуществу английской школы) или мастерской работе оператора и художника, однако важнейшим предусловием достигнутого результата явился сам *материал* — великолепный роман классика мировой прозы.

В XIX столетии фигура Теккерея-романиста даже в Великобритании была несколько заслонена его более популярным современником Чарлзом Диккенсом. Затем пришло время заметного охлаждения ко всей викторианской прозе у англоязычной аудитории, не говоря уж о читателях, воспринимавших эту литературу в переводах. За спадом, как часто случается, пришел недолгий период всплеска заинтересованности. Но, кажется, ушли наконец в прошлое времена увлечения или разочарования знаменитыми авторами XIX века, и наступила пора спокойного интереса и осознания значения каждого из выдающихся мастеров независимо от того, какая нынче мода "на дворе".

Более полутора столетий тому назад восторженная поклонница прозы Теккерея Шарлотта Бронте предсказывала, что автора "Ярмарки тщеславия" по-настоящему поймут и оценят лишь "через сто лет". Это пророчество автора романа "Джен Эйр" приводит на первой же странице своей книги В. С. Вахрушев.

Существенной особенностью нового очерка жизни и творчества Теккерея представляется его бесспорная **многоадресность**. Конечно, опытный вузовский профессор не мог не иметь в виду читателя-специалиста. Это в какой-то мере и определило построение книги, где хронологическому рассмотрению творческого пути писателя предшествует краткий анализ его эстетических воззрений. Особое внимание уделено поэтике лучших романов Теккерея. С тонким пониманием творческого почерка изучаемого писателя пишет В. Вахрушев об игровом подходе Теккерея к искусству, и, в частности, о "те-

атрализации нарратива" в "Ярмарке тщеславия", о роли рассказчика-кукольника в том же романе, о доминанте художественного пространства в теккереевском хронотопе...

Многие из этих профессиональных наблюдений, лаконично изложенных в рецензируемой книге, были подробнее развернуты самим автором в его солидной монографии "Творчество Теккерея", вышедшей четверть века тому назад в издательстве Саратовского университета. Помимо них, новая книга как будто предлагает будущим исследователям ряд еще недостаточно разработанных и увлекательных научных тем. Назовем хотя бы некоторые из них: роль пантомимы для творческой манеры Теккерея-романиста, финалы в романах Теккерея, проблему циклизации в его творчестве, природу и специфику иронии писателя и не в последнюю очередь – "Теккерей и мировая литература". Впрочем, перечень такого рода тем, семена которых отыскиваются в лаконичной книге Вахрушева, можно было бы и продолжить.

В кратких аннотациях, помещаемых обычно на обороте титульного листа литературоведческих изданий, среди тех, кому предназначена книга, как будто из вежливости называются все "те, кто интересуется литературой". Нередко этот традиционный адрес на поверку оказывается сугубо декоративным. В данном же случае он был важен для автора, в немалой степени определив и доступный стиль изложения, и подбор материала.

Безусловно, читателю, не изучавшему жизнь и творчество британского классика специально, будет любопытно прочесть о его студенческом стихотворении "Тимбукту" или об опубликованной в конце 1830-х годов поэме "Легенда о св. Софии Киевской" (sic!). Любитель и тем более знаток отечественной поэзии XX века не пройдет мимо интересного сопоставления подзаголовка к "Ярмарке тщеславия" ("роман без героя") и названия поэмы Анны Ахматовой ("Поэма без героя"). Удивит сообщение о том, как И. С. Тургенев в беседе с Теккереем попробовал прочесть британскому коллеге "особенно мелодичное" стихотворение Пушкина в оригинале, чем вызвал лишь смех автора "Книги снобов", не воспринявшего "'варварские' звуки 'скифской' речи". Внимание читателя, наверное, остановят меткие замечания о том, как обостренный интерес Теккерея к изобразительному искусству отразился в ряде его романов и, в частности, в романе "Ньюкомы", который в свое время так заинтересовал Н. Г. Чернышевского.

Вообще проблема "Теккерей и изобразительное искусство" необычайно важна. В этой связи нельзя не вспомнить классическую работу академика М. П. Алексеева "Теккерей-рисовальщик", которая при всей ее неоспоримой основательности не исчерпала, однако, темы. Желая дать самым разным читателям возможность прикоснуться к этой проблеме, В. Вахрушев для иллюстраций к своей книге подобрал рисунки писателя. По преимуществу это шаржи и карикатуры, которые питаются из того же богатого источника, что и остроумные пародии писателя или многие страницы его романов, – недю-

жинного и тонкого чувства юмора Теккерея.

Заключает книгу известная далеко не всем почитателям "Ярмарки тщеславия" или "Книги снобов" графическая пародия на музу истории Клио. Пуритански одетая пожилая дама с пресным выражением лица, этакая миссис Гранди, стоит, опершись правой рукой на зонтик, а левой — на большую стопку книг. На корешках книг мы можем прочесть имена великих авторов. Тут и Гомер, и Вергилий, и Торквато Тассо, и даже Сервантес, а в основании этой могучей "горки" расположилась книга об удивительных и "правдивых" приключениях барона Мюнхгаузена. Писатель, исключительно внимательный к историческим фактам, пародировавший некоторых собратьев по перу, в частности и за их недостаточное знание истории, воссоздавший в лучших своих книгах исторический колорит эпохи, Теккерей-рисовальщик предлагает весело посмеяться над тем, что, казалось бы, должно быть свято для исторического романиста — над самой музой истории.

Книга В. Вахрушева как будто приглашает читателей — прежде всего молодых, еще не открывших для себя обаяние творческого наследия Теккерея, — прочесть его "пристально", оценив изобразительное мастерство и всепроникающую иронию прозаика, не упустив при этом из виду и его поучительных раздумий над судьбами своей страны и всей Европы и над сложностями человеческого бытия.

У книжной витрины

с Михаилом Визелем

Фредерик Бегбедер *Французский роман* / Пер. с фр. Е. Головиной. — М.: Иностранка, 2010. — 320 с. — 20000 экз.

Марселю Прусту, для того чтобы погрузиться в поиски утраченного времени, понадобилось раскусить размоченное в чае печенье «Мадлен». Его не такому уж далекому литературному потомку Фредерику Бегбедеру понадобилось для этого нюхнуть кокаина с капота припаркованной у ночного клуба машины. Причем роль катализатора сыграл не сам наркотик (им-то Фредерика не удивишь и не прошибешь), а именно обстоятельства его употребления, приведшие знаменитого писателя на реальные тюремные нары. Правда, всего на трое суток, но для «мальчика из хорошей семьи», никогда в жизни не видевшего плевков на полу, этого оказалось достаточно, чтобы «вспомнить все». А именно: свое буржуазное, но несчастливое детство, о котором, как ему самому казалось, он полностью забыл. Вариация на тему «все мы родом из детства» вышла убедительной и, неожиданно для патентованного позера и эгоиста, щемящей — чему в немалой степени способствует прекрасный перевод Елены Головиной.

Клас Эстергрен *Джентльмены* / Пер. со шведского Л. Стародубцевой. — М.: Издательство Ольги Морозовой, 2010. — 672 с. — 3000 экз.

Выпуская в 1980 году книгу о чудаках-маргиналах, вынужденно сожительствующих зимою 1978—1979 года в большой стокгольмской квартире, автор, уже к тому времени снискавший репутацию одного из крупнейших писателей в своей стране, естественно, задумывал ее как роман о современности. Но сейчас, тридцать лет спустя, он воспринимается как роман исторический. Начиная прямо с завязки, герой, оказавшись на мели, получает приятную и хорошо оплачиваемую работу (газонщик в гольф-клубе) — но готов потерять ее, потому что не может пропустить намеченный в не очень-то близком городе концерт Боба Дилана... Перенос в другую эпоху не только добавил хитросплетениям этого толстого романа «аромата», но и позво-

лил по-другому отнестись к нему: как просто к качественной психологической сюжетной прозе, без привязки к злободневности.

Недим Гюрсель *Любовь после полудня* / Пер. с турецкого М. Букуловой при участии Юрия Сорокина. — М.: ОГИ, 2010. — 176 с. — 1500 экз.

«Темные аллеи» по-турецки: авторский сборник из тринадцати коротких экспрессивных рассказов о любви, страсти и чужбине, выпущенный одним из самых значительных турецких прозаиков через двадцать лет после его вынужденной эмиграции во Францию. Правда, с одной существенной разницей: несмотря на французское гражданство Гюрселя, и его давние проблемы с турецкой цензурой, и неурегулированные отношения с родной прокуратурой, русское издание сборника выходит при поддержке минкульта Турции.

Рэймонд Тэллис *Краткая история головы: инструкция по применению* / Пер. с англ. Л.Речной и З. Замчук. — СПб.: Амфора, 2010. — 351 с. — 4000 экз.

Как именно мы видим, то есть каким образом двумерное изображение на сетчатке преобразуется в нашем мозгу в трехмерное? И несет ли какое-то реальное значение расхожее выражение «выразительный взгляд»? Почему мы краснеем — в смысле как именно кровь приливает к щекам? И почему — в смысле что значит «стыдно»? Почему появляется лысина — и почему человек является единственным животным, которое может быть довольным или недовольным своей внешностью? Что, наконец, значит, быть «мною»? Британский автор — профессор медицины и поэт, переходит от биологии к философии, а от нее к этике. Переходы не всегда оказываются непринужденными, но всегда — любопытными.

Жани Саме *Высокая мода* / Пер. с фр. Анисович, А. Петровой, А. Смирновой, Г. Соловьевой, Хазиной. — СПб.: Азбука-классика, 2010. — 352 с. — 15000 экз.

Несмотря на то что индустрия моды невозможна без тщательно раздуваемой шумихи, ее творцы и непосредственные участники остаются одной из самых закрытых каст в мире. Французский модный обозреватель Жани Саме берется писать о ней потому, что она сама является ее частью вот уже более полувека — срок, кажущийся невероятным для принципиально юных сотрудниц российских изданий, посвященных этой теме. И эта разница подчеркивает разницу подхода. Двадцать девять звезд (людей и брендов) французской Haute Couture, являющиеся героями включенных в книгу двадцати девяти очерков, — не «медийные персонажи», а давние друзья и коллеги автора, которых она уважает и пользуется их

уважением. Причем уважение это основано не на совместной «сладкой жизни», а на профессионализме и добросовестности. «Haute Couture — это высокая мода, а не мертвая!» — подытоживает Саме. И, прочитав книгу, ей веришь — даже если вы далеки от мира моды.

Жан-Клод Карьер, Умберто Эко *Не надейтесь избавиться от книг!* / Пер. с фр. Ольги Акимовой. — СПб.: Симпозиум, 2010. — 336 с. — 7000 экз.

Жанр публичной интеллектуальной беседы положительно возвращается в моду во французской литературе после многовекового пренебрежения. Книгу своих дискуссий выпустили гедонист-атеист Бегбедер и кардинал Ди Фалько, мизантроп-пессемист Уэльбек и активист-экстраверт Бернар-Анри Леви. Дошла очередь и до Умберто Эко (видимо, его устный французский позволяет ему вести беседу прямо на этом языке) и Жан-Клода Карьера. Первый хорошо нам известен, второй — не только писатель, но и историк, сценарист Вайды, Бунюэля, Маля. А главное, оба они — страстные библиоманы, обладатели огромных библиотек. Для них для обоих приход электронных книг — тектонический сдвиг сродни появлению нового материка или еще одного солнца. Впрочем, два стоящих на пороге восьмидесятилетия европейских интеллектуала не столько оплакивают книжную культуру, сколько рефлектируют по ее поводу, приводят всякие связанные с нею курьезы (вроде реплики американского сенатора, который оспаривал необходимость изучения в школе иностранных языков на том основании, что Господь прекрасно обходился одним английским) — и, разумеется, доказывают, что никуда она не уходит. Потому что всякая культура нуждается в иерархии ценностей, а Интернет с его всеядностью и всеохватностью обеспечить ее не может. На это способна только книга. Quod erat demonstrandum[1].

1. Что и требовалось доказать *(лат.)*.

Информация к размышлению

Non-fiction

с Алексеем Михеевым

В 2008 году увидела свет книга профессора Тель-Авивского университета **Шломо Занда** *Кто и как изобрел еврейский народ*, тут же попавшая в список бестселлеров в Израиле (где оставалась в течение 19 недель) и очень быстро переведенная не только на ведущие европейские языки, но также и на японский, арабский и индонезийский; в начале 2010-го она вышла и по-русски (перевод с иврита **Михаила Урицкого**.—М.: Эксмо. — 544 с. — Серия "Подлинная история"). В предисловии редактор русского издания Александр Этерман пишет, что появление этой книги *в буквальном смысле слова спасло исследователей еврейской истории, болезненно переживавших нынешнее катастрофическое состояние этой научной дисциплины*; по его мнению, *профессор Занд легко и изящно сбросил идеологическую маску с еврейской историографии и отправил классические монументальные труды по истории Израиля туда, где уже давно пребывают средневековые опусы по физике, химии и астрономии, – в архивы, представляющие интерес исключительно для историков науки*; после выхода этой книги *скучно на кафедрах израильской истории – а таких кафедр в мире сотни – не будет.* Что вполне вероятно — ведь Шломо Занд подвергает ревизии те исторические положения, которые в массовом сознании давно обладают статусом неоспоримых и аксиоматичных.

Провокационно звучит уже само название книги: действительно, как можно изобрести "народ"? По Шломо Занду, не просто можно: подобное "изобретение" является не исключением, а правилом. После Первой мировой войны и распада европейских империй сразу у многих народов возникла потребность в национальном самоопределении (чтобы подтвердить право на самостоятельную государственность), и они стали "выстраивать" свою предшествующую историю. Процесс самоопределения еврейской нации шел параллельно с аналогичными процессами у венгров, словаков, прибалтов и так далее. Впрочем, еврейский народ в этом ряду стоял, конечно, особняком: плюсом для него было наличие реальной многовековой истории (отраженной в Ветхом Завете), а минусом — отсутствие собственной территории. Что, собственно, и определило тогдашние прагматические задачи историков: подтвердить, что европейские евреи действительно являются потомками древних "колен израилевых", а следовательно, могут с полным основанием претендовать на построение своего государства на тех землях, откуда они были изгнаны и которые — следуя исторической справедливости — должны быть им возвращены. В конечном счете так и произошло: и хотя образование Израиля бы-

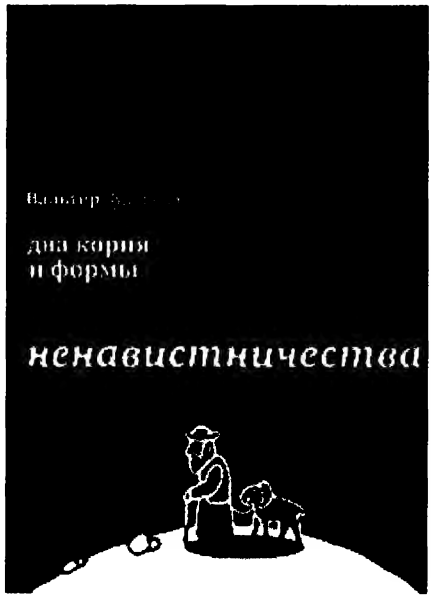
ло, по сути, оплачено страшнейшей трагедией Холокоста, но в итоге независимое еврейское государство возникло, и именно в Палестине.

Впрочем, само "изобретение" народа не вызывает у автора книги протеста: он исходит из того (увы, непреложного) факта, что всякая история не может объективно описать прошлое и описывает поэтому прежде всего время, в которое она создается: то, как мы видим историю, свидетельствует больше о нас самих, чем о событиях и людях давно прошедших эпох (в этом смысле не только Россия, как принято считать, но и любая страна — страна с непредсказуемым прошлым). Под вопрос Шломо Занд ставит прежде всего методологию этого "изобретения", считая, что в основе ее лежит подход не научный, а скорее мифологический; он же пытается взглянуть на историю холодными и непредвзятыми глазами ученого-исследователя.

Сомнения автора можно свести к двум основным факторам: собственно историческому и этническому. Рассматривать Ветхий Завет как историческое повествование, по его мнению, не вполне корректно: ведь при передаче через много поколений корпус этих текстов наверняка подвергался корректировке; во всяком случае, сегодня мы не можем, пользуясь исключительно *текстами*, отделить описание реальных событий от изложения более поздних (и, как следствие, уже скорее мифологических) представлений об этих событиях (таких, как исход из Египта или завоевание Ханаана). Вопросы у Шломо Занда возникают в связи с отсутствием других, *внетекстовых*, исторических свидетельств: например, археологических. Но самым сомнительным для него является представление об этническом единстве народа, веками пребывавшего в изгнании и рассеянии, но сумевшего сохранить при этом генетическую чистоту. Шломо Занд пытается показать, что (вопреки устоявшимся представлениям) евреи в изгнании вели активную миссионерскую деятельность, результатом чего стало обращение в иудаизм многих языческих племен — от североафриканских до северокаспийских (объединившихся на определенном историческом этапе под флагом Хазарии, принявшей иудаизм как государственную религию). И, следуя версии Артура Кестлера, он считает, что именно жители Хазарии, двинувшись после распада этого государства со своих земель на восток, расселились на украинских, польских и литовских землях и стали предками восточноевропейских евреев.

Собственно, именно этот народ, по Шломо Занду, и явился субъектом того самого "изобретения", присвоив себе древнюю историю, к которой имел скорее косвенное отношение — поскольку этнически был уже продуктом многовекового смешения. Попытки же вывести этнически чистые еврейские признаки (на базе модной в начале XX века евгеники) закончились неудачей (причем Шломо Занд не забывает упомянуть, что сама идея поиска этнически гомогенных расовых признаков у народа, манифестирующего себя избранным, после трагических уроков прошедшего столетия выглядит более чем сомнительно). И шокирующе парадоксальная гипотеза Шломо Занда состоит в том, что на роль действительных наследников древних иудеев могут с большим (нежели евреи) основанием претендовать те семитские народности, которые не покидали родную ближневосточную землю и, соответственно, в бóльшей степени сохранили этническую чистоту — иными словами, палестинцы! Да, историографам, действительно, скучно не будет... Завершает же Шломо Занд свою сенсационную книгу размышлениями о состоянии социальных, политических и этнических отношений в современном Израиле.

В прошлом году вышел русский перевод еще одной книги (точнее, брошюры) на непростую еврейскую тему: *Два корня и формы евреененавистничества* прфессора социологии Франкфуртского университета **Вальтера Зульцбаха** (перевод с



немецкого **Аллы Глебовой**. — М.: издательство "Европа". — 104 с. — Серия "Холокост"). В этом издании, появившемся вскоре после Нюрнбергского процесса, анализируются в первую очередь социальные причины того явления, которое в обиходе чаще именуется другим термином: антисемитизм. Зульцбах анализирует исторические корни антисемитизма, существовавшего во многих обществах, выделяя, в частности, евреененавистничество первичное (традиционное и иррациональное — ненависть к еврею именно как к еврею) и вторичное (ненависть к еврею как к любому другому чужаку — сопернику и конкуренту). Понятно, что во втором случае антисемитизм является частным (хотя и наиболее распространенным) случаем такого более общего явления, как ксенофобия.

По *материалам зарубежной прессы*

JUSTINE LÉVY *Mauvaise fille.* — P.: Stock, 2010. — 194 p.

В романе Жюстин Леви "Плохая дочь", как отмечает книжный обзор "Библиосерф", "можно встретить персонажей, известных тысячам читателей по другой книге писательницы "Ничего особенного". Таким образом, читатель, который уже ознакомился с произведениями Леви и успел их полюбить, скорее всего, найдет интересным и этот "роман о любви и горе", как его назвала французская газета "Париматч". "В романе 'Плохая дочь' Жюстин Леви пишет о своей семье, здесь правда перемешивается с вымыслом" ("Цайт"). "В своем третьем романе писательница рассказывает о собственном опыте и переживаниях, связанных со смертью матери и рождением дочери" (французское издание "Экспресс"). Эта история жизни, и в первую очередь история жизни женщины, во многом история самой писательницы. "Чувство юмора — это один из основных принципов писательницы, как в жизни, так и в литературе" ("Франкфуртер альгемайне цайтунг"). Стиль Жюстин Леви "знаменует собой определенную тенденцию во французской литературе", заявляет "Эвен", электронное издание, работающее при поддержке Министерства культуры и коммуникаций Франции. Французский выпуск журнала "Эль" обращает внимание на то, что "роман Жюстин Леви "Плохая дочь" стоит в списке восьми кандидатов на Гонкуровскую премию".

PHILIP ROTH *Humbling.* — New York: Houghton Mittlin Harcourt Trade, 2009. — 160 p.

Роман Филипа Рота "Унижение" не остался без внимания и собрал всю возможную меру как восторгов, так и критики. "Это роман о последнем представлении великого актера", — вводит в курс дела читателей немецкая газета "Цайт". "Цайт" отмечает, что писатель "снова исследует тему прощания", наряду с другой темой, "которую Филип Рот никогда не устает раскрывать в самых разнообразных вариациях", — темой сексуальности, в связи с чем "Цайт" аккуратно называет книгу "причудливой историей, полной неожиданных поворотов". "Актер не может продолжать играть, — пишет другая немецкая газета, 'Зюддойче цайтунг', — и ищет поддержки у лесбиянки, которая больше не хочет ей быть, — такая история не может идти гладко: Рот мастерски изображает смертельную игру". В британском издании "Гардиан" подобной патетики не наблюдается, газета прямо и жестко критикует

роман: "Последний полет сексуальной фантазии Филипа Рота — это постыдное поражение". "Новый роман Рота чрезвычайно слаб по сравнению с другими его произведениями, — продолжает 'Гардиан', — его вообще сложно назвать романом, скорее это сексуальные фантазии стареющего писателя, разряженные в литературные одежды. Спасительные аспекты, конечно, присутствуют: интересная первоначальная задумка и, как всегда, замечательный стиль, к тому же автор задается интересными вопросами о старении и его влиянии на человека, но всего этого далеко не достаточно, чтобы заслонить абсурдность произведения в целом". Газета "Нью-Йорк таймс" гораздо более терпима и упрекает писателя лишь в том, что книга страдает от "своеобразного возрастного разрыва в сюжете", намекая на то, что стареющий актер и его верный агент являются самыми живыми персонажами, а женские и более молодые образы развиты недостаточно. Британское издание "Дейли телеграф" называет роман "мрачным размышлением о смертности человека", но уверенно заявляет, что "это хорошее, тревожное произведение, которое вправе занять достойное место в творчестве Рота". Газета предупреждает, что эта книга "вряд ли кого-то повеселит", поскольку произведения Рота "больше не изобилуют комическими сюжетами, это глубокомысленное размышление о жизни и (в большей степени) о смерти". Британская газета "Индепендент" заверяет, что "любому, кого завораживает мучительная субъективность и экзистенциальный страх в духе Томаса Бернхарда и Сэмюэля Беккета, придется по душе роман Филипа Рота "Унижение".

Подготовила
Евгения Лакеева

Rose Tremain *Trespass.* – L.: Chatto & Windus, 2010. — 310 p.

В романе Роуз Тремейн переплетаются две истории, два мира, столь различных, что их столкновение неизбежно влечет за собой разрушительные последствия. Преуспевающий антиквар хочет переехать во Францию, надеясь начать новую жизнь подальше от Лондона. Поместье, которое он собирается приобрести, некогда процветало, но теперь пребывает в полном запустении. Его владелец, Арамон, спивается, пытаясь избавиться от воспоминаний, отравляющих его жизнь и жизнь его сестры. Встреча этих людей словно запускает некий механизм, и никто уже не в силах изменить дальнейший ход событий.

По словам самой писательницы, она хотела написать роман о людях, уже проживших большую часть своей жизни. Старость, болезни, обманутые ожидания, разбитые надежды — и на фоне этого классическая детективная история, которая держит читателя в напряжении вплоть до последних страниц. Каждая глава — точно кусочек мозаики, из которых складывается общая судьба героев, где предательство неотделимо от

сострадания, преступление — от любви.

По мнению газеты "Таймс", Роуз Тремейн из тех авторов, которым веришь на слово. Миры, которые она создает, сложные, подчас противоречивые, не просто увлекают читателя, но заставляют его вместе с героями переживать боль, счастье, стыд, отчаяние и, наконец, надежду на искупление грехов.

NEEL MUKHERJEE *A Life Apart.* — Edinburgh: Constable & Robinson, 2010, 320 p.

В романе Нила Мухэрджи "Жизнь врозь" Ритвик Гош приезжает в Лондон из Калькутты. Ему двадцать два, и за душой у него нет ничего, кроме мучительных воспоминаний о детстве, проведенном с требовательной и жестокой матерью. Молодой человек надеется, что в Англии он сможет начать все сначала, найти свое место и избавиться наконец от кошмаров прошлого, но вместо этого ему предстоит на собственном опыте понять, что на самом деле представляет собой Лондон и как опасны бывают его улицы по ночам. Чтобы хоть как-то спастись от одиночества, Ритвик начинает писать книгу, и вскоре становится ясно, что сюжет ее странным образом перекликается с его собственной жизнью и жизнью пожилой домовладелицы, за которой он присматривает.

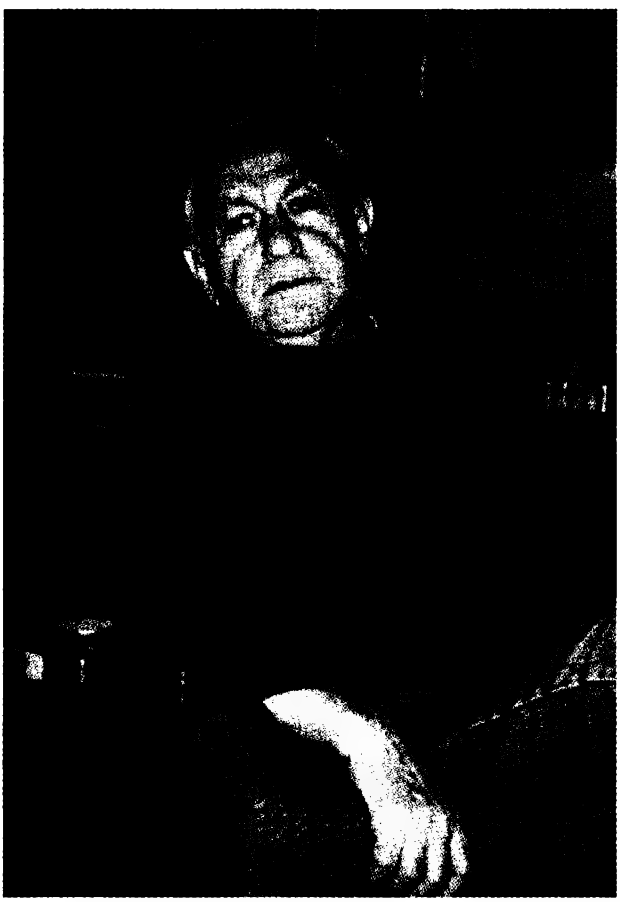
Книга получила одну из самых престижных литературных наград Индии. Однако, по мнению многих обозревателей, это — многослойное, весьма неоднозначное произведение, со своими подводными камнями и неожиданными поворотами. Детские воспоминания главного героя, переплетающиеся с воспоминаниями об учебе в Оксфорде, жизнь, которую Ритвик ведет в настоящий момент, повесть, которую он пишет, — нелегко разобраться в этом водовороте надежд, разочарований и страхов, но тем пронзительней и искренней кажется простая история привязанности двух одиноких людей. Как пишет газета "Индепендент", наблюдения автора, также выходца из Калькутты, касающиеся культурных, расовых и социальных различий, осмысленные через призму английской классической литературы, более чем достойны внимания.

Подготовила
НИКА БАЖАНОВА

Русская культура понесла тяжелую утрату.
Скончался замечательный переводчик с классических и немецкого языков, писатель, литературовед
Соломон Апт.

Благодаря Апту, постоянному автору и члену редакционного совета нашего журнала, на русском языке заговорили крупнейшие немецкие, австрийские и швейцарские художники прошлого и позапрошлого веков:
Эрнст Теодор Амадей Гофман, Вильгельм Гауф, Карл Ясперс, Томас Манн, Герман Гессе, Роберт Музиль, Франц Кафка, Макс Фриш, Бертольт Брехт и многие другие.

Редакция журнала
выражает искренние соболезнования
семье покойного.



Уэллс Тауэр
Wells Tower
[р. 1973]. Американский писатель, лауреат нескольких премий.

Постоянно публикует свои рассказы в периодической печати.
Рассказы *Leopard*, *Everything Ravaged, Everything Burned* и *Door in Your Eye* взяты из сборника *Все разорили, все пожгли* [*Everything Ravaged, Everything Burned.* Farrar, Straus and Giroux, 2009].

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997] и *Мастер* [2008], обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта и Д. Китса, дневники С. Пипса, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Иехудит Кацир
Израильский писатель, лауреат нескольких израильских и международных литературных премий.

Автор книг *У Матиаса в животе солнце* [1995], *Сухопутные маяки* [1999; рус. перев. 2008], *Вот я начинаю* [2003], *Хайфские рассказы* [2005], *ТельАвивские рассказы* [2008] и др. Произведения И. Кацир переведены на 12 языков, в том числе английский, французский, немецкий, итальянский и китайский.
Публикуемый рассказ взят из сборника *Закрываем море* [*Согрим эт ха-ям.* Ха-кибуц ха-меухад, 1990].

Найя Марие Аидт
Naja Marie Aidt
Датский писатель и поэт, драматург, сценарист. Лауреат премии Союза датских критиков [2006], литературной премии Северного совета [2008] и др.

Автор книг стихов *Третий пейзаж* [*Det tredje landskab*, 1994], *Из руки поэта* [*Fra digterens hånd*, 1996], *Путешествие для незнакомца* [*Rejse for en fremmed*, 1999], *Все мигает* [*Alting Blinker*, 2009], сборников рассказов *Водяной знак* [*Vandmærket*, 1993], *Обстоятельства* [*Omstændigheder*, 1995], *Павиан* [*Bavian*, 2006] и др., книг для детей, нескольких пьес и сценария для фильма *Струны* [*Strings*, 2005].
Рассказы *Bulbjerg* и *Tur i bil* взяты из сборника *Павиан* [*Bavian.* København: Gyldendal, 2006].

Ольга Дмитриевна Дробот
Переводчик со скандинавских и английского языков, литературовед, кандидат филологических наук.

В ее переводах опубликованы романы норвежских писателей П. Петтерсона, Л. С. Кристенсена, Х. Аскильдсена, Х. Эрставик, Э. Шульгина и др., детские книги Э. Лу. В *ИЛ* печатались ее переводы новелл Хьелля Аскильдсена [1991, № 12; 2002, № 3], романа Э. Лу *Допплер* [2005, № 11], записок С. Дельбланка *Последние слова* [2010, № 3] и др.

Миленко Ергович
Miljenko Ergović
[р. 1966]. Хорватский поэт, прозаик, эссеист.

Автор поэтических сборников *Обсерватория Варшава* [*Opservatorija Varšava*, 1988], *Небесная команда* [*Himmel comando*, 1992], *По обледеневшему мосту* [*Preko zaledenog mosta*, 1996] и др., прозаических сборников *Сараевское "Мальборо"* [*Sarajevski Marlboro*, 1994], *Мама Леоне* [*Mama Leone*, 1999] и др., романов *Бьюик Ривьера* [*Buick Rivera*, 2002], *Дворы в орехах* [*Dvori od oraha*, 2003], *Иншалла, Мадонна, иншалла* [*Insallah Madona, insallah*, 2004], *Glorija in excelsis* [2005] и др. В *ИЛ* опубликованы его рассказы [2000, № 5], [2006, № 10].
Рассказы *Da se jednom slikamo svi* и *Nebo je lijepo kad ti se nade pod nogama* взяты из сборника *Мама Леоне* [*Mama Leone*. Zagreb: Europapress holding d.o.o., 2006].

Мирча Кэртэреску
Mircea Cartarescu
[р. 1956]. Румынский поэт, прозаик, эссеист. Лауреат премий Румынской академии, Союза писателей Румынии, Ачерби [2005]. Кавалер французского ордена искусств и литературы [2010].

Экспериментатор в области стихотворных форм, начиная с дебюта *Фары, витрины, фотографии* [*Faruri, vitrine, fotografii*, 1980] и кончая постмодернистской эпопеей *Левант*, уникальным путеводителем по истории румынской литературы [1990]. Обе книги получили премию СП Румынии. С 1989 года печатает авангардистскую прозу, сначала новеллы, затем – трехтомный роман *Ослепительный* [*Orbitor*, 1996–2007], а также теоретические труды по румынскому постмодернизму. Публикует в двух томах свои дневники [2001, 2005]. Переведен во многих странах мира и имеет славу модного писателя. В России не публиковался.
Печатает в журналах [*Elle* и др.] свои интимные исповеди и собирает их в книгу *За что мы любим женщин* [*De ce iubim femeile*. Humanitas, 2004, 2009], из которой и взяты представленные здесь рассказы *Mica negresă*, *Nabokov la Brasov* и *Irish Cream*.

Меир Шалев
Meir Shalev
[р. 1948]. Израильский писатель и журналист. Лауреат итальянской премии *Джульетта* за лучший роман о любви [2002].

Автор романов *Русский роман* [1985; рус. перев. 2006], *Как несколько дней* [1994; рус. перев. 2004], *Эсав* [2002; рус. перев. 2002], *Голубь и мальчик* [2006; рус. перев. 2008], *Дело было так* [2009], сборника литературоведческих статей *Главным образом о любви* [1995], детских книг и др. В *ИЛ* опубликованы главы из его романа *В доме своем в пустыне* [2004, № 7].
Текст публикуется по изданию *In the Beginning* [Am Oved Publishers, 2008].

Мередит Уолтерс
Meredith Walters
Американский поэт. Куратор культурных программ в Бруклинской публичной библиотеке. Лауреат поэтической премии *Анхинга* [2006].

Предложенные здесь стихотворения переведены по книге *Спроси, не бойся* [*All You Have to Do Is Ask*. Anhinga Press, 2007].

Отокар Бржезина
Otokar Březina
[1868–1929]. Чешский поэт, эссеист, мыслитель.

Автор поэтических сборников *Таинственные дали* [*Tajemné dálky*, 1895], *Рассвет на западе* [*Svítání na západě*, 1896], *Ветры с полюсов* [*Větry od pólů*, 1897], *Строители храма* [*Stavitelé chrámu*, 1899], *Руки* [*Ruce*, 1901], книги эссе *Музыка родников* [*Hudba pramenů*, 1903]. Книга стихов *Страна* [*Země*] и эссе *Скрытая история* [*Skryté dějiny*] изданы посмертно.
Публикуемые стихи взяты из сборников *Рассвет на западе* и *Строители храма*.

Тициано Скарпа
Tiziano Scarpa
[р. 1963]. Итальянский писатель. Лауреат премий *Стрега* [2009], *Супер Монделло* [2009].

Автор романов *Камикадзе с Запада* [*Kamikaze d'occidente*, 2003], *Стабат Матер* [*Stabat Mater*, 2008], сборников рассказов, сборников критических очерков и статей и др.
Текст публикуется по изданию *Venezia è un pesce* [Feltrinelli, 2003].

Ольга Юрьевна Панова
Литературовед, переводчик с английского, испанского и французского языков, кандидат филологических наук

Автор статей и переводов по истории американской, афроамериканской и французской литературы, переводчик детской литературы.

Марк Георгиевич Соколянский
[р. 1939]. Доктор филологических наук, профессор. С 1993 г. живет в г. Любеке. Член Международной Шекспировской Ассоциации [ISA], член редколлегии журнала *Multicultural Shakespeare*, член редакционных советов в журналах *Toronto Slavic Quarterly* и *Zagadnienia Rodzajow Literackich*.

Автор восьми книг и около 400 статей по различным вопросам истории английской и русской литературы, теории литературы, в том числе книг *Творчество Генри Филдинга* [Киев, 1975], *Западноевропейский роман Эпохи Просвещения. Проблемы типологии* [Киев, Одесса, 1983], *Оскар Уайльд. Очерк творчества* [Киев, 1990], *Перечитывая Шекспира. Работы разных лет* [Одесса, 2000].

Михаил Яковлевич Визель
[р. 1970]. Книжный обозреватель, музыкальный критик, колумнист, издатель, переводчик с итальянского.

Создатель интернет-проекта *Невидимые города online* по роману Итало Кальвино [calvino.lib.ru]. В его переводе вышли два романа Дж. Куликкьи и сборник газетных заметок У. Эко.
В *ИЛ* напечатан его перевод рассказа П. В. Тонделли *Тоже либертины* [2008, № 10]. Постоянный ведущий рубрики *У книжной витрины*.

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек*

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

книги в номинации *Редактор* [2004].

Евгения Андреевна Лакеева
Студентка Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза.

Автор заметок в рубрике *По материалам зарубежной прессы.*

Ника Юрьевна Бажанова
Студентка Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза.

Автор заметок в рубрике *По материалам зарубежной прессы.*

Переводчики

Марина Александровна Майорова
Студентка Литературного института имени А. М. Горького, переводчик с английского.

В *ИЛ* ппубликуется впервые.

Зинаида Александровна Гульдина
Студентка Литературного института имени А. М. Горького, переводчик с английского.

В ИЛ печатается впервые.

Екатерина Ильинична Колябина
Студентка Литературного института имени А. М. Горького, переводчик с английского и французского языков.

В ее переводах опубликованы роман М. Дефонсеки *Выжить с волками* и повесть А. Форниа *Я укушу*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Виктор Петрович Голышев
[р. 1937]. Переводчик с английского. Лауреат премий *ИЛ* [1990 и 1993], *ИЛ-люминатор* [1997], *Малый*

В его переводе издавались романы *Вся королевская рать* Р. П. Уоррена, *Свет в августе* У. Фолкнера, *Над кукушкиным гнездом* К. Кизи, *Амстердам* И. Макьюэна и др. В *ИЛ* напечатаны романы *Теофил Норт* Т. Уайлдера [1976, № 6—8], *Другие голоса, другие комнаты* Т. Капоте [1993, № 12], *Макулатура* Ч. Буковски [1996, № 1], *Железный*

Букер [2001] и *Либерти* за перевод [2003]. Обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2008].

бурьян У. Кеннеди [1996, № 4], *Принц Вест-Эндский* А. Ислера [1997, № 11], *В опасности* Р. Хьюза [2002, № 8]; повести *Большой налет* и *106 тысяч за голову* Д. Хэммета [1988, № 7], *Когда я умирала* У. Фолкнера [1990, № 8], *Мальчишка Педерсенов* У. Гасса [1997, № 2], *Гей, на Запад!* и *Я забыл поехать в Испанию* [2004, № 4] и *Человек, который отказался от имени* [2007, № 5] Дж. Гаррисона, *Огонь в норе* Э. Леонарда [2007, № 1], *Чизил-Бич* И. Макьюэна [2008, № 7], рассказы Ч. Буковски [1995, № 8], Т. Капоте [2005, № 10], лекция В. С. Найпола и эссе С. Сонтаг [2007, № 12] и др.

Светлана Шенбрунн
Прозаик, переводчик, финалист премии *Букер* [2000]. С 1975 г. живет в Израиле.

Автор романов *Розы и хризантемы* [2000], *Пилюли счастья* [2006], сборников рассказов *Декабрьские сны* [1989], *Искусство слепого кино* [1991]. В ее переводах опубликованы произведения многих израильских писателей, в том числе документальная книга *Евреи Львова* Э. Йонеса [1999], сборник пьес *Трудные люди* Й. Бар-Йосефа [2001], сборник новелл *Кипарисы в сезон листопада* [2006], роман *См. статью "Любовь"* Д. Гроссмана [2007].

Яна Петровна Палехова
Переводчик с датского и норвежского языков.

В ее переводе опубликована книга А. Хольт *Чему не бывать, тому не бывать*.

Елена Львовна Солодовникова
Публицист, переводчик с хорватского и английского языков.

Автор путеводителей по Хорватии и Черногории. В *ИЛ* в ее переводе опубликована новелла М. Ерговича *Кактус* [2006, № 10].

Анастасия Анатольевна Старостина
Переводчик с румынского. Лауреат премии *ИЛ* [1985] и премии Союза писателей Румынии [1990].

В ее переводах опубликованы два сборника Аны Бландианы *Стихотворения, рассказы, эссе* [1987] и *После смерти, наутро...* [2007], книги М. Элиаде *Под тенью лилии* [1996] и *Мемуары* [2008] и др.; под ее редакцией вышел трехтомник М. Элиаде *История веры и религиозных идей* [2001—2003; 2008]. В *ИЛ* напечатаны ее переводы рассказов Э. Урикару [1982, № 3], Б. Хорасанджана [1988, № 3], рассказов и эссе А. Бландианы [1985, №3; 1990, № 6; 2006, № 6], романа М. Элиаде *Девица Кристина* [1992, № 3], стихов К. Абэлуцэ [2004, № 6]; ею подготовлен литературный гид *Мирча Элиаде: Одиссей в лабиринте* [1999, № 4].

Рафаил Нудельман
Писатель, журналист, переводчик с английского, польского и иврита.

В его переводе публиковались произведения Ст. Лема, Е. Жулавского, Дж. Ле-Карре, М. Хласко, М. Шалева, А.-Б. Иегошуа, М. Даймонта и др. В *ИЛ* в его переводе [совместно с А. Фурман] опубликован роман М. Шалева *В доме своем в пустыне* [2004, № 7].

Алла Фурман
Переводчик с иврита и английского.

В ее переводах [совместно с Р. Нудельманом] опубликованы романы М. Шалева *Эсав* [2002] и А.-Б. Иегошуа *Путешествие на край тысячелетия* [2003]. В *ИЛ* в ее переводе [совместно с Р. Нудельманом] опубликован роман М. Шалева *В доме своем в пустыне* [2004, № 7].

Григорий Геннадьевич Стариковский
[р. 1971]. Поэт, переводчик, филолог-античник. С 1992 г. живет в США.

Автор книги стихов *На углу* [2005]. Переводил стихи Г. Тракля, Л. Арагона, Дж. Джойса, С. Беккета, Э. Хекта, Д. Махуна, античных поэтов и др. В *ИЛ* публиковались его записки *По Ирландии* [2008, № 7], *Homeroom* [2009, № 12], а также его переводы стихов Л. Арагона [2002, № 5], Л. Глик [2004, № 4], П. Каванаха [2006, № 3], Р. Крили [2006, № 4], Э. Берни [2006, № 11], П. Лейна [2006, № 11], М. Ондатже [2006, № 11], Д. Махуна [2007, № 6], П. Малдуна [2007, № 6], Л. Макниса [2007, № 6], Т. Лакса [2007, № 9], Дж. Грэм [2007, № 9], эссе Ш. Хини [2007, № 6].

Оксана Лихачева
Поэт, переводчик с чешского.

Автор поэтических сборников *Ради мгновения* [2000], *Сквозь листву* [2004], *Свободное плавание* [2007], редактор и составитель коллективных сборников молодых поэтов *Созвучие* [2002], *Четверг. Вечер* [2005].

Геннадий Петрович Киселев
[р. 1955]. Переводчик с итальянского, лауреат премии *Гринцане Кавур—Цецилия Кин* [1997], премии жюри независимых критиков *зоИЛ* [2001], Государственной премии Италии в области художественного перевода [2004], кавалер ордена *За заслуги перед республикой* [Италия].

Переводчик произведений Т. Ландольфи, А. Савинио, И. Кальвино, Д. Буццати, Дж. Томази ди Лампедуза, К. Гольдони, А. Пикколомини, М. Бонтемпелли, Э. Моровича, А. Барикко, А. Нове, А. Моравиа, У. Эко и др. Составитель антологий итальянской прозы XX века. Автор учебных пособий и словарей. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ НАШИХ ЕЖЕГОДНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ ЗА 2009 ГОД

Премия ***Инолит***
[учредитель – журнал "Иностранная литература"]
присуждена

Елене Суриц

за перевод романа Роберта Ная
Миссис Шекспир. Собрание сочинений

Премия ***Инолиттл***
[учредитель – журнал "Иностранная литература"]
присуждена

Наталии Васильевой

за перевод пьесы (а также вступление и комментарии к ней)
Ханса Магнуса Энценсбергера
Долой Гёте! Объяснение в любви

Премия **имени А. М. Зверева**
[учредитель – журнал "Иностранная литература"]
присуждена

Александре Борисенко

за статьи *Сэлинджер начинает и выигрывает* и
Чужая повседневность

Почетный ***диплом критики зоИЛ***
присужден

Тамаре Казавчинской

за перевод повести Дэвида Лоджа *Горькая правда*

Подписаться на журнал "Иностранная литература"
можно во всех отделениях связи —
подписной индекс 70394 (на полгода).

Льготная подписка — в редакции по адресу:
Москва, Пятницкая улица, 41.

Электронная подписка:
через ОАО Агентство "Роспечать" —
www.presscafe.ru
через компанию "Интер-почта" —
www.interpochta.ru
Тел. (495) 5000060 или 7880060.

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejoirnal.com

Ф. СП-1

Министерство связи РФ
ГПС «Моспочтамт»
АБОНЕМЕНТ на журнал **«Иностранная литература»** 70394 (индекс издания)

(наименование издания) | Количество комплектов

на 2010 год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						—	—	—	—	—	—

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

ПВ | место | литер

доставочная карточка
на журнал 70394 (индекс издания)
«Иностранная литература»

Стоимость: по каталогу _____ руб. ___ коп.; доставку за _____ руб. ___ коп.
Кол. комплектов

на 2010 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						—	—	—	—	—	—

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

Журнал "Иностранная литература" выходит 10 числа каждого месяца.
Для регулярного получения нашего журнала вы можете оформить текущую подписку.
Оплату подписки необходимо произвести в любом отделении банка не менее чем за 10 дней до выхода подписного номера.
Подписка производится только на территории Российской Федерации.
Стоимость подписки включает почтовую доставку до почтового ящика.

Для оплаты подписки вырежьте и заполните прилагаемую квитанцию
или воспользуйтесь ксерокопией.
При заполнении разборчиво укажите название организации, получателя,
почтовый индекс, адрес доставки, количество номеров, а также сумму вашего заказа.
Стоимость одного номера – **210** руб.
Стоимость комплекта (полгода) – **1260** руб.
Копию квитанции необходимо отправить:
по факсу **785-14-76**
или по E-mail **pretenz@rosp.ru**

Напоминаем, что журнал выходит 6 раз в полугодие.
Оплату по этой квитанции необходимо произвести до 10 числа предыдущего месяца
(есть возможность оформления подписки с № 7 2009 года).

При оплате платежным поручением, необходимо отправить заявку на подписку и затребовать счет к оплате любым удобным способом:
по телефону **(495) 921 25 52,**
по E-mail **pretenz@rosp.ru**

Почтовый адрес для писем по вопросам подписки:
123995, Москва, пр-т Маршала Жукова, 4, Агентство "Роспечать", Отдел прямой подписки.

ИЗВЕЩЕНИЕ КАССИР	**ОАО Агентство"Роспечать"** ИНН 7734006150 р/с № 40702810100020001342 Сбербанк России г. Москва К/с 30101810400000000225; БИК 044525225; КПП 773401001 Организация: _____ ФИО:_____ Адрес для доставки: _____ _____ ***Подписка на журнал «Иностранная литература» на_____ номеров 2009г.*** **Сумма, руб.** Плательщик (подпись):
КВИТАНЦИЯ КАССИР	**ОАО Агентство"Роспечать"** ИНН 7734006150 р/с № 40702810100020001342 Сбербанк России г. Москва К/с 30101810400000000225; БИК 044525225; КПП 773401001 Организация: _____ ФИО:_____ Адрес для доставки: _____ _____ ***Подписка на журнал «Иностранная литература» на_____ номеров 2009 г.*** **Сумма, руб.** Плательщик (подпись):

RINET
Internet Service Provider
ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы
объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент литографии Марка Шагала [1887–1985] *Рубь, собирающая колоски* [1960].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

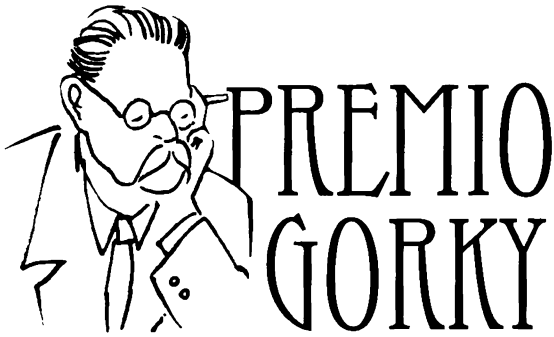
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 25.06.2010
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 1329.
Тираж 8000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости"
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

27 сентября в Москве



Общественная ассоциация (“Премия Горького”)
проводит Вторую церемонию вручения
российско-итальянской премии А. М. Горького
по литературе и художественному переводу.

---

[8] 2010

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР “МЕЖДУ ВОЙНАМИ: ПРОЗРЕНИЯ И ПОИСКИ”: В РУБРИКЕ “СВИДЕТЕЛЬСТВА ВРЕМЕНИ”: СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ, АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ, ЗИГМУНТ ХАУПТ И ДР. / СИМОНА ВЕЙЛЬ В РУБРИКЕ “№” / “В ПОИСКАХ НОВОЙ ЭСТЕТИКИ”: АЛЬФРЕД ДЁБЛИН, РОЖЕ ВИТРАК, Г. К. ЧЕСТЕРТОН

(*роль*) **Ex** Each character was ~ed with so much grace and art. Все роли были исполнены с большим изяществом и мастерством.

sustainability [səˌsteɪnəˈbɪlətɪ] *n* устойчивость: устойчивое развитие; ecological / environmental ~ экологическая устойчивость, устойчивость окружающей среды *(предполагает поддержание экологической целостности и запасов природных ресурсов)*; financial ~ финансовая устойчивость; the Royal Award for S. *брит* королевская премия за устойчивое развитие *(вручается предпринимателям)*

sustainable [səˈsteɪnəbl] *adj* **1.** устойчивый; жизнеспособный; ~ development устойчивое развитие; ~ economic growth устойчивый экономический рост **2.** экологически рациональный; способный существовать, не нанося ущерба окружающей среде; «устойчивый»; ~ agriculture экологически рациональное сельское хозяйство, «устойчивое» сельское хозяйство; ~ forestry экологически рациональное лесопользование, «устойчивое» лесопользование; ~ use of natural resources рациональное использование природных ресурсов

sustained [səˈsteɪnd] *adj* **1.** длительный, продолжительный; непрерывный **Syn** long, protracted **2.** монотонный *(о звуке)*

sustaining [səˈsteɪnɪŋ] *adj* **1.** поддерживающий, подпирающий; ~ power стойкость, выносливость **2.** доказывающий, подтверждающий

sustaining program *n амер радио* некоммерческая радиопрограмма

sustenance [ˈsʌstəns] *n* **1.** средства к существованию **2.** питание; пища **Syn** food, fare **3.** поддержание, поддержка, помощь **Syn** maintenance

sustention [səˈstenʃən] *n* поддержание *(в том же состоянии)*

sustentive [səˈstentɪv] *adj* поддерживающий; подкрепляющий

susurrant [su:ˈsʌrənt] = susurrous

susurrate [ˈsu:səreɪt] *v книжн* **1.** шептать **2.** издавать лёгкий шорох, шелест

susurration [ˌsu:səˈreɪʃən] *n* **1.** шёпот **Syn** whisper **2.** лёгкий шорох, шелест

susurrous [su:ˈsʌrəs] *adj* **1.** шепчущий **2.** шуршащий; шелестящий

susurrus [su:ˈsʌrəs] = susurration

Susy [ˈsu:zɪ] *n уменьш от* Susan, Susannah Сюзи *(женское имя)*

Sutherland [ˈsʌðələnd] = Sutherlandshire

Sutherlandshire [ˈsʌðələndʃə] *n геогр* Сатерлендшир *(графство Шотландии)*

Sutlej [ˈsʌtlɪdʒ] *n геогр* Сатледж *(река на территории Пакистана, Индии, Китая)*

sutler [ˈsʌtlə] *n* маркитант **Syn** canteen keeper

… **3.** нить для сшивания раны **4.** сшивание, соединение

… накладывать шов, сшивать

SUV *сокр от* Sport Utility Vehicle внедорожник *(автомобиль повышенной проходимости, предназначенный для активного отдыха, чаще всего с приводом на все четыре колеса)*

Suva [ˈsu:və] *n геогр* Сува *(столица государства Фиджи, юго-западная часть Тихого океана)*

suzerain [ˈsu:zəreɪn] *n* **1.** феодальный властитель, сюзерен **2.** сюзеренное государство; ~ lord правитель сюзеренного государства

suzerainty [ˈsu:zəreɪntɪ] *n* **1.** власть сюзерена **2.** сюзеренитет

SVC *буквенный код для* El Salvador colon сальвадорский колон *(денежная единица)*

svc. *сокр от* service **1.** обслуживание, сервис **2.** служба

svelte [svelt] *adj* стройный, гибкий *(о женщине)* **Syn** thin

Sverdlovsk [ˌsveədˈlɒfsk] *n геогр, ист* Свердловск *(название г. Екатеринбург в период с 1924 по 1991 г.), см тж* Ekaterinburg

Sverdrup Islands [ˌsveədrʊp-] *n pl геогр* острова Свердруп *(группа островов в составе Канадского Арктического архипелага)*

SVO *сокр от* subject verb object *лингв* тип языка с характерным порядком слов: подлежащее - сказуемое - прямое дополнение *(как в русском, английском), см тж* SOV

SW[1] *сокр от* short waves короткие волны

SW[2] *сокр от* southwest юго-запад

Sw. *сокр от* Sweden Швеция

swab [swɒb] I *n* **1.** 1) швабра, щётка **Syn** mop 2) *воен* банник *(насадка типа щётки на шомпол)*; шомпол 3) помазок **2.** *мед* 1) тампон 2) мазок **3.** *мор жарг* офицерский погон **4.** 1) *презр* салага 2) *разг* матрос, моряк **Syn** sailor, gob

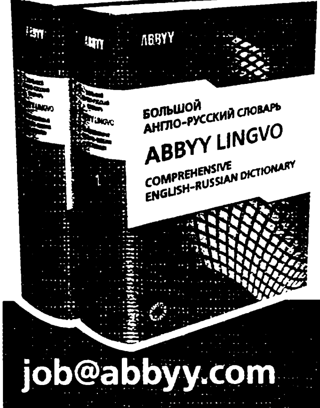
II *v* **1.** *(тж ~ down)* мыть шваброй; подтирать шваброй **Ex** Every morning, the sailors had to ~ down the deck of the ship. Каждое утро матросы должны были швабрами драить палубу на корабле. **2.** *мед* смазывать, наносить тампоном **Ex** She ~ bed the wound with iodine. Она смазала рану йодом.

swabber [ˈswɒbə] *n* **1.** юнга, драящий палубу **2.** грубый, невоспитанный, подлый человек **3.** разг увалень **Syn** clodhopper, bumpkin **4.** швабра, веник, метла

Swabia [ˈsweɪbɪə] *n геогр, ист* Швабия *(историческая область в Германии)*

swaddle [ˈswɒdl] I *n* = swaddling clothes

II *v* **1.** пеленать, свивать *(младенца)* **2.** *(тж ~ up)* бинтовать, забинтовывать **3.** сдерживать



Словари ABBYY Lingvo
Современный язык
Академический подход

ABBYY

www.ABBYY.ru
+7 (495) 783 3700

job@abbyy.com

Приглашаем на работу лингвистов и лексикографов

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2010, №7, 1-288

ISSN 0130-6545
9 770130 654770
10007